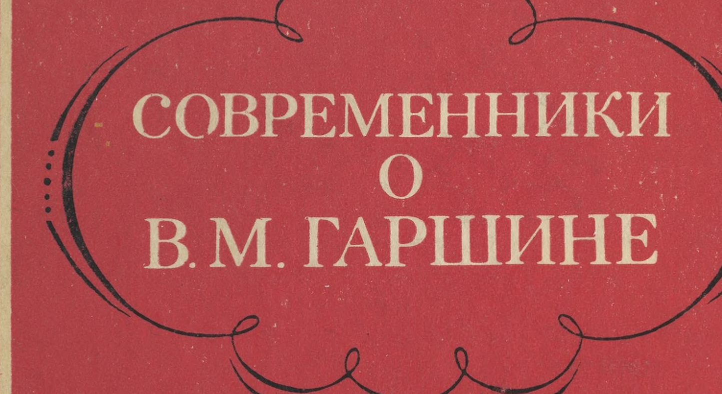
СОВРЕМЕННИКИ О В. М. ГАРШИНЕ



СОВРЕМЕННИКИ О В. М. ГАРШИНЕ

Издательство
Саратовского университета
1977



СОВРЕМЕННИКИ
О
В. М. ГАРШИНЕ

Воспоминания

809—1
С 56

С56. **Современники о В. М. Гаршине.** Воспоминания. Изд-во Сарат. ун-та, 1977, 256 с.

Настоящее издание представляет собой собрание комментированных мемуаров современников о В. М. Гаршине — одном из ярких представителей русской литературы 70—80-х годов. Воспоминания знакомят с литературной деятельностью писателя в широких связях с эпохой, с журнальной жизнью его времени, дают представление о социальных настроениях автора рассказов и сказок, о его нравственно-психологическом облике. В небольших преамбулах сообщаются краткие сведения о мемуаристах и выясняется литературно-биографическое и общественное значение воспоминаний.

Книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию.

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Г. Ф. Самосюк.

7—2—2
136—77

ВОСПОМИНАНИЯ О ГАРШИНЕ

Литературные мемуары получили широкое признание читателей. Произведения этого жанра значительны как своеобразные документы эпохи, освещающие в то же время литературную, общественную и личную биографию писателя.

В предлагаемой книге собраны мемуарные материалы, в большинстве случаев ставшие уже библиографической редкостью. Это первая попытка объединить разбросанные в разных малодоступных периодических изданиях и сборниках воспоминания о писателе[1]. Основными источниками сведений о печатных мемуарах послужили сводка Н. Бродского «Новое о Гаршине»[2] и «Библиографический указатель воспоминаний о В. М. Гаршине», составленный Н. И. Мордовченко[3].

Объем издания не позволил включить в него все известные воспоминания современников о Гаршине, поэтому отобраны наиболее содержательные и достоверные источники, сообщающие самые важные в биографическом и литературном отношении сведения о писателе и его времени. Отрывки из некоторых воспоминаний, не вошедших в основной состав сборника, использованы в примечаниях и предисловии.

Большинство воспоминаний печатается по их первым публикациям.

---

[1] Значительная часть воспоминаний о Гаршине сосредоточена в двух сборниках: «Памяти В. М. Гаршина» (Художественно-литературный сборник. СПб., 1889) и «Красный цветок» (Литературный сборник в память В. М. Гаршина. СПб., 1889). Некоторые из опубликованных здесь воспоминаний о писателе перепечатаны в книге «Полное собрание сочинений В. М. Гаршина» (Приложение к журналу «Нива». СПб., 1910). Немало мемуарных материалов опубликовано С. Дурылиным в его работе «В. М. Гаршин. Из записок биографа» («Звенья». Т. V. М.-Л., «Academia», 1935).

[2] *Бродский Н.* Новое о Гаршине (к 25-летию со дня смерти). — «Голос минувшего», 1913, № 5.

[3] *Мордовченко Н. И.* Библиографический указатель воспоминаний о В. М. Гаршине. — В кн.: Гаршин В. М. Полн. собр. соч. в трех томах. Т. III. Письма. М.-Л., «Academia», 1934, с. 534—539. В дальнейшем ссылки на это издание даются в сокращении: *Гаршин В. М.* Письма.

Мемуарная литература о Гаршине, как и о многих других писателях, чрезвычайно пестра по содержанию, она охватывает различные стороны его жизни в связи с литературными событиями 70—80-х годов и различные временные периоды. В одних воспоминаниях отражен почти весь жизненный и творческий путь Гаршина или наиболее значительные его вехи, в других — запечатлены лишь некоторые эпизоды или события из жизни писателя и его окружения. Взятые в целом, мемуары воспроизводят, с разной степенью полноты, все этапы литературной деятельности Гаршина.

Материалы сборника разбиты на три раздела. Первый раздел составляют воспоминания людей, наиболее близко знавших Гаршина в различные периоды его жизни,— родных, друзей, товарищей, знакомых, сослуживцев. Во второй входят воспоминания писателей, публицистов, критиков, переводчиков, издателей, журналистов и прочих литературных деятелей, общавшихся с Гаршиным в редакциях, литературных кружках, обществах, на частных журфиксах и т. п. Наконец, третий раздел, самый небольшой, отведен мемуарным заметкам некоторых деятелей революционного и общественного движения 70—80-х годов, связанных с Гаршиным в основном литературно-журнальными отношениями.

Внутри каждого из разделов материалы располагаются хронологически или в последовательности отраженных в них событий, в случае же совпадения хронологических рамок — по степени принципиальной важности, полноты и объективности документов.

Воспоминаниям предшествуют небольшие вводные заметки, в которых сообщаются краткие сведения об авторе, определяются (в общих чертах) его общественные или литературные позиции, раскрываются отношения с Гаршиным, выясняется содержание и значение мемуарного источника. В примечаниях комментируются наиболее важные для понимания личности Гаршина, его общественных и литературно-журнальных связей события, факты, эпизоды; уточняются отдельные сведения, исправляются хронологические смещения и фактические ошибки. В примечаниях широко привлекаются письма как самого Гаршина, так и его старших современников (Тургенева, Салтыкова-Щедрина и др.), не оставивших о нем специальных воспоминаний, но запечатлевших в эпистолярии писательский и нравственный облик Гаршина и выразивших свое отношение к нему.

* * *

Характер и содержание мемуарной литературы обычно определяются особенностями творческой индивидуальности писателя, его нравственно-психологического склада, литературной и личной судьбы.

В центре публикуемых воспоминаний — необычная личность Гаршина с его тонким душевным миром, с его постоянной внутренней болью за страдания других людей, с его чуткой совестью и «изумительной искренностью». Гл. Успенский заметил, что «все содержание <...> жизни» «до последней черты пережито, перечувствовано им самым жгучим чувством»[4]. Обладая «жестоким даром острой совестливости», Гаршин, по замечанию А. Васильева, всегда горячо участвовал «в горе общественном».

Все современники писателя считали его человеком высоких нравственных принципов. «Он не был способен ни на какое дурное движение душевное,— писал В. А. Фаусек.— Основная черта его была — необыкновенное уважение к правам и чувствам других людей, необыкновенное признание человеческого достоинства во всяком человеке». Многие мемуаристы отмечали сильно выраженное в нем чувство «безграничной любви к людям». По словам историка русской литературы А. Кирпичникова, Гаршин «жил только мыслью о служении человечеству»[5]. При всей своей доброте и мягкости он никогда не изменял своим «убеждениям и долгу» (М. Е. Малышев). Эту неподкупность и честность Гаршина современники видели и в его литературно-журнальных отношениях, связывая именно с этими чертами тот факт, что он, являясь сотрудником «Отечественных записок», отверг предложение «Слова» об участии в нем, несмотря на более выгодные условия[6].

Со страниц мемуарной литературы встает облик честного, мужественного, тонко чувствующего человека, болезненно остро реагирующего на все социальные несправедливости и нарушения моральных норм. Авторы большинства воспоминаний сохранили подробности посещения Гаршиным министра внутренних дел графа Лорис-Меликова, возглавлявшего Верхов-

---

[4] *Успенский Гл.* Смерть В. М. Гаршина.— Полн. собр. соч. Т. XI. Изд-во АН СССР, 1952, с. 583.

[5] *Кирпичников А.* Всеволод Михайлович Гаршин (Личные воспоминания).— «Вестник воспитания», 1903, № 1.

[6] См. воспоминания И. Ясинского «Роман моей жизни» (М.-Л., Госиздат, 1926, с. 139).

ную распорядительную комиссию по борьбе с революционным движением. Этот эпизод привлек их внимание потому, что в нем получила свое наивысшее выражение гаршинская идея гуманистической защиты человеческой личности. «<...> Гаршин,— писал, например, Н. С. Русанов,— пытался горячо доказывать диктатору, как было бы гуманно, тактично и даже полезно в общественном смысле с его стороны помиловать Млодецкого <...>.»

Нравственными принципами Гаршина во многом определялись и его общественные позиции. Вот почему этическая и социальная характеристики писателя в воспоминаниях часто взаимопроникают и дополняют друг друга. Так, мемуаристы подчеркивают, что из признания Гаршиным «человеческого достоинства во всяком человеке», из уважения к правам других людей возникало сильно развитое в нем «чувство человеческого равенства» (В. Фаусек). Это чувство не приводило, однако, к теории всеобщей любви. «Если я люблю «глухаря» <рабочего-заклепщика. — *Г. С.*>,— передает В. Микулич общественные настроения Гаршина начала 80-х годов,— как могу я любить тех, кто упрятал его в этот страшный котел» [7].

Вопросы мировоззрения Гаршина занимают значительное место в мемуарах. По-разному интерпретируются в них общественные взгляды писателя и причины того или иного его социального поведения, но почти во всех воспоминаниях подчеркивается не только страстное, заинтересованное, но и критическое, «строгое» (В. Фаусек) отношение Гаршина к действительности.

Правда, друзей и знакомых Гаршина удивляла его непричастность к какому-либо определенному направлению в общественной жизни. Эту «независимость и беспристрастие» одни объясняли его органической неспособностью к злобе и вражде (В. Фаусек), другие — болезненностью его натуры (И. И. Попов).

Л. Ф. Пантелеев, характеризуя общественные позиции Гаршина, со всей категоричностью заявил, что «никакого участия в тогдашнем революционном движении он не принимал». Объяснение такого рода поведения находим в воспоминаниях И. И. Попова, передавшего свой разговор с писателем:

«Мы говорили о революции, о партии «Народной воли». К террору Гаршин относился не особенно сочувственно, но восторженно говорил о народовольцах:

---

[7] *Микулич В.* Встречи с писателями. Л., 1929, с. 223.

— Мне хотелось бы воплотить этих людей в художественные образы, но это выше сил моих, да, к сожалению, с революционерами я почти не встречаюсь и боюсь встречаться с ними.— Я недоуменно посмотрел на Гаршина.

— Не за себя боюсь... Ты знаешь, что временами я болею. И вот в эти-то минуты болезни я могу наговорить бог знает что... Нет, мне не место там, где нужна конспирация...

Я впервые услыхал от Гаршина мотивы, почему он держался в стороне от революции»[8].

Гаршин не оставался, конечно, безразличен к борьбе русских социалистов с правительством. Эта борьба, по замечанию Н. С. Русанова, «производила на него страшное впечатление», а «бессмысленная реакция, которая скосила целое поколение лучших русских людей», явилась, по мнению мемуариста, причиной крушения «и без того неустойчивого душевного равновесия Гаршина». В. Фаусек, отрицая его «индифферентизм к вопросам политики и общественной жизни», указывал на «безусловно враждебное» отношение Гаршина к «некоторым направлениям русской жизни и к некоторым литературным лагерям». Очевидно, что так называемый «индифферентизм» писателя не составлял принципиального содержания его мировоззрения, а был лишь формой поведения, побуждавшей, однако, некоторых современников говорить о нейтральном отношении писателя к «борьбе за общественные идеалы», о безразличии к жертвам этой борьбы (Е. Шольп).

Достаточно большое место в воспоминаниях занимают характеристики общего мироощущения писателя. Естественно, что люди разных убеждений неодинаково воспринимали его отношение к жизни. Разноречивые оценки возникали как в мемуарной литературе, так и в критических работах о Гаршине. «Был ли Гаршин скептиком или пессимистом, каким его иногда выставляли?» — спрашивал, например, критик «Вестника Европы» К. К. Арсеньев и отвечал отрицательно. «Отпечаток глубокой грусти», лежащей на произведениях писателя, он объяснял «обстоятельствами времени», в которое жил Гаршин, и отчасти «болезненностью его натуры». «Сомнение» и «отчаяние» Арсеньев рассматривал не как свойство «миросозерцания» Гаршина, а как «преходящее настроение». Он «слишком много и горячо любил, чтобы потерять всякую надежду на луч-

---

[8] *Попов И. И.* Минувшее и пережитое. Из воспоминаний. М.-Л., «Academia», 1933, с. 45—46.

шее будущее»[9]. Большинство современников Гаршина не считало его негативистом и скептиком. Но были и такие, которые, по воспоминаниям И. И. Попова, обсуждая вопрос, пессимист или оптимист Гаршин, «приходили к выводу, что он пессимист»[10]. Сам Попов считал неверным такое определение настроения Гаршина, связывая истоки временно возникающей у него «меланхолии» с «душевной раздвоенностью, которая создавалась условиями русской жизни», и с высоким представлением о «моральной сущности человека». В результате возникало непреодолимое противоречие между чистотой и величием гаршинского идеала и невозможностью его достижения в рамках «моральных требований». «Русская действительность угнетала Гаршина, и он не находил выхода»[11].

Хорошо знавший Гаршина, В. Фаусек подчеркивал, что, несмотря на владевшую им иногда «затаенную грусть» и даже «мрачную тоску», он «был человек в высшей степени жизнерадостный <...>. У него была огромная способность понимать и чувствовать счастье жизни». Пессимизм как основу гаршинского мироощущения отрицал и Ф. Фидлер.

Воспоминания о Гаршине довольно полно освещают творческую жизнь писателя, начиная с первых, еще несамостоятельных литературных опытов и кончая зрелыми произведениями. Наиболее достоверными и содержательными в этом отношении являются мемуары Евгения Михайловича Гаршина, брата писателя. В них сообщается о формировании замысла первого печатного произведения Всеволода Гаршина «Подлинная история Энского земского собрания», выясняются реально-бытовые и исторические истоки таких рассказов, как «Четыре дня» и «Из воспоминаний рядового Иванова», приводится текст раннего гаршинского стихотворения «Друзья, мы собрались перед разлукой». Много интересных сведений об истории создания рассказов «Четыре дня», «Художники», «Сказка о жабе и розе» приводит В. Фаусек. Эти и другие мемуаристы указывают на живую и непосредственную связь произведений Гаршина с конкретными условиями русской жизни, с раздумьями писателя над сложными социальными и нравственно-философскими проблемами 70—80-х годов.

По-разному соприкасались с современностью неоконченные

---

[9] *Арсеньев К. К.* В. Гаршин и его творчество.— Полн. собр. соч. В. М. Гаршина. СПб., 1910, с. 539.

[10] *Попов И. И.* Минувшее и пережитое. Из воспоминаний, с. 44.

[11] Там же.

произведения писателя и неосуществленные замыслы, о которых были осведомлены его друзья. В. С. Акимов, например, сообщает о намерении Гаршина написать роман о трудной морской службе солдата, В. Фаусек — о плане большой повести, посвященной науке и ученым, Н. Минский передает сюжет рассказанной ему Гаршиным сказки о фиалке[12]. Среди незавершенных произведений писателя Н. А. Демчинский называет драму «Деньги», воспроизводит историю совместной работы над ней и восстанавливает содержание ненаписанных частей. Современники (В. Фаусек, В. Бибиков, А. Леман, Я. Абрамов) сохранили в памяти сведения о напряженной работе Гаршина в 1886—1887 гг. над исторической повестью из эпохи Петра I. «Содержание повести или романа,— сообщал биограф писателя Я. Абрамов,— должно было представлять борьбу старой и новой России. Представителями последней должны были быть сам Петр и «пирожник», а впоследствии князь Меньшиков, а представителем первой — известный подъячий Докукин, решившийся поднести столь страшному для современников Петру знаменитое «письмо», в котором он прямо и решительно указал великому преобразователю все темные стороны его богатырской деятельности, падавшие тяжелым гнетом на народную массу»[13]. По сведению В. Фаусека, «центральной частью» романа «должна была быть судьба царевича Алексея Петровича». Обращение Гаршина к прошлому России было связано и с большими творческими задачами (создать широкое эпическое полотно), и с социально-нравственными вопросами современности. Вряд ли прав И. Ясинский, полагавший, что «история для писателя <...> могла быть единственным выходом» из «ужасной», «неприглядной» и «беспросветно-безнадежной» действительности[14].

Интересным в воспоминаниях представляется вопрос о восприятии современниками гаршинского творчества. Повышенная субъективность его произведений, постоянно ощущаемый в них страстный авторский голос приводили или к отрицанию всякого объективного содержания рассказов и повестей писателя, особенно ранней поры (В. П. Соколов), или к преувели-

[12] В 1913 г. С. Дурылин опубликовал (со слов друга Гаршина, художника М. Е. Малышева) текст этой же сказки, сюжетно и стилистически очень близкий к пересказу Н. Минского (см. «Русские ведомости», 1913, № 70).

[13] *Абрамов Я.* Всеволод Михайлович Гаршин (Материалы для биографии).— В кн.: Памяти В. М. Гаршина. СПб., 1889, с. 44.

[14] *Ясинский И. И.* Всеволод Гаршин. Опыт характеристики.— Полн. собр. соч. В. М. Гаршина, с. 519.

чению значения лирического самовыражения, послужившего якобы причиной ранней творческой исчерпанности (Н. Минский). Но вместе с таким истолкованием, безусловно, обедняющим значение литературной деятельности Гаршина, в мемуарах широко представлены и иные суждения о содержании его сочинений. Достаточно сослаться на Е. Гаршина, увидевшего в творчестве брата «олицетворение и выражение своего большого времени». Не отрицая, что в его произведениях «слишком много субъективного, выстраданного своей душой», Е. Гаршин указал на органическую связь его творчества с настроениями и идеалами современного ему «несчастного поколения», на чрезвычайную характерность созданного им образа «рефлектирующего молодого человека». И. Ясинский прямо подчеркивал связь многих произведений Гаршина («Художники», «Надежда Николаевна» и др.) с большими социальными вопросами времени.

В воспоминаниях людей, близко знавших Гаршина, содержатся и определения особенностей его творческого процесса, тех субъективных ощущений, которые сопровождали его писательское вдохновение. Е. М. Гаршин вспоминает, что писать новую вещь его брат мог только после того, как все идеи и образы до конца продуманы и абсолютно откристаллизованы «в воображении», выношены в сознании «до мельчайших деталей, во всей пропорции своих частей». И. Я. Павловский передает, со слов знакомой Гаршина, насколько писатель был сопричастен переживаниям своих героев: он «не сочинял, не забавлялся, а присутствовал при страданиях, которые считал реальными». О том же напряжении «всех душевных сил» в процессе работы над произведениями сообщает и Фаусек. Выясняя причины незначительной творческой продуктивности, он ссылается на то обстоятельство, что литературная деятельность «слишком утомляла» Гаршина, «слишком напрягала его нервы». И это было, действительно, подвижничество, если учесть, что он, по воспоминанию И. Е. Репина, вычеркивал из своих сочинений «огромный ворох макулатуры», проделывая это несколько раз, пока не добивался нужного «художественного впечатления».

Современники очень верно передали гаршинский взгляд на литературу и искусство. Сведения мемуаристов в этом отношении существенно уточняют эстетические позиции писателя, известные по его статьям о художественных выставках, сочинениям и письмам. Друзья и знакомые Гаршина отмечают крайне враждебное его отношение к теории «искусства для искус-

ства» и защиту такого творчества, которое служило бы «высшим идеалам добра и правды» (М. Малышев). «В России,— передавал суждения писателя на этот счет В. Бибиков,— может иметь успех и право на существование писатель-учитель, вечно стремящийся к идеалам правды, добра и красоты и будящий то же чувство в своих читателях». Со стремлением Гаршина к реалистическому воспроизведению действительности современники (и в частности Н. Минский) связывали его намерение порвать с «романтической» манерой письма (с ее максимальной субъективностью) и выйти в своих художественных поисках в «большой мир». По воспоминаниям А. Лемана, Гаршин часто повторял, что «цель искусства —отражать жизнь». В связи с тем, что он отстаивал только действенное искусство, для него были неприемлемы те направления в литературе, где «сказывалось затяжное нытье» или другие «не вполне здоровые» настроения (Л. Ф. Пантелеев).

Мемуарные материалы значительны воспроизведением не только личности и творческой жизни Гаршина, но и его литературного окружения, широких дружеских и журнальных связей. Многие воспоминания принадлежат писателям и литературным деятелям, общавшимся с Гаршиным либо в редакциях журналов (Н. Н. Златовратский, И. И. Ясинский), либо в связи с изданием его сочинений или их переводов (В. Г. Чертков, Ф. Фидлер), либо на литературных чтениях, журфиксах и заседаниях «Литературного фонда» (Ф. Д. Батюшков, И. А. Шляпкин, Н. Минский). В этих воспоминаниях ярко обрисована та литературная среда, которая окружала писателя в 80-е годы, воссозданы духовная атмосфера этих лет, нравственные идеалы людей разных убеждений, журнальные и кружковые споры вокруг произведений Л. Толстого, Достоевского, Лескова, Чехова, Надсона, Минского и самого Гаршина.

Все мемуары, а особенно те, которые принадлежат людям, причастным к литературе, дают богатый материал для уяснения отношений Гаршина с писателями-современниками и его взглядов на состояние текущей литературы. Наиболее противоречиво освещен в мемуарных источниках вопрос о влиянии Толстого на Гаршина. Самыми объективными в этом отношении являются воспоминания В. Фаусека, указывающего не только на грани соприкосновения Гаршина и Толстого, но и на те стороны мировоззрения великого художника-мыслителя, которые не принимал и даже осуждал молодой писатель. Восхищаясь произведениями Толстого как «несравненными образцами художественного творчества», Гаршин, по свидетельству

Фаусека, «не всегда соглашался» «с его оценкой жизни и жизненных явлений», «с его выводами», с сущностью его учения, «стремящегося построить жизнь на рассудочной почве». Фаусек подчеркивает отрицательное отношение Гаршина к толстовской теории «непротивления злу насилием». Другие мемуаристы явно преувеличивают значение Толстого в идейном и литературном развитии Гаршина, полагая, что последний был будто бы страстным и «вдохновенным» защитником толстовского «жизнепонимания» (В. Чертков), «чрезвычайно увлекся» «Толстым-моралистом и философом» (В. Соколов) и «никогда не мог возвыситься до сознательной критики над Толстым» (А. Леман). В подобных суждениях уже не было той сложности постановки проблемы, которая характеризовала гаршинское отношение к толстовству у Фаусека.

Хорошим дополнением к эпистолярным свидетельствам самого Гаршина о его литературных и личных связях с писателями старшего поколения являются воспоминания Е. Гаршина и Н. Златовратского, рассказавших о реакции Салтыкова-Щедрина на сцену «царского смотра» в «Воспоминаниях рядового Иванова» и на аллегорическую сказку «Attalea princeps».

Особо следует упомянуть о сообщении В. Микулич, передавшей отрицательные суждения Гаршина о Достоевском. Называя Достоевского «безнравственным человеком», Гаршин, по формулировке Микулич, «отзывался» о нем «в тоне «Отечественных записок» и статьи Михайловского «Жестокий талант» [15]. В этой статье («Отечественные записки», 1882, № 9, 10) Н. К. Михайловский обвиняет Достоевского в чрезмерном внимании к изображению человеческих страданий, в «страстном возвеличивании страдания». Подобным отношением к жизни писатель, по мнению Михайловского, лишает людей активности, вырабатывает у них психологию непротивления, смирение перед жестокостью и насилием. «Достоевский,— пишет он,— дает читателю «наркотик», который помогал заглушить тоску о недостижимом историческом деле» [16]. Очевидно, и Гаршину претила неумеренность Достоевского в изображении страданий людей, состояния гипертрофированного унижения человеческого достоинства. Письма Гаршина 70—80-х годов могут служить аналогом свидетельства В. Микулич. В них отмечается явная идеализация типа «страдальца» у Достоевского, отсут-

---

[15] *Микулич В.* Встречи с писателями, с. 220.

[16] *Михайловский Н. К.* Литературно-критические статьи. М., 1957, с. 184.

ствие у него «ясности и точности анализа» [17]. Да и в собственном творчестве Гаршина интересовала не философия страдания, а самое страдание как неестественное состояние человека, как следствие социальных условий его жизни.

Мемуары вносят много нового в освещение истории отношений Гаршина и Тургенева, проблемы творческой преемственности. «Сжатость и сила изложения, проникнутого вместе с тем изящной формой, безупречной со стороны слога и образов»,— вот те свойства тургеневской прозы, которые, по мнению Е. Гаршина, воспринял молодой писатель. Как свидетельствует И. Павловский, Тургенев высоко ценил художественный дар Гаршина: «у него есть главное — он поэт».

В. Фаусек отмечает, что Гаршин «внимательно следил» за «современным движением литературы» и «всякое появление нового таланта его сердечно радовало». Подтверждением этого могут служить приводимые мемуаристами отзывы писателя о Надсоне, которого он «любил и считал <...> очень талантливым», о Чехове, «Степь» которого рассматривал как «выходящее» «из ряда» «литературное явление» (В. Бибиков), о Короленко, чьи рассказы встретил «с величайшей симпатией» (В. Фаусек).

Большое значение для характеристики историко-литературных и нравственно-эстетических взглядов Гаршина имеют воспроизводимые авторами воспоминаний его оценки писателей прошлых эпох. В числе «любимых книг» Гаршина мемуаристы называют «Житие протопопа Аввакума», сочинения Ломоносова и Державина, Пушкина и Лермонтова. В творчестве Пушкина и Лермонтова, которых Гаршин много раз перечитывал и заново открывал для себя, он видел большие «поэтические достоинства» (В. Фаусек). Из европейских писателей его «особой любовью», по наблюдениям В. Фаусека, пользовались Диккенс и Андерсен. А. Кирпичников вспоминает, что Гаршин «поразил» его «прекрасным знанием Диккенса», при разговоре о котором у него появлялось «внутреннее освещение лица» и «блеск в глазах»[18]. По сведениям Ф. Фидлера, В. Бибикова и В. Фаусека, Гаршин высоко ценил Флобера и Мериме, новеллу которого «Коломба» перевел на русский язык. Названные мемуаристами имена западных писателей свидетельствуют об увлечении Гаршина реалистическим, обличи-

---

[17] *Гаршин В. М.* Письма, с. 177, 304, 305.

[18] *Кирпичников А.* Всеволод Михайлович Гаршин.— «Вестник воспитания», 1903, № 1.

тельным направлением в английской и французской литературе. Упоминание Андерсена в качестве глубоко чтимого писателя позволяет с бо́льшим основанием поставить вопрос о предшественниках Гаршина в его сказочно-аллегорическом творчестве.

В воспоминаниях довольно подробно описано болезненное состояние Гаршина, тот тяжелый психический недуг, который обрушился на него с юношеских лет и наложил несомненный отпечаток и на его характер, и на его произведения. Современники пытались разобраться и в причинах трагического финала. Одни (А. Леман) рассматривали гибель Гаршина как следствие его душевной болезни, усугубляемой бытовыми и семейными неурядицами, другие (Н. Минский) видели в этой смерти проявление почти мистической необходимости, третьи (Гл. Успенский, Н. С. Русанов) связывали самоубийство Гаршина с «общими условиями нашей жизни». Наибольшего внимания заслуживают, конечно, размышления Г. Успенского: «Что такое может случиться с человеком и в какие такие невозможные положения нужно его поставить, чтобы он умер так, как умер Гаршин? Каким каленым железом нужно обжечь душу человеческую, чтобы она онемела и омертвела до полного равнодушия к своему телу <...>?»[19] Успенский внимательно прослеживает процесс отрицательного воздействия русской действительности на сознание и настроение Гаршина и приходит к выводу, что именно «суть жизни, ее общие горести, недоумения и ужасы», отсутствие в этой жизни «хотя бы малейшего движения» к «чему-нибудь лучшему» явились причиной обострения болезни и в конечном счете причиной трагической смерти Гаршина[20]. Н. С. Русанов, вслед за Успенским, «важную роль» в «печальном конце» писателя отводит «тем поистине ужасным условиям, которые пережила русская интеллигенция начала 80-х годов, раздавленная, растоптанная на корню диким произволом».

* * *

В 1975 году исполнилось 120 лет со дня рождения В. М. Гаршина. «Читает ли новое поколение его прекрасные рассказы? Слышит ли вложенный в них вопль благородной души? Ценит

---

[19] *Успенский Г. И.* Полн. собр. соч. Т. XI. Изд-во АН СССР, 1952, с. 574.
[20] Там же, с. 582, 586.

ли чистоту и прелесть этого таланта?»[21]. Думается, что нет оснований сомневаться в популярности творчества Гаршина в наши дни. Созданные им образы людей беспокойной совести и «тонкого, великолепного чутья к боли вообще»[22], людей, подвергающих беспощадному анализу свое мироощущение и господствующую в жизни неправду, мечтающих об уничтожении «мирового зла», близки современному читателю. «Талант человеческий»[23], составляющий величайшее нравственное богатство Гаршина, обращен не только к его поколению, но и к людям нашей эпохи. Не случайно В. Фаусек соотносил качества, присущие Гаршину, с признаками человека будущего: «<...> если можно представить себе такое состояние мира, когда в человечестве наступила бы полная гармония, то это было бы тогда, если бы у всех людей был такой характер, как у Всеволода Михайловича». Он, по мнению мемуариста, «единственный человек, который казался» ему «намеком на возможность осуществления такой мысли».

Воспоминания современников о Гаршине «оживляют» образ писателя, делают его теплее, ближе, понятнее читателю XX столетия[24].

---

[21] *Микулич В.* Встречи с писателями, с. 229.

[22] *Чехов А. П.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 7. М., Гослитиздат, 1947, с. 190.

[23] Там же.

[24] В подготовке текста издания принимали участие Е. Булкина, Н. Камшилова, Г. Крянина, Л. Лапина, А. Никитин, С. Пашков, О. Покровская.

СРЕДИ РОДНЫХ, ДРУЗЕЙ, ЗНАКОМЫХ

Е. М. Гаршин

Евгений Михайлович Гаршин (1861—1931) — младший брат писателя, историк литературы и публицист, сотрудник журналов «Отечественные записки», «Заграничный вестник», «Исторический вестник» и газеты «Биржевые ведомости». Наиболее значительные литературно-критические статьи и очерки собраны в книгу «Критические опыты» (СПб., 1888). Он — автор ряда повестей для детей. Занимался административной и педагогической деятельностью в Таганрогском коммерческом училище. С 1922 года жил и работал в Ленинграде.

Воспоминания Е. М. Гаршина, наряду с воспоминаниями близких друзей писателя, относятся к наиболее достоверным и богатым фактическими сведениями и литературно-историческими материалами. В них сообщаются малоизвестные факты биографии писателя, особенно из его детства и юности, прослеживается формирование характера и некоторых черт мировоззрения Гаршина. Значительное место в мемуарах занимает выявление реально-бытовых и общественно-исторических истоков некоторых рассказов писателя («Подлинная история Энского земского собрания», «Четыре дня», «Из воспоминаний рядового Иванова»), особенностей его творческого процесса. Важными представляются свидетельства мемуариста о дружеских связях Гаршина и Тургенева, о близости их художественной манеры, об отношении Салтыкова-Щедрина к рассказу «Из воспоминаний рядового Иванова».

В. М. ГАРШИН. ВОСПОМИНАНИЯ.

Брат мой, Всеволод Михайлович Гаршин, родился <...> рано утром в деревне Приятная, в долине Бахмутского уезда, Екатеринославской губернии. Это было имение нашей покойной бабки А. С. Акимовой. Дворовые люди ее и комнатная прислуга, чистокровные малороссы, в виду существующего в Малороссии поверья, тотчас же заговорили по поводу рождения будущего писателя: «Сэ яка-сь не прóста людына буде: тильки ще видрами бабы брязнули, а вин тут и найшовсь. У весь вік ёго люди об ём гомонитымуть».

Пророчество это сбылось: прожив всего 33 года, он своим талантом заставил много говорить о себе. Его произведения читаются с удовольствием не только у нас в России, но и за границей, так как большая часть его рассказов переведена на французский, английский, немецкий, польский, новогреческий языки и даже на армянский и грузинский. На немецкий переведено почти все им написанное.

В раннем детстве Всеволод был необыкновенно красив, добр, кроток и пользовался общей любовью всех окружающих.

Ему было года четыре, когда однажды, при выходе из церкви в праздничный день, один старый, почтенный генерал, совершенно незнакомый моей матери, подошел к ней представиться и стал восхищаться прекрасным мальчиком.

— Ваш сын удивительно хорош,— сказал он,— но эта красота не ангельская: более всего он напомнил мне Иоанна Крестителя, как его изображают с агнцем. Я именно такого видел за границей, в Дрезденской галерее.

Такова, действительно, была своеобразная красота Всеволода. Она невольно влекла к нему. В особенности прекрасны были его глаза — большие, светлокарие, с длинными ресницами. Уже с детства светились в них и доброта, и кротость, и какая-то грусть. Такими они остались и в юности, и в зрелом возрасте. И поэт над могилою его в двух строках совершенно верно изобразил эти чудесные глаза:

> Я ничего не знал прекрасней и печальней
> Лучистых глаз твоих... [1]

Еще тогда, четырех лет от роду, этот мальчик, похожий на Иоанна Крестителя, уже выказывал наклонность к подвигам самоотвержения. Отец наш был отставной военный. В городе, где тогда жила наша семья (Старобельск, Харьковской губ.), постоянно сменялись квартировавшие там кавалерийские полки. Офицеры часто бывали у нас в доме. Велись бесконечные разговоры о только что окончившейся, памятной каждому русскому Восточной войне (1853—1856), о славной обороне Севастополя, в которой участвовали и двое братьев нашей матери [2]. Впечатлительный ребенок рано узнал, что такое родина, царь, русская беззаветная храбрость, долг, тяжелые походы. Он ко всему прислушивался, всем интересовался. Но особенно любил он слушать рассказы нашего слуги М. Я. Жукова, который всю жизнь провел в походах, состоя на службе при командире одного из гусарских полков. <...> Под влиянием этих рассказов у Всеволода явилась мысль о необходимости итти в поход — служить царю и отечеству. И вот он начинал собирать-

ся в путь: заказывал повару на дорогу пирожки, собирал несколько белья, все увязывал в узелок, надевал его на плечи и являлся прощаться с домашними.

И эти сборы не были игрой: мальчик искренне верил в возможность немедленно сделаться солдатом, и печальный и грустный приходил он к матери.

— Прощайте, мама,— говорил он,— что́ же делать, все должны служить.

— Но ты подожди, пока вырастешь, — отвечала мать, — куда же тебе итти, голубчик, такому малому?

— Нет, мама, я должен.— И глаза его наполнялись слезами.

Но вот доходила очередь до прощанья с няней, тоже принимавшей деятельное участие в этих сборах. Няня начинала голосить и причитывать, как над заправским новобранцем, Всеволод заливался горькими слезами и, наконец, соглашался на убеждения матери отложить поход до утра. <...> наш Всеволод, проснувшись утром, совершенно забывал о вчерашнем; но недели через две снова возвращался к тому же, так что мать окончательно запретила прислуге поддерживать в нем столь ранний геройский дух.

Мои личные воспоминания о брате Всеволоде относятся к тому времени, когда мне было лет 5—6, а ему 10—11. У старших братьев бывает иногда дурная привычка относиться к меньшим свысока. Ничего подобного никогда не было в отношениях Всеволода ко мне. Живо помнится мне лето на даче под Петербургом, близ пороховых заводов. Брат, который первые годы своего детства провел среди южной степной природы и деревенской обстановки, был моим ревностным, снисходительным и терпеливым ментором <...>. Ему исключительно я обязан своим умением плавать. <...>Брат был превосходный пловец; он мог по нескольку часов держаться на воде, проплывая громадные расстояния, <...> и смело нырял. Впрочем, он сам мне рассказывал, что и ему плаванье долго не давалось и что девяти лет он еще совсем не умел плавать. В этом возрасте он, вместе с старшими братьями, провел целое лето у наших друзей З. <авадских>[3], в г. Петрозаводске и его окрестностях. <...>

Ранней весной 1867 г., перед самой Пасхой, Всеволода, ввиду его крайне болезненного вида и общей слабости, взяли домой от экзаменов при переходе в третий класс, предпочитая, чтобы он окреп физически, тем более, что возраст вполне позволял ему просидеть лишний год в классе. Это лето мы проводи-

ли в большом селе, расположенном на берегу широкой сплавной реки Шелони. Занимаемый нами дом выходил задним фасадом к маленькой, но весною бурливой речонке, впадающей в Шелонь. И вот наш Всеволод, не смущаясь тем, что на реке еще не прошел лед, собственноручно сколотил из каких-то старых досок плот, вооружился самодельным же двухконечным веслом и спустился по малой речке в Шелонь. К счастью, его скоро заметили между льдинами <...>. В это же время мы с ним часто катались на собаке. У местного аптекаря был громадный водолаз, приученный ходить в санках или дрожках. <...>

Как только появились грибы, Всеволод со страстью принялся за их собирание. Он уходил рано утром и возвращался поздно вечером, пропадая целыми днями в окрестных лесах. В менее отдаленные экспедиции он увлекал и меня, постоянно обращая мое внимание на разные явления природы. В этих прогулках нас сопровождала — кто бы вы думали, читатель? — ручная, выросшая у нас галка. Она летела низко, рядом с нами, и часто садилась отдыхать на плечо или на голову брата Всеволода, которого особенно любила. <...>

По любви брата моего к природе в нем все предвидели будущего естествоиспытателя. Всех окружающих очень занимал мальчик, постоянно возившийся с лягушками, ящерицами и жуками. <...>

Для старших братьев мать выписывала довольно много книг и лучшие тогдашние журналы «Подснежник» и «Журнал для детей» [4]. Когда братья поступили в Морской корпус, книги были уложены в сундук, отданный через несколько времени в бесконтрольное распоряжение уже подросшего Всеволода. Покойный Всеволод неоднократно с благодарностью говорил, что многими положительными знаниями он обязан исключительно прочитанному в вышесказанных книгах.

Увлеченный в гимназии уроками естествознания, он на следующее лето снова пропадает целыми днями в полях и лесах, предаваясь ботанизированию.

Мне живо вспоминаются первые числа августа 1868 г. Мы с матерью тогда уже переехали на юг, в Старобельск, и Всеволод, проведя у нас все лето, должен был возвратиться в Петербург, в гимназию. <...> Всеволод, конечно, не садится до последней минуты <...> <в просторную малороссийскую телегу.— *Г. С.*>. Он долго прощается со всеми домашними. Через плечо у него, на широкой ленте, повешены две довольно большие клеенчатые сумки. В этих сумках целое богатство: гер-

барий, собранный им в течение целого лета; каждое растение тщательно высушено, аккуратно расправлено на листе белой бумаги и систематически разложено между страницами толстой книги «Московская флора» Кауфмана.

Шли годы. Брат продолжал учиться в Петербурге, в 1874 году кончил курс в здешнем Первом реальном училище и поступил в Горный институт. Каждое лето и даже каждое Рождество Всеволод приезжал к нам в Харьков, куда наша мать переехала теперь ради моего воспитания.

Весной 1877 года, когда 12 апреля был объявлен манифест о войне за освобождение Болгарии, Всеволод бросил экзамены при переходе со второго на третий курс Горного института и, вместе с одним своим товарищем[5], отправился в действующую армию. В Кишиневе они поступили рядовыми в 138-й Болховский пехотный полк и немедленно выступили в поход, впоследствии так живо описанный Всеволодом в его повести «Из записок рядового Иванова». Через всю Румынию, до перехода через Дунай при Систове, Всеволод шел пешком, терпеливо, наравне с солдатами перенося усталость и проливные дожди, не оставлявшие на наших солдатах ни одной, что называется, сухой нитки. Не обращая внимания на физические лишения, Всеволод был пламенно увлечен походом. Его искренне любили солдаты, с которыми он делил горе и радость, и в этих простых людях, одетых в серые шинели, он изучал русский народ[6].

В первом сражении, в котором Всеволод принимал участие[7], поле битвы осталось за турками, которые, однако, тоже не удержали своей позиции. Как только они ушли из этой местности, командир <...> распорядился отправить отряд, который должен был озаботиться погребением павших в сражении. Но каково же было радостное изумление нашего отряда, когда среди трупов оказался живой человек — солдат того же Болховского полка, четыре дня остававшийся на поле сражения с перебитыми ногами, без пищи и без воды[8]. Этот случай оставил глубокое впечатление в душе Всеволода и послужил впоследствии темой для его рассказа «Четыре дня».

Вскоре затем наступило и второе сражение при Аясларе[9] <...>; наши войска отчаянно бились с турками, которые давили их страшными массами, отстаивая каждую пядь земли. Болховский полк <...> медленно отступал, продолжая отстреливаться; брат, не заметив этого, оставался на прежней позиции, поминутно стреляя и, таким образом, едва не попал в плен. Однако товарищи вовремя заметили, в какой опасности он находился, ринулись на выручку своего однополчанина и тем

увлекли в наступление и весь русский отряд, действовавший на Аясларских высотах. Всеволод был ранен в левую ногу навылет, и его отнесли на перевязочный пункт. В военном отчете об этом деле было сказано, что «рядовой из вольноопределяющихся, Всеволод Гаршин, примером личной храбрости увлек своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху дела». Рота единогласно присудила ему Георгиевский крест, которого, однако, он почему-то не получил, но зато был представлен к производству в офицеры. Главной же наградой для него было возвращение на родину, к матери, в Харьков, куда он был отправлен на излечение. Так, по крайней мере, смотрели на это мы, домашние, искренно радуясь, что брат отделался легкой раной <...> и что он, таким образом, избавлялся от всех ужасов зимнего похода. Помню, с каким торжеством я и мои товарищи, гимназисты VII—VIII классов, перевозили Всеволода из офицерских бараков, куда его доставили прямо с поезда, в нашу маленькую квартирку. Всеволод быстро стал поправляться, и уже через неделю его никак нельзя было заставить лежать неподвижно в постели; его живая натура не переносила такого стеснения. <...> Еще в Болгарии, лежа в лазарете Красного креста[10], Всеволод набросал свой рассказ «Четыре дня». Теперь же в Харькове он тщательно обработал его и поручил одному своему другу, ехавшему в Петербург, снести рукопись в редакцию журнала «Отечественные записки». Через две-три недели рассказ появился в октябрьской книжке этого журнала и вызвал всеобщий восторг. Рассказ этот, переведенный почти на все иностранные языки, облетел Европу. Вся читающая Россия, под непосредственным впечатлением переживаемых тогда ужасов войны, была глубоко тронута правдивым описанием трагического эпизода, описанного в «Четырех днях». Имя Всеволода сразу сделалось известным; его карточки, на которых он изображен в серой солдатской шинели, покупались нарасхват в местной фотографии, а сам Всеволод оставался все таким же милым, скромным и застенчивым. Особенно конфузился он, когда весной следующего 1878 года его произвели в офицеры; ему было неловко в новой форме, и его стесняла обязанность нижних чинов отдавать ему честь.

Старшая сестра нашего отца прочитала рассказ «Четыре дня», написанный от первого лица, и поняла (точно так же, как это поняли многие другие), что все рассказанное случилось с самим Всеволодом. Встревоженная старушка немедленно написала моей матери, чтобы та поскорее разъяснила ей, так ли это, и, успокоившись, упросила нас с братом, чтобы мы приехали

к ней показаться, так как раньше она нас никогда еще не видела.

Это лето, проведенное в Орловской губернии, в привольном имении нашей покойной тетки, было предпоследним, когда я видел Всеволода веселым, бодрым и вполне здоровым и когда он с увлечением предавался незамысловатым летним удовольствиям. Следующую весну 1879 г. он снова был уже в Харькове, вместе со своими друзьями, молодыми художниками [11].

Я тогда кончал курс в гимназии, и все мои товарищи были друзьями Всеволода, несмотря на разницу в летах. Мы, окончившие курс гимназисты, молодые художники, теперь уже составившие себе известность, и брат — молодой писатель, составляли пеструю, веселую толпу молодежи, перед которой раскрывалась жизнь со всеми ее радостями и горестями. Предводимые энергичным Всеволодом, который славился среди нас своей неутомимостью в ходьбе, мы ежедневно делали огромные прогулки по живописным окрестностям Харькова.

В конце лета брат отправился путешествовать по России, навещая своих друзей, которых у него было бесчисленное множество.

Но с этих пор пошли тяжелые годы для нашей семьи. Всеволод продолжал писать, но гораздо меньше прежнего, служил, женился, но детей не имел, и каждое лето страдал беспредметной и беспричинной тоской <...>.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ ВСЕВОЛОДА ГАРШИНА

Поэты родятся. Но грустно то, что личности, поэтически одаренные, часто долго томятся не на своем пути и растрачивают свои душевные силы на подготовку к какой-либо профессии, обещающей т. <ак> наз. верный кусок хлеба или солидное положение в обществе, но совершенно не подходящей к данной индивидуальности.

Эта драма не миновала и Всеволода Гаршина. С большим трудом, вследствие своей болезненности, он завершил свое среднее образование получением соответственного диплома, с которым в руках осенью 1874 года он поступил в Горный институт. В этой высшей специальной школе с 5-летним курсом ему прежде всего предстояло бороться с математикой, которая и в средней школе ему давалась крайне туго. Дорога в университет с выбором более подходящего для будущего писателя круга наук была для него закрыта, так как он кончил курс реального училища, а не гимназии.

19-летний юноша Всеволод Гаршин был членом оскудевавшей помещичьей семьи, где отца уже не было в живых; старший его брат, Георгий, с головой окунулся в службу по судебному ведомству, младший, Евгений, был гимназистом четвертого класса. Все держалось у нас матерью, просвещенной и энергичной женщиной, большой работницей, но исключительно интеллектуального типа.

Она зачитывалась народнической литературой семидесятых годов, но ей и в голову не приходило, чтобы ее сын, удовлетворившись средним образованием, поселился у себя в деревне и занялся сельским хозяйством. Профессиональная журналистка шестидесятых годов, она и представить себе не могла, чтобы ее сын с литературными наклонностями, определившимися еще на школьной скамье, записался сразу с юных лет в цех писателей, в судьбе которых, по выражению Некрасова, «что-то лежит роковое».

Да и сам Всеволод, уже мучимый творческими замыслами, но руководясь идеей завершения образования в какой бы то ни было высшей школе <...>, корпел три года над науками будущего горного инженера, пока «гроза военной непогоды» не увлекла его стихийно на войну и не сделала автором «Четырех дней», давших ему всемирную известность.

Но проследим теперь по его письмам к матери, как подготовлялся его литературный дебют, идущий полтора года впереди того блестящего литературного успеха, который сразу выдвинул Всеволода Гаршина в первые ряды русской литературы.

<...> в письме от 15 января 1875 г. <...>: «Сегодня <...> занимался целое утро. Нашел такой стих — надо пользоваться. Если бы этот стих был у меня постоянен! На эту тему «если бы он был постоянен» у меня было написано (пять лет тому назад) некоторое стихотворение <...>. Признаюсь кстати, что «музы от меня лица не отвратили» * и что я до недавнего времени писал стихи, иногда очень удачные, большею частью скверные. Теперь бросил [1]. Бросив «поэзию», не брошу «прозы». Тут же Всеволод сообщает, что у него есть нечто написан-

---

* <...> Всеволод цитирует здесь известное стихотворение Грея-Жуковского «Сельское кладбище». Невольно возникает в памяти в применении к самому Всеволоду весь ряд стихов:

> Музы от него лица не отвратили,
> И меланхолии была печать на нем.
> Он кроток сердцем был, чувствителен душой.
>
> <Примеч. автора.— *Г. С.*>

ное, что он собирается снести к одному литературному знакомому[2]. <...>

Осенью того же года Всеволод снова возвращается к мысли о писательстве, но, к сожалению, не как о призвании своей жизни, а как о подсобном промысле для поддержания наших весьма слабых тогда финансов <...>. «Работа в «Пет. <ербургском> Листке» наверно в моих руках», — пишет он матери 19 октября 1875 г. <...> В том же письме Всеволод сообщает: «Начал писать «Очерки»; № 1 — «Земское собрание», конечно, большею частью с натуры, хотя личности перепутаны. Пошлю в Старобельск 10 номеров. Если будет напечатано, так в первых №№ ноября»[3].

Старобельск — уездный город Харьковской губернии, наша родина, место нашего былого землевладения. Наш отец, умерший в 1870 г., был ревностный земец, член управы первого призыва, и я вырос на впечатлениях земской деятельности. Всеволод тоже, наездами из Петербурга, входил в круг этих интересов, подогревавшихся тогдашней журналистикой, в особенности «Отечественными записками»[4], которые по традиции после «Современника» всегда выписывались в нашей семье и были нашим преждевременным чтением.

В это лето я оканчивал курс старобельской четырехклассной прогимназии <...>, и мы с матерью перекочевывали в Харьков, где я поступил в 5 класс Харьковской 3-й гимназии. Всеволод деятельно помогал нам ликвидировать нашу старобельскую жизнь, и в августе — сентябре был в Старобельске, где и посещал протекавшее там в это время земское собрание. Всеволод погружался в эти впечатления с подготовкой исключительного свойства. Он был здесь человек из другого мира. Воспитанный в очень хорошей школе, имевшей во главе В. Ф. Эвальда, директора-педагога в истинном смысле этого слова, при превосходных учителях словесности, истории и естественных наук, пользовавшийся, по преемственности от матери, обществом выдающихся литераторов, ученых и педагогов тогдашнего Петербурга[5], ласково относившихся к симпатичному, интеллигентному мальчику, обладавший способностью необыкновенно быстро и много читать, легко схватывая сущность поглощаемых книг, Всеволод, бредивший с седьмого класса училища «Азбукой социальных наук» Флеровского[6], наталкивался в нашем Старобельске на действительность самого невысокого порядка. Блага самоуправления и выборного суда падали на почву, совершенно не разрыхленную в интеллектуальном отношении. Не было людей и неотку-

да было их взять. А общий тон глухой провинциальной жизни отдавал беспробудной пошлостью. Было на что негодовать, было над чем посмеяться. Любимый автор Всеволода, Диккенс[7], являлся здесь его первым учителем,— Диккенс с его осмеянием гнилых местечек и практиковавшихся в них эксцессов парламентской системы. То, что дало Всеволоду его пребывание в Старобельске во время тогдашнего земского собрания, навело его на путь добродушного юмора, обвеянного меланхолией и своеобразным символизмом: здесь слоняющаяся по городу сумасшедшая нищая, списанная с натуры, но претворенная в яркий художественный образ, изрекает свое осуждение старобельской жизни.

Таково было первое печатное произведение Вс. Гаршина, его «Подлинная история N-ского земского собрания», генезис которого мы здесь передаем.

<...> воспроизведению своих старобельских впечатлений Всеволод не придавал тогда особенного значения, думая наскоро обработать и продать свою рукопись. Это было бы что-то вроде Чехова-Чехонте. Но природа Всеволода взяла свое, и вдохновение не было продано преждевременно. <...> он считает для себя необходимым непосредственный суд авторитетного писателя. Таким авторитетом тогда был в его глазах лично ему незнакомый, но чрезвычайно в либеральных кругах популярный А. С. Суворин, писавший в тогдашних «Петербургских ведомостях» В. Ф. Корша в свое время знаменитые «Недельные очерки и картинки» под псевдонимом Незнакомца. <...>[8]

В письмах Всеволода к матери не оказывается упоминания о том, что сохранилось в моей памяти по поводу этого посвящения Сувориным в писатели моего покойного брата, но мне ясно помнится, как Всеволод рассказывал, что, признавая в его очерке проблески значительного литературного дарования, Суворин, однако, горячо отговаривал Всеволода от литературной карьеры, ссылаясь на собственный пример нужды и перебиванья за работой постоянного кипения. Суворин не знал тогда, что через какие-нибудь 2—3 года он будет блестяще обеспечен своим «Новым временем», а 30 лет спустя умрет миллионером. <...>

Не знал тоже и Всеволод Гаршин, что 37 лет спустя в литературном фонде будет капитал его имени в 60 тыс. руб., образовавшийся от издания его сочинений. <...>

Всеволод писал нам, что его статья будет подписана буквами «Р. А.» В печати оказались буквы «Р. Л.». Это была

ошибка наборщика и корректора. Ошибкой автора была его чувствительность, побудившая его первое свое произведение подписать инициалами своей невесты [9]. Вскоре затем эта невеста перестала быть его невестой... Всеволод тем же летом собирался писать целый ряд очерков, посвященных той же среде, которая воспроизводится в «Подлинной истории N-ского земского собрания» [10], но ни тем летом, ни когда-либо позже не написал ничего подобного, если не считать «Медведей», в которых проходят некоторые старобельские персонажи. И самый рассказ, оставшийся, таким образом, одиноким в том жанре, которому хотел отдаться начинающий Всеволод Гаршин, не нашел себе места в первой книжке его «Рассказов», изданной им самим в 1882 г. Вследствие этого этот первый печатный опыт Всеволода Гаршина оставался неизвестным читающей публике до 1910 г.[11], когда он впервые включен был в собрание сочинений Всеволода Гаршина, выпущенное редакцией «Нивы» в виде приложения к этому журналу.

Летом 1876 г. <...> Всеволод был уже всецело захвачен славянским движением, вернее — тягой на войну, стремлением к всепоглощающему подвигу. Тогдашний харьковский губернатор кн. Кропоткин отказал ему в заграничном паспорте как лицу, числящемуся в списках призываемых на правах вольноопределяющихся, и прямо указывал на надвигающуюся войну.

Осенью того же года Всеволод сдал в редакцию уже суворинского «Нового времени» следующее стихотворение: «Друзья, мы собрались перед разлукой <...>». Стихотворение это, напечатанное теперь в издании «Нивы», было включено в письмо Всеволода к матери от 8 сентября 1876 г. [12]

Весною следующего года война действительно надвинулась на нас и увлекла за собой Всеволода, оторвав его от студенческих записок, а с войны он вернулся прапорщиком запаса и автором «Четырех дней», давших ему большую славу, но никакого обеспечения, вне зависимости от писания все дальше и больше, которое было для него не простым ремеслом, а выматыванием его души и терзанием его нервов.

Но вместе с тем он вышел на дорогу истинного служения человечеству своим умным и сердечным словом о том, что наболело у его поколения.

Из него не вышел русский Диккенс, каким ему как бы хотелось быть, судя по его первому опыту, но из него вышел Всеволод Гаршин.

КАК ПИСАЛСЯ «РЯДОВОЙ ИВАНОВ»

Лето 1882 года мы с покойным братом Всеволодом проводили в Спасском-Лутовинове, в усадьбе И. С. Тургенева, куда И. <ван> С. <ергеевич> пригласил нас вместе со всей семьей Я. П. Полонского. К общей грусти нашей, мы оказались гостями отсутствовавшего хозяина, которого болезнь приковала к постели, вдали от горячо любимой им родины, от его родового дворянского гнезда, с которым он был так связан всеми фибрами своего богатого жизненным содержанием существа. Но все верилось, что хозяин придет — его частые письма бросали лучи надежды хотя на некоторое улучшение в его здоровье.

Однако, лето прошло, а больному Тургеневу так и не удалось побывать у себя в Спасском. Осенью следующего года мы его хоронили на Волковом кладбище с достопамятной торжественностью. Заочное гостеприимство Ивана Сергеевича отличалось чрезвычайной внимательностью, и жилось нам всем в Спасском исключительно и незабываемо хорошо и привольно [1]. В своих воспоминаниях о Тургеневе в «Историческом вестнике» и в «Ниве» я в свое время (в 1883 г.) [2] рассказал о чу́дной обстановке Спасского, сопроводив свой рассказ весьма многими иллюстрациями того, что было в старом тургеневском доме и вокруг него.

В этой уютной обстановке, среди добрых и просвещенных людей, Всеволод, только что оставивший за собою тяжелую полосу воспоминаний, излеченный от своего недуга продолжительным пребыванием тоже на лоне природы, тоже в старом дворянском гнезде, у нашего дяди В. С. Акимова, в деревне Ефимовке, на берегу Днепровско-Бугского лимана [3], чувствовал себя прекрасно.

Он незадолго перед тем выпустил в Петербурге первую книжку своих рассказов, раньше напечатанных в «Отечественных записках» в период времени с 1877 г. по 1880 г.[4], был совершенно здоров, стоял лицом к лицу с общим признанием его всем милого и симпатичного таланта, не был связан никакими обязанностями и заботами и писал свои «Записки рядового Иванова».

Я не могу теперь точно вспомнить, как он тогда работал, сколько именно отдавал времени своему творческому труду, но ясно помню, что это был труд, умещавшийся в какие-то немногие часы, не нарушавшие сна писателя, не мешавшие его обыч-

ному препровождению времени горожанина в деревне, на даче, на каникулах.

Видимо было, что писалось нечто совершенно готовое, абсолютно кристаллизовавшееся в воображении писателя, продуманное и взвешенное в горниле глубоко чувствующей и страдающей мысли, т. е. так, как всегда творил Всеволод Гаршин свои произведения, малые по объему, но многозначительные по смыслу и отчеканенные по форме, выношенные до полной зрелости художественного плода и рожденные во всеоружении свойств истинного художника.

Сам брат, однако, очень строго относился к своему творчеству и не удовлетворялся достигавшимися результатами. Вот что писал он мне 14 сентября того же 1882 г. из Спасского в Петербург, куда я должен был выехать раньше, чем он:

«Пишу последнюю главку <«Рядовой Иванов»>. Плохо, очень плохо вышла у меня эта штучка; серьезно думаю, что М. Е. <Салтыков> не возьмет. В эти несколько дней посмотрю, поправлю. Да и последняя главка (бой) не дается. Сижу много, а пишу по страничке. А иногда и ничего не выходит. Плохо.» <...> [5]

В ту пору он никогда никому не рассказывал своих замыслов, и уже совершенно готовые образы быстрым, до крайности неразборчивым почерком передавал на бумагу. Исписанные листы поступали к нашей покойной матери, Екатерине Степановне. Эта женщина, с значительным литературным дарованием, типичная шестидесятница первого призыва, любовно переписывала строки обожаемого сына, писательским чутьем угадывая каждый крючок причудливого письма Всеволода, и таким образом получался манускрипт, в котором уже не требовалось никаких помарок, никаких исправлений.

Зная эти свойства творчества брата, эту его самоуглубленность в моменты создания тревоживших его образов, это своеобразное поэтическое уединение среди разнообразия жизни, иногда самой обыкновенной и простой, от которой он никогда не сторонился, держась со всеми просто и мило и видя во всех, кто к нему подходил, хороших, добрых людей, я был поражен, когда в одно, поистине прекрасное утро, он обратился ко мне с просьбой прослушать отрывок из того, что он уже написал. Это была главка из «Записок рядового Иванова», где изображен смотр наших войск в Плоэштах в присутствии Царя-Освободителя (гл. V) [6]. Мне трудно теперь, 30 лет спустя, на шестом десятке лет собственной жизни, передавать то впе-

чатление художественной радости, какое я испытал, прослушавши этот отрывок.

А между тем, брат меня спрашивал, можно ли этот кусок его чýдной картины оставить на ее полотне.

— Но почему же нельзя? Ведь это лучшее, что ты до сих пор создал. Ведь здесь твое творчество поднялось до апогея.

— До сих пор я отдавал все свое в «Отечественные записки», а пройдет ли там эта сцена, и даже больше — могу ли я как сотрудник «Отечественных записок» выдавать в свет такие сцены?

— Но ведь ты чувствовал и чувствуешь то, что ты здесь написал?

— Да, чувствовал и чувствую.

— Дорогой мой, веришь ли ты в незыблемость либерализма Михаила Евграфовича?

— Верю.

— В таком случае обещай мне, что ты эту свою рукопись передашь не прямо в редакцию, а лично ему.

— Да, это верно. Его суд решит все[7].

Рукопись, действительно, миновала всех остальных олимпийцев «Отечественных записок» и оказалась в руках лично самого М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В ближайший после того понедельник, когда собралась вся редакция в квартире Г. З. Елисеева, наш великий сатирик и беспощадный редактор-художник говорил, сколько я слышал, так:

— Вот вы все пишете, пишете,— и тут, не стесняясь в выражениях, столь резко и определенно охарактеризовал то, что представляла беллетристика того времени, что пишущий эти строки затрудняется передать то короткое слово, которое было сказано после этого «пишете», как его прямое дополнение.— А вот Гаршин написал такое, что в Гатчине[8] будут читать и плакать будут.— Сказал и передал рукопись в набор без каких-либо поправок и перечеркиваний, от которых так страдал покойный Всеволод после выхода в свет его рассказов «Происшествие» и «Трус», страдал настолько, что при отдельном издании мечтал восстановить все пропуски, сделанные Салтыковым[9]. Но когда 3 года спустя, перед изданием первой книжки рассказов, я напомнил брату об этом былом его желании, он сказал мне:

— Нет, не надо, М.<ихаил> Е.<вграфович> был прав. Художественная цельность выиграла от этих пропусков.

Так написалось и попало в печать сильнейшее эпическое

произведение Всеволода Гаршина, отразившее в себе одно из его наиболее глубоких переживаний, ибо лично он сам к войне относился совершенно особо. Вот что писал он мне раннею весною того же 1882 г. (24 февраля), еще из Ефимовки: «Правда ли, что война так возможна? Не дай ее, конечно, бог, а *лично* я не был бы недоволен <...> лучше конца, как на войне, надо поискать»[10].

Но не такой конец ждал моего несчастного брата и, вне сомнения, он не искал такого конца, какой его нашел и доканал его, во всяком случае красивую, жизнь.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ БЕСЕДЫ

<...> Покойный И. С. Тургенев в письме на имя брата Всеволода назвал его своим литературным наследником[1], и в этом была глубокая правда: сжатость и сила изложения, проникнутого вместе с тем изяществом формы, безупречной со стороны слога и образов, — вот те свойства тургеневской прозы, которые мой покойный брат считал неизбежно обязательными для истинного беллетриста. Несомненно, брат написал бы много больше, если бы он, по примеру других, не был к себе столь требователен в вышесказанном отношении. Прежде, чем взяться за перо, он вынашивал каждое из своих произведений, пока оно не вырастало в его сознании до мельчайших деталей, во всей пропорциональности своих частей, образуя одно стройное целое. Нечего говорить о том, до чего это рискованный и вместе с тем мучительный прием творчества. В такие минуты, когда в голове живо слагались образы и картины, готовые вылиться на бумагу, он любил бродить где-нибудь в отдаленных частях города, вполне сосредоточиваясь на себе. А дает ли всегда заедающая проза жизни освежающую возможность без помехи сосредоточиться в самом себе? К тому же органическое расположение к душевному недугу, в резкой форме обнаружившееся впервые уже на семнадцатом году жизни (в 1872 г.), постоянно давало себя знать. Найдет беспредметная тоска, расшатаются нервы, и вдруг целая повесть, так пластично сложившаяся в поэтическом воображении, улетает из головы, не оставляя никакого следа. А сознание продолжает работать, раскрывая весь ужас несбывшегося замысла. Я говорю «весь ужас», потому что брат в каждое свое произведение вносил слишком много субъективного, выстраданного своей душой, разрешающегося лишь посредством выражения в слове.

Возвращаясь к тому положению, что Всеволод Гаршин был преемником Тургенева, я утверждаю это, проверяя, насколько это возможно, отношение читающей публики к каждому из произведений, с которыми появлялся мой покойный брат. Всех увлекало необычайное в наше время изящество формы, но вместе с тем каждый мыслящий человек чувствовал в этом молодом писателе плоть от плоти, кровь от крови своего несчастного поколения. В рассказах Всеволода Гаршина действуют последние идеалисты, и в этом отношении мой покойный брат заключает собою очень большой историко-литературный период, начавшийся на заре настоящего столетия в неясных и, как принято говорить, несбыточных стремлениях романтизма в туманную даль возвышенного и прекрасного. У Всеволода Гаршина последний идеалист умирает, сжимая в руке сорванный им красный цветок, в котором его больная фантазия олицетворяет все зло мира [2].

Было бы несправедливо отрицать талант довольно многих из представителей современной литературы; некоторые из них — большие мастера изображать оборотную сторону той, всех тешащей медали, которая называется жизнью, обличать мелкие чувства и низкие действия героев современности, но есть ли во всем этом та освежающая струйка идеализма, которая столько лет живительным ключом пробивалась в недрах нашей действительности и выносила на поверхность блестящие перлы русского творчества? Что брат мой был идеалист, по-существу, это определяется всей его литературной карьерой. Замечательно, однако, что первый его литературный опыт был чисто реалистическим, обличительным произведением. Брату только что пошел 21-й год, когда он написал свой первый рассказ для печати. Это была «Подлинная история Энского земского собрания», напечатанная в № 15 еженедельной газеты «Молва» за 1876 год. У нас на родине, в глухом уездном городишке [3], из которого, по выражению гоголевского городничего, хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь, и куда все-таки покойный брат ежегодно, бывало, наезжал из Петербурга, где он учился, он имел случай наблюдать тот грустный процесс, как новое вино вливалось в старые меха; благородные принципы реформ прошлого царствования прививались на почве, бедной людьми, которые были бы способны на искреннее служение делу земской культуры и просвещения. С реформой, правда сказать, откуда-то пришли к нам в глушь и какие-то новые люди, которые говорили довольно громко и, пожалуй, хорошо и благородно, но вскоре затем они сживались

с исконными формами жизнедеятельности уездных обывателей, и благородство идей и слов отлетало, как дым, в отдаленное прошлое. Как чуткий наблюдатель, брат предвидел это по первым же выходам на арену таких героев и живо изобразил в своем рассказе.

Бережно относясь к своему первому произведению, брат Всеволод не удовлетворился мыслью пристроить его на какие бы то ни было печатные страницы и считал необходимым прежде всего услышать суждение компетентного литератора, который бы определил по первому опыту, есть ли проблески в нем такового дарования, над которым стоит работать. Выбор брата пал на одного литератора[4], который 12 лет тому назад пользовался общими симпатиями известной части общества и в том числе хорошей молодежи за свою честность и неподкупность убеждений, выражавшихся в талантливых еженедельных статьях на страницах большой влиятельной газеты, тогда же безвременно погибшей[5]; ее ближайшие сотрудники оставляли насиженное гнездо, унося на своих головах ореол людей «пострадавших». Литератор, к которому обратился брат, не будучи с ним лично знаком <...>, отнесся к нему с большой симпатией, оценил дарование покойного и направил его в редакцию вышесказанной газеты «Молва»[6], прочитав юному автору предварительно пространные наставления о тщете литературного труда, при самых даже благоприятных условиях, и усиленно рекомендуя опираться на какую-нибудь более прозаическую профессию. <...> Прошло 12 лет; литератор, направлявший первые шаги моего брата, остался добрым и хорошим человеком, но давно уже простился с той репутацией, которая привела к нему начинающего писателя с благородными порывами[7]; труд этого литератора оказался для него лично далеко не тщетным, и он создал нечто весьма солидное в журнальном мире; он не вправе также сказать теперь, что и брата моего погубила литературная деятельность. Напротив, независимо от врожденного недуга <...>, покойный брат, действительно нашедший жизненную опору и материальное обеспечение вне литературных занятий, скорее всего изнывал душой в неясной для него самого борьбе с заедавшей его прозой жизни. <...> И в этой прозе он никогда не находил источника для своих вдохновений. Увлеченный удачей первого опыта, он имел в виду разработку провинциальной жизни с вышеизложенной точки зрения, называл даже заглавия своих будущих повестей[8], имевших задачей обличить целый ряд типов непривлекательного характера, но прикрытых личиной

фразерства. Ни одна из этих повестей не была даже и начата. Эстетика преобладала в изящной натуре Всеволода Гаршина. После первого опыта в беллетристике он целый год ничего не производит в этом роде, но зато пишет замечательные по своей искренности, задушевности и художественному чутью статьи (в «Новостях») о современном искусстве, в которых скрывается прежде всего поэт [9]. Сильные впечатления войны возвращают брата к творчеству в собственном смысле этого слова, и, начиная с «Четырех дней», через все его рассказы до «Красного цветка» проходит образ рефлектирующего молодого человека, томимого стремлением к познанию общего смысла жизни, чтобы в нем потопить свои личные страдания и сомнения. В сказке «То, чего не было» и в «Записках рядового Иванова», успев до появления этих произведений так много перестрадать, брат проявляет блестящие задатки нового начала в своем творчестве и, проникшись духом объективности, вносит в свое изложение чисто эпическое спокойствие и простоту. На гóре ему и русской литературе этим задаткам не суждено уже было развиться. <...>

Как бы то ни было, перебирая в памяти всех писавших в течение 70-х годов и справляясь в данном случае не с суждениями редакций и критиков, но с непосредственными симпатиями публики, видишь, что Всеволод Гаршин твердо занимает свое место в общей памяти и в истории русской литературы, представляя собой олицетворение и выражение своего больного времени. Для последующего и ныне действующего поколения Всеволод Гаршин оказал также великую услугу: своим блестящим талантом он опровергал безусловно-отрицательное отношение к современной литературе; его «книжки рассказов» пролагали и пролагают путь как действующим его сверстникам, так и новым авторам, только что выступающим. Самая беллетристическая форма рассказов моего брата, удовлетворяя всем законным традициям его предшественников, вместе с тем отличается оригинальностью и свободою в расположении содержания, отвечающими духу времени.

И нельзя не вспомнить, с каким чувством этот поэт с кристальной душой, глубоко страдавший от невозможности работать самому, всем сердцем радовался всякому проблеску дарования в произведениях современных ему авторов и даже в последние дни своей жизни с восторгом говорил об одном созревающем таланте [10]. <...>

А. П. Налимов

Александр Павлович Налимов (1853—1917) — малоизвестный литератор, товарищ В. М. Гаршина по петербургской гимназии, встречи с которым продолжались некоторое время после ее окончания. По свидетельству Гаршина, в 22 года он имел «определеннейшие воззрения» и твердо их защищал; «поклонник Миртова <П. Л. Лаврова> и Михайловского» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 48). В 1879 году обвинялся в принадлежности к «противозаконному сообществу». Впоследствии — преподаватель русского языка в школе, сотрудник журналов «Литературный вестник» (1901—1904), «Образование» (1892—1909) и др.

Воспоминания интересны сообщением о самых первых литературных опытах Гаршина — гимназическом сочинении 1872 года «Смерть», представляющем не лишенную самостоятельной мысли вариацию на тему одноименного рассказа И. С. Тургенева из «Записок охотника».

К ВОСПОМИНАНИЯМ О ВСЕВОЛОДЕ ГАРШИНЕ

Это было давно, более 20 лет тому назад, в стенах бывшей гимназии, затем преобразованной в Первое Реальное училище.

Однажды, в одном из старших классов вышеназванной гимназии, преподаватель русской словесности, В. П. Г.[1] <...> предложил своим ученикам написать в классе сочинение на тургеневскую тему — о том, как умирает русский человек. Желающим предоставлено было воспользоваться и собственными наблюдениями в «житейском море».

Возвращая рукописи, В. П. выразил, в общем, свое недовольство работами класса. Только два «сочинения» признал он достойными лучшей «участи» — отметок 4 и $4^{1}/_{2}$. В одном автор трактовал тургеневский материал с некоторыми рассуждениями «от себя»; в другом — пересказан был «случай из жизни» — его написал Всеволод Михайлович Гаршин[2]. Нижеподписавшийся тут же в классе, по пересланной через товарищей записке, выпросил и прочитал маленький гаршиновский очерк. На том же уроке прислал он Гаршину на клочке бума-

ги и «собственное заключение» о работе. Сам — уже тогда — со слабостью к «сочинительству» автор этого «заключения» не без торжественности, в каком-то повышенном настроении, хвалил гаршиновский рассказ, находил в нем что-то и даже что-то предсказывал. <...> отлично помним и собственную возбужденность, и какую-то *необычайность* той минуты, словно что-то *блеснуло и выделилось* на знакомом сером фоне школьной обстановки и жизни. Памятный нам «урок русского языка», по-видимому, не внес никакого движения в обиход гимназических дней — ни для преподавателя, ни для класса. Имеющиеся печатные биографические материалы не выясняют, по нашему мнению, вопроса, какую роль сыграло это «сочинение» и для самого Всеволода Михайловича [3]. <...>

Юношам-«авторам», как известно, свойственны часто погоня за эффектными прилагательными, за звучными синонимами, бессознательные подчас перепевы чего-нибудь особенно излюбленного, наконец, некоторое решительное, импонирующее резонерство. Этого не замечалось и в первой, теперь «печатной вещи» Гаршина. Думается <...>, что и юная писательская душа Гаршина сильнее всего восприняла Тургенева и Толстого — Тургенева, столь изумительно *красивого,* без малейших следов фразы,— и Толстого, который всегда так мало заботился о виртуозности и так силен художественными *эмоциями.* Насколько знали мы Всеволода Михайловича, а знали, следовательно, с гимназической скамейки,— он никогда не казался нам *пессимистом.*

Но еще в гимназическую пору у него подчас вырывались слова, полные глубокой печали.

Печальное он выразил и в поэзии своей — просто, но художественно-проникновенно<...> [4].

М. Е. Малышев

Михаил Егорович Малышев (1852—1912) — живописец и иллюстратор, один из самых «близких» и «добрых», по словам Гаршина, друзей писателя. Учился, вместе с Гаршиным, в 1-м Петербургском реальном училище, а с 1871 по 1876 год — в Академии художеств. Был участником «пятниц» — кружка молодых художников, в который ввел и Гаршина. Малышев (как и Гаршин) — участник русско-турецкой войны. Известность принесла ему картина, родственная по сюжету военным рассказам Гаршина,— «В Болгарии. Эпизод войны 1877—1878 гг.». Выставлял свои произведения на передвижных и академических выставках, хотя официально был связан с «Обществом петербургских художников». Малышев — первый иллюстратор гаршинских произведений («Четыре дня», «Медведи» и др.), один из художественных редакторов сборника «Памяти Гаршина» (1889).

В воспоминаниях Малышева нашли отражение наиболее значительные моменты биографии Гаршина: учеба в реальном училище; посещение «пятниц» художников, близких «передвижникам»; участие будущего писателя в русско-турецкой войне; посещение графа Лорис-Меликова в связи с делом народовольца И. О. Млодецкого, покушавшегося на начальника Верховной распорядительной комиссии; история создания рассказа «Четыре дня». Малышев воспроизводит высокий нравственный облик Гаршина, его доброе отношение к солдатам, приводит отзывы солдат о Гаршине («славный барин, душа!»). Будучи строго объективным, автор воспоминаний однако делается пристрастным в своих оценках Лорис-Меликова, называя его «честным и умным человеком».

О ВСЕВОЛОДЕ ГАРШИНЕ

Всеволода Михайловича Гаршина я помню с 1865 г., когда я поступил во второй класс бывшей С.-Петербургской 7 гимназии, ныне I-го реального училища. Гаршин только что перешел из первого класса во второй, и тут мы с ним познакомились и сошлись. Он был мальчик необыкновенно скромный, но веселый, уживчивый и чудесный товарищ, и хотя я и не отличался всеми этими качествами, но мы с ним подружились и до самой трагической кончины Гаршина жили душа в душу. Раз только нашла тучка на нашу дружбу, да и то кругом был виноват я,

и Всеволод Михайлович рассердился больше по принципу. Я был пансионером, а Всеволод Михайлович приходящим; нас, пансионеров, кормили неважно и для здорового, сильного шалуна очень даже мало, почему я частенько бывал впроголодь. Гаршин же, приходя в училище ежедневно, приносил с собою завтрак,— и вот раз, в особенно плохую минуту, я напал на него, отнял завтрак и съел. Это грубое насилие страшно возмутило Всеволода Михайловича, и мне стоило больших усилий, признав всю неблаговидность моего поступка, примириться с ним. Это наша единственная ссора за все 23 года дружбы.

Частенько, вспоминая годы детства и дойдя до этого эпизода, Гаршин не мог не прибавить: «А все же, сознайся, это было подло!»

Из всех знавших покойного Гаршина вряд ли найдется кто, могущий сказать дурное об этом глубоко честном, милом и хорошем человеке.

Все воспоминания о нем — панегирик ему, и панегирик этот слышал я и в Болгарии от солдатиков-сослуживцев покойного, и в Петербурге от его друзей и знакомых, а знакомых у него было чрезвычайно много. Его симпатичность, мягкий, уживчивый и общительный характер невольно с первого раза располагали к нему всякого, а образование делало беседу с ним интересною и увлекательною.

Читал он необычайно много и обладал замечательною памятью. Кончив гимназию и поступив в Горный Институт, В.<севолод> М.<ихайлович> сблизился с кружком молодых художников и стал непременным членом их сборищ. На этих собраниях, «пятницах», читались впервые некоторые из произведений его, обсуждались и комментировались, и так как тесная дружба царила между членами кружка, то и мнения, иногда, правда, нелепые, бывали всегда искренни. Споры об искусстве не умолкали, и В.<севолод> М.<ихайлович> горячо, горячее многих художников, ратовал за искусство как служение высшим идеалам добра и правды, и этому искусству оставался верен всю свою жизнь. Дружбу и симпатию к некоторым членам этого кружка он сохранил до самой своей смерти, и воспоминание о «пятницах» всегда было одним из лучших его юношеских воспоминаний.

С этих «пятниц» началась и укрепилась его близость с художниками, продолжавшаяся всю его недолгую жизнь. Симпатии к Гаршину в мире художников очень велики, чему лучшим доказательством служит та готовность, с которою рус-

ские художники откликнулись на призыв поработать для издания, посвященного его памяти.

Когда в 1877 г. была объявлена война Турции, Гаршин с одним из своих друзей, В. Н. Афанасьевым, бросили Горный Институт, где они были студентами, и отправились в действующую армию. Приехав в Кишинев, они зачислились в Болховский полк и на другой же день выступили в поход.

В августе месяце и мне удалось попасть в Болгарию и, прибыв в гор. Белу, я узнал, что Гаршин ранен и находится тут же в походном лазарете. Наша встреча в Беле была совершенной неожиданностью для нас обоих [1] и поэтому, несмотря на печальную госпитальную обстановку, очень нас порадовала. Рана Гаршина была не опасна: пулей пробило ему мякоть ноги выше колена навылет, кость осталась цела. Я нашел его на койке бодрым и веселым. Те несколько часов, которые мы провели вместе, были для нас обоих манной небесной. Я привез целый короб новостей о Петербурге, откуда я выехал только месяц назад (к Петербургу же Гаршин чувствовал всегда особую любовь, да и не мудрено — лучшие годы юности прошли здесь, его воспитание, юношеские восторги лучших друзей — все это дал ему Петербург, в Петербурге он чувствовал себя в своей сфере), а Гаршин посвятил меня в тайны военно-походной и боевой жизни, с которой уже ознакомился на опыте. Тут же в госпитале услышал я от него эпизод, послуживший темой для его рассказа «Четыре дня». После сражения при Езерджи, наши, подобрав раненых, отступили, ушли и турки, и только через четыре дня наш батальон, в котором служил В.<севолод> М.<ихайлович>, пришел похоронить убитых. В кустах найден был между убитыми и еле живой солдат, если не ошибаюсь, 2-ой стрелковой роты Болховского полка, с перебитыми гранатою ногами. Факт этот так поразил В.<севолода> М.<ихайловича>, что он, придя на бивуак, немедленно же принялся за свои «Четыре дня» [2]. Так как все детали были еще свежи в его памяти, то рассказ, — а рассказывал он очень хорошо, — вышел необыкновенно сильным и произвел на меня громадное впечатление. Однако Гаршин, по свойственной ему скромности, сильно побаивался, что рассказа его не примут в «Отечественные Записки». Пробыв в Беле несколько часов, я распрощался с Гаршиным, так как должен был следовать с партиею дальше, а когда через неделю мне опять случилось быть в Беле — Всеволода Михайловича уже не было в госпитале, он уехал лечиться в Россию, в Харьков.

Прошел почти год, и я, вернувшись из похода, встретился со Всеволодом Михайловичем уже в Петербурге, в ореоле его славы, героем дня, но не нашел в нем ни малейшей перемены. Успех не отуманил его и хотя, на время, впрочем, и придал ему крылья, но сердце его осталось таким же честным, простым и открытым для друзей и недругов.

Помню я, как искренне жалели солдатики нашей 5 роты, что не отдали своего ротного креста Гаршину, надеясь, что он получит именной Георгий, к которому был представлен за личную храбрость и которого почему-то все-таки не получил, несмотря на двукратное представление и на самые лестные отзывы ближайшего начальства.

Живой по натуре, непоседа, в высшей степени общительный, простой и ласковый, Гаршин очень полюбился солдатам, привыкшим видеть в вольноопределяющемся кандидата на офицера, а не своего товарища. Он близко сошелся с ними, учил их грамоте, писал письма, читал газеты и по целым часам беседовал с ними[3]; беседы эти долго еще спустя, когда Гаршин, раненый, уже уехал в Россию, вспоминались солдатиками.

«Все-то он знал, все-то рассказать мог, и сколько он нам историй разных порассказал на походе! Изморимся, язык высунем, еле ноги волочим, — рассказывали мне, — а ему и горюшка мало, снует промеж нас, с тем покалякает, с другим. На привал придем — только бы ткнуться куда, а он соберет котелки да за водой. Чудно́й такой, живой! Славный барин, душа!» Несмотря на свою кажущуюся физическую слабость, Гаршин выносил тягости похода несравненно легче большинства.

Когда он был здоров — не было собеседника приятнее его. Развитой и остроумный, он был, что называется, «душа общества», но нервность его натуры сказывалась во всем: не было стола, этажерки, на которых бы он не перетрогал всех вещей; зачастую случалось, что, отыскивая «душу» предмета, он его ломал окончательно. Придя домой, с уверенностью можно было сказать, заходил Всеволод Михайлович или нет. Но эта кажущаяся неряшливость не мешала Гаршину на деле быть чрезвычайно чистоплотным и нравственно, и физически. Убеждениям своим и долгу Всеволод Михайлович не изменял никогда. Несмотря на самые заманчивые, лестные и выгодные предложения, он наотрез отказался работать в журнале «Новь», не сходясь с ним во взглядах[4]. В ужасную минуту он не побоялся пробраться к одному очень и очень

высокопоставленному лицу и высказать ему свой взгляд на дело весьма щекотливого свойства [5]. Это влиятельное лицо, к счастью, оказалось очень честным и умным человеком, и Всеволод Михайлович ничем не поплатился за свою отважность. Рано утром, придя после этого разговора в мою комнату страшно взволнованный, он, рассказывая мне о своем посещении, осыпал горячими похвалами своего собеседника и восторженно ждал от него великих дел. Лицо это до сих пор, вероятно, помнит молодого энтузиаста, всю ночь проведшего в его квартире.

Тяжкий недуг, которым по временам страдал Гаршин, после его женитьбы заметно смягчился, характер заболевания уже не имел той острой формы, как прежде, но за последние годы почти каждую весну, месяца на два, хандра и апатия ко всему овладевали им; осенью же и зимою он опять был совершенно нормален, полнел, молодел и чувствовал себя отлично. Лето 1885 г. я жил на даче в Мурине, и Гаршин приехал ко мне погостить. Состояние духа его было особенно угнетенное, он высказывал полное неверие в свои силы, в свой талант и даже в свое призвание, жаловался, что талант, «если только он был», он не развивал, а зарыл, что он ничего не знает, что должен всему учиться с азбуки, что он в тягость всем людям и напрасно только коптит небо, но о *самоубийстве ни разу* не проронил ни слова. Временами он как будто делался бодрее, и мы опять видели умного, милого и веселого Гаршина. Начало лета 1887 г. (май и июнь) он был здоров и бодр, и, приехав ко мне на дачу, он, рассказывая мне об одном чрезвычайно неприятном семейном деле [6], радовался, что оно, несмотря на всю свою серьезность, не вызывало прежних припадков хандры, тогда как раньше малейшего пустого повода было достаточно, чтобы вызвать полный упадок духа. «Обыкновенный срок моего заболевания уже прошел и, несмотря на это ужасное, отвратительное письмо и на прочие гадости, я здоров. Слава богу, значит на этот год я останусь цел. Ты не поверишь, Мишуной (так часто называл меня Всеволод Михайлович), как я рад этому», — говорил Гаршин.

Этим надеждам, к несчастью, не суждено было оправдаться, и в июле он заболел, а в апреле его не стало.

Особенную нежность и заботливость проявлял Всеволод Михайлович к своей жене. Не было супругов нежнее их, так что у нас ребятишки даже посмеивались над этою взаимною нежностью. Не раз он говаривал мне, что не хочет еще умирать, что он хотел бы, чтобы его Надя была сначала обеспече-

на, и когда его книжки стали давать доход, он искренне радовался, что на случай его смерти у жены его кое-что останется, да и в деле издания своих сочинений он уверен был только в жене, он знал, что она, зная его взгляды и любя его, не захочет его именем эксплуатировать публику, что всегда страшно его возмущало.

К несчастью, эти надежды покойного не оправдались: он не успел написать *законного* духовного завещания и формально передать жене право издания своих сочинений.

Смерть Гаршина — потеря и большая потеря для русской литературы, но мы, близко знавшие его друзья, потеряли в нем, кроме честного, талантливого писателя, еще и чудеснейшего человека и верного друга.

В. П. Сахаров

Василий Платонович Сахаров в 70-е годы — подпоручик 138 пехотного Болховского полка, в котором служил и В. М. Гаршин. Впоследствии — генерал. В одном из своих писем к матери (29 июля 1877 г., Ковачица) Гаршин так характеризует его: «Сахаров I <в полку было два однофамильца. — *Г. С.*> — атлет телом, голубь душой и лев отвагой. Очень хороший, добрый человек. <...> Сахаров I — Василий Платонович — кончил курс семинарии и променял орарь иподьякона на сабельку армейского офицера» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 134—135). Гаршин встречался с Сахаровым в 1879 году в Ярославле и в 1883 году в Петербурге.

Воспоминания являются хорошим дополнением к письмам будущего писателя с фронта русско-турецкой войны. В них воспроизведены условия жизни Гаршина в армии, его взаимоотношения с солдатами и офицерами, нравственные принципы, отношение к борьбе славян за национальную независимость.

ВОСПОМИНАНИЯ О В. М. ГАРШИНЕ

Первая встреча и знакомство мое с В. М. Гаршиным состоялись в апреле 1877 года в г. Кишиневе, в квартире моего ротного командира поручика Ивана Назаровича Афанасьева. Явившись к нему однажды, я застал довольно многолюдное общество, преимущественно офицеров. Невольно внимание мое привлекли два штатских молодых человека, которые, по-видимому, не разделяли общего оживления и сидели рядом отдельно, наблюдая непривычную обстановку. Один из этих молодых людей был среднего роста, брюнет, с бледным худощавым лицом, обросшим небольшой темной бородкой, которая, по-видимому, не знала еще бритвы, и такими же маленькими усами.

С первого же взгляда меня поразили его глаза: темные, глубокие, они смотрели печально, но ласково и как будто манили к себе. Весь показался он мне хрупким, слабым физически, но таким благородным и добрым, что я невольно

подумал: вот человек, который не может и не способен сделать зла.

— Всеволод Михайлович Гаршин, — отрекомендовал мне молодого человека поручик Афанасьев. — А это мой родной брат, Василий, — прибавил он, знакомя меня с другим молодым человеком, блондином, с длинными до плеч волосами. — Студенты Горного института, будущие воины. Воспылали воинственным пылом, бросили свои книги и лекции и явились сюда, чтобы идти вместе с нами бить турку! — шутливо продолжал Иван Назарович.

В тот вечер я успел перекинуться с будущим писателем лишь немногими фразами. Более короткое знакомство началось уже во время похода на Румынию и в особенности по Болгарии. Через два дня я увидел Гаршина уже рядовым солдатом, одетым в шинель, с ранцем за плечами и с винтовкой в руках. Он шел в строю вместе с полком, выступившим из Кишинева на театр военных действий. Приходившие мне в голову сомнения относительно возможности для двух неокрепших юношей — Гаршина и Афанасьева — благополучно преодолеть трудности похода не оправдались. Всеволод Михайлович, несмотря на хрупкость и слабость своего сложения, несмотря на непривычку к походу в полном боевом снаряжении, ни разу не отстал от части. Между тем, первые походы от Кишинева до Румынии без походных палаток, под дождем, при размокшей глинистой местности, а потом под палящими лучами солнца, при отсутствии воды (50-верстный переход до Рымника) были страшно трудны и утомительны. Процент отставших нижних чинов был очень значителен. Бывало, как только полк остановится на привал, Всеволод Михайлович идет усталой походкой с котелком за водой к ручью или колодцу. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы он воспользовался в подобных случаях услугами солдат, хотя впоследствии они хорошо узнали Всеволода Михайловича и наперебой старались услужить ему. Добрый, отзывчивый к горю и нуждам окружающих, всегда готовый так или иначе идти на помощь, Гаршин стал общим любимцем в роте. Хотелось ли услышать добрый совет в затруднительном случае, получил ли кто нерадостные вести с родины, поссорились ли приятели, — все обращались в этих случаях к «Михайловичу». Так звали солдаты Гаршина — может быть, потому, что трудно было выговаривать его имя — Всеволод, — а вероятно потому, что в этом обращении яснее сказывалось их уважение, душевное расположение и близость к

нему. Гаршин жил вместе с солдатами в солдатской палатке. По просьбе нас, офицеров, ротный командир приглашал В.<еволода> М.<ихайловича> поселиться в нашей палатке, там, где было и просторнее, и удобнее в смысле продовольствия, и можно было пользоваться услугами денщиков, но он категорически отказывался перейти, мотивируя тем, что он как рядовой солдат должен жить в условиях солдатской жизни.

Удивительно неутомим был Гаршин. На бивуаках всегда он был чем-нибудь занят: то пишет письма по просьбе солдат, приспособившись как-нибудь на ранце, то рассказывает им о каком-нибудь важном историческом событии, то объясняет явления природы, и всегда аудитория его слушателей многочисленна.

Познакомившись с В. М. Гаршиным поближе, я в свободное время приглашал его на прогулки в окрестностях бивуаков. На прогулках беседа велась иногда на злободневные темы, иногда же мы делились друг с другом рассказами о семье, родственниках, знакомых. Но чаще и охотнее всего Гаршин знакомил меня с естествоведением.

Я очень любил подобные беседы с Гаршиным, главным образом потому, что они велись задушевно, просто, в них он обрисовывался мне весь: умный, добрый, душевный.

Говоря откровенно, близкое знакомство с Гаршиным оказало на меня большое нравственное влияние. Однажды, рассердившись за что-то на денщика, вероятно за какой-нибудь пустяковый проступок, я побил его. Рукоприкладство в то время и не поощрялось, но и не преследовалось. Это произошло в присутствии Гаршина. На другой день, подойдя к В.<севолоду> М.<ихайловичу> на бивуаке с целью пригласить его на прогулку, я сразу заметил большую перемену в своем любимом собеседнике. Глаза его, всегда задумчивые, теперь смотрели на меня совсем грустно. Он казался смущенным и вместе с тем так укоризненно смотрел на меня, что я сразу понял причину перемены в его настроении.

На этот раз прогулка была невеселая, и разговор как-то плохо вязался. Оба мы чувствовали себя неловко... В конце концов я должен был сознаться, что мое поведение в отношении к денщику было преступное и позорное. И сразу изменилось выражение лица В.<севолода> М.<ихайловича>. Он добрыми, благодарными глазами посмотрел на меня, а я в душе дал слово никогда, ни при каких обстоятельствах, не

доходить в своем раздражении до кулачной расправы. И должен сказать, что слово сдержал...

Таким образом наши добрые отношения с Гаршиным снова восстановились. Последняя прогулка и беседа с ним на полях Болгарии была 10 августа 1877 г., накануне Аясларского боя, где он был ранен. Саженях в ста впереди фронта бивуака лежало турецкое большое село <...>, брошенное турками на произвол судьбы. В это село мы и направились. Подойдя к нему, мы заметили стоявший отдельно большой и чистенький дом, принадлежавший, по-видимому, зажиточному турку, и вошли во двор. На маленьких, аккуратно обделанных грядках высоко вытянулся табак, а далее, за легкой изгородью зеленел сад с массой слив и абрикосов.

— Нарвем табаку! — обратился ко мне В.<севолод> М.<ихайлович>. — Солдаты жалуются, что курить нечего. Ну, этот хоть и не заменит им махорку, но все-таки лучше, чем ничего.

<...> вышли на террасу. <...> Перед нами развернулась живописная картина. На протяжении нескольких верст тянулись сады, а дальше виднелись поля, засеянные пшеницей, успевшей уже пожелтеть, и за ними выдвигалась огромная лесистая гора Сохарь-Тепе, которая круто, кое-где скалистыми утесами, спускалась в долину реки Кара-Лом. Долго и молча сидели мы, любуясь этой картиной. Вправо от нас, на одном из отрогов Сохарь-Тепе, изредка появлялись клубы дыма и таяли в воздухе. До слуха доносилось раскатистое эхо пушечных выстрелов. <...>

— Опять льется кровь, опять убитые, опять стоны раненых!.. — прерывая молчание, сказал Всеволод Михайлович.— Впрочем, это нужно... Неизбежно... Нужно же, наконец, дать свободу славянству, изнывающему в турецком рабстве. И чем купить ее, эту свободу, как не страданиями?!

Так говорил Гаршин, сидя на террасе и прислушиваясь к отдаленному грохоту орудий. Предчувствовал ли он, что на другой день собственная его кровь прольется за свободу братьев-славян? Пока мы сидели и разговаривали, мой денщик бегал по деревне и искал нас, так как полк уже выстроился в колонны <...>. Через четверть часа мы уже двигались с полком по Эски-Джумской дороге к разрушенной деревне Аяслар. Тут полк остановился, составив резерв отряда, а ночью перед рассветом введен был на боевую линию, где Гаршин и был ранен.

В этот же день он был отправлен с транспортом раненых в полевой госпиталь, расположенный в г. Беле...

Ранение В.<севолода> М.<ихайловича> разлучило нас, но не навсегда. Приехав в 1883 г. в Петербург по делам, я посетил Гаршина, жившего тогда на Васильевском острове, познакомился с его женой и получил от него в подарок томик произведений с надписью: «Дорогому Василию Платоновичу Сахарову на память от автора. 30 декабря 1883 г.».

Это было последнее свидание мое со Всеволодом Михайловичем.

В. А. Фаусек

Виктор Андреевич Фаусек (1861—1910) — ученый зоолог, один из ближайших друзей В. Гаршина. Родился в г. Саратове, детство провел в Харьковской губернии. Окончил Петербургский университет (1885), работал у проф. Н. П. Вагнера, участвовал в зоологических экспедициях. С 1892 года — приват-доцент С.-Петербургского университета. В 1897 году получил кафедру зоологии на Высших женских курсах, затем в Женском мединституте. В 1898 году — доктор зоологии, позже — директор Высших женских курсов. Сотрудничал в харьковской газете «Южный край». С В. Гаршиным знаком с 1876 года, к этому же времени относится начало переписки между ними. В. Фаусек хорошо знал семью и друзей В. Гаршина, его литературное окружение, интересы и увлечения. Письма Гаршина Фаусеку (см. *Гаршин В. М.* Письма.) свидетельствуют о глубоком взаимном расположении и доверии, об общности взглядов по многим вопросам литературы, естествознания, нравственности. (Об отношении Гаршина и Фаусека см. также воспоминания В. П. Соколова).

Воспоминания В. Фаусека, самые значительные и достоверные по содержанию, охватывают период с 1876-го по 1888 год. В них нарисован сложный нравственно-психологический облик писателя, охарактеризованы общественные позиции, мировоззрение Гаршина в разные годы его жизни. Фаусек подчеркивает критическое отношение писателя к действительности и в то же время непричастность к какому-либо направлению в общественной жизни, терпимость по отношению к чуждым ему теоретическим взглядам. Проявления индифферентизма Гаршина Фаусек объясняет органической неспособностью его к злобе и вражде. Мемуарист определяет и общий характер настроения писателя, способного понимать и чувствовать счастье жизни и в общем-то далекого от пессимизма.

Много внимания Фаусек уделяет литературным вкусам и симпатиям Гаршина, воспроизводя его отношение (чаще всего восторженное) к Ломоносову, Державину, Пушкину, Лермонтову, Л. Толстому, Чехову, Диккенсу, Андерсену, сложное восприятие Дефо и его романа «Робинзон Крузо». Особенно большой интерес представляют суждения Фаусека об отношении Гаршина к Л. Толстому и толстовству (см. примечания 28—33), о взаимоотношениях Гаршина и Тургенева, о признании им громадного таланта Чехова. В воспоминании подчеркивается широта и разносторонность интересов Гаршина — его увлечение естествознанием, медициной, многими ремеслами, сообщается о его высокой образованности, блестящем знании литературы (особенно русской), живописи, музыки. Говоря о специфике творческого процесса Гаршина, Фаусек вскрывает причины его малой литературной продуктивности: каждое произведение стоило писателю колоссального душевного напряжения.

Автор воспоминаний воспроизводит историю создания некоторых рассказов Гаршина («Четыре дня», «Художники», «Сказка о жабе и розе» и

др.), сообщает о неосуществленных замыслах писателя (роман о Петре I, рассказ о науке и ученых).

В воспоминаниях Фаусека тщательно выписана вся обстановка жизни Гаршина, детали его быта, глубокие нравственные и физические страдания, приведшие к трагической развязке. Но мемуары интересны не только как сведения о необычном человеке и писателе, но и как свидетельства современника о той поре, когда жил Гаршин, о людях, с которыми он был близок и которым отдавал свою душевную щедрость. Мемуары Фаусека представляют собой чрезвычайно ценный источник жизненной и творческой биографии писателя.

ПАМЯТИ ВСЕВОЛОДА МИХАЙЛОВИЧА ГАРШИНА

I

Первое знакомство мое с Всев.<олодом> Мих.<айловичем> Гаршиным относится к весне 1876 года. Ему было тогда лет двадцать, он был студентом первого курса Горного института. Я был почти мальчик и учился в гимназии, в Харькове, вместе с его братом г. Евгением Гаршиным. В семье моего товарища мне часто приходилось слышать про его старшего брата, Всеволода; кажется, к этому времени относятся его первые попытки писать, и чуть ли он не поместил уже тогда где-то свой первый рассказ[1]. Родные ожидали его приезда к лету, на каникулы. Однажды, помню, в отличное майское утро к низкому окошку небольшого одноэтажного домика, где я жил, подошел Гаршин, мой товарищ, и с ним молодой человек в студенческой горной фуражке — его брат, Всеволод, которого он привел ко мне, чтобы познакомить нас и немедленно вытащить меня гулять вместе. Но прежде чем идти гулять, молодой студент обратил живое внимание на мой акварий, стоявший на окне, попросту на большую банку с тритонами, улитками, ряской и другими водяными травами; он знал их латинские названия, чем сразу доставил мне большое удовольствие; мне, ученику классической гимназии, пришлось тогда, кажется, в первый раз в жизни, встретить человека, знающего названия растений и занимающегося ботаникой. Этот общий наш интерес к ботанике и вообще к естественным наукам и послужил первой, исходной точкой завязавшегося между нами знакомства[2].

Не помню теперь, где провел Вс.<еволод> Мих.<айлович> лето 1876 года; кажется, в Харькове <...>. В этом же году он успел еще раз побывать в Харькове зимою, на Рождественских праздниках.

<...> Помню, одно время он учился играть на виолонче-

ли; он доставал инструмент у старого харьковского музыканта П., с сыном которого учился вместе в Горном институте[3], и с увлечением упражнялся на нем. На лице его отражалось глубокое удовольствие, когда он водил смычком по струнам, и сам он слушал с наслаждением свою музыку, но особенных успехов он не оказывал и скоро, кажется, бросил.

Главным и коренным умственным интересом была и тогда для него, конечно, художественная литература; беседы о литературе были преобладающей, почти исключительной темой в доме Гаршиных. Кружок юношей, собиравшихся у них, платил тогда особую дань поклонения и удивления Диккенсу, и Всев.<олод> Мих.<айлович> всецело разделял наши чувства; Диккенс всегда оставался одним из его любимых писателей.

Пришел 1877-й год, и весной была объявлена война. Всеволод был в это время в Петербурге. Через несколько дней после манифеста 12-го апреля[4] родные его получили от него письмо, где он извещал, что оставляет Горный институт и идет на войну вольноопределяющимся. Для его матери это было большое горе, а для его молоденьких харьковских приятелей — смелый и великодушный поступок; с этих пор с именем изящного и симпатичного петербургского студента был соединен какой-то особенный ореол душевного благородства, ореол, не покидавший его до самой смерти и приобретавший все новых и новых друзей его имени. Проездом на театр войны он пробыл несколько дней в Харькове; мать плакала и собирала его в дорогу; он утешал ее, сколько мог. <...> Он спешил в Кишинев, где догнал свой полк, и был, по особому, Высочайшему приказу, зачислен вольноопределяющимся.

Через три месяца он уже вернулся. Чуть ли не в первом деле, в котором он участвовал, в деле под Аясларом, 11 августа он был ранен, и война для него кончилась. Он был отправлен в Харьков к родным на поправление. <...> он прибыл в Харьков с партией раненых. Ему наняли извозчичью коляску и отправили в офицерский барак, на другой конец города. <...>

На другой день я узнал об этом от его брата и побежал в больницу. Я застал В.<севолода> М.<ихайловича> в постели, но бодрого и веселого; он был ранен пулей в ногу <...>. В тот же день мы перевезли его в маленькую квартиру его родных, на Мало-Сумской улице, где он и пробыл все время до своего выздоровления.

Это время его выздоровления было счастливое и веселое время; рана его шла хорошо, и он пролежал, я думаю, всего месяц или полтора. <...> Из Петербурга приехал навестить его товарищ и приятель Вл. М. Латкин и прожил несколько времени в Харькове; товарищи его брата, молодые люди и молодые девицы, толпились постоянно в доме Гаршиных, и В.<севолод> М.<ихайлович> редко оставался один. Длинные вечера проходили в неистощимых разговорах, шутках и смехе [5].

С этим временем совпадает и начало настоящей литературной деятельности В.<севолода> М.<ихайловича> — если не считать тех робких юношеских опытов, о которых я упоминал выше. Не помню, в Харькове ли он написал «Четыре дня», или еще раньше, в Болгарии, в лазарете [6], но помню, как однажды он показал мне с волнением запечатанный довольно толстый конверт и сказал, что это рукопись его рассказа и что он решается послать ее «прямо в «Отечественные Записки». Кажется, ее отвез и передал в редакцию журнала Вл. Мих. Латкин.

<...> «Четыре дня» были напечатаны и имели большой успех [7]; Гаршин сделался писателем.

Война кончилась, и оставаться в военной службе В.<се-володу> М.<ихайловичу> не хотелось; помню, что ему пришлось немало возиться и хлопотать, пока ему дали отставку <...>.

В течение первых трех лет нашего знакомства, <18> 76—<18> 79, В.<севолод> М.<ихайлович> пользовался полным душевным здоровьем. Меланхолическое угнетение, которое так преследовало его в последние годы его жизни, в этом периоде не появлялось ни разу.<...> Я помню его постоянно живым, бодрым, чрезвычайно оживленным; он легко возбуждался и приходил в волнение в разговоре о предметах, его интересовавших. Он охотно спорил, гораздо охотнее, чем впоследствии, когда порой безучастно выслушивал совершенно ему враждебные мнения, отвечая на них молчанием; спорил он «упорствуя, волнуясь и спеша», — Тургенев применял этот стих к Белинскому, — горячился и сердился. <...>

Он горячо любил природу. Приезжая в Харьков из Петербурга в мае месяце, в самый разгар украинской весны, он всей душой уходил в наслаждение ею. В первый же день приезда, едва успев повидаться с матерью и братом, он уже уходил бродить в Университетский сад или куда-нибудь за

город. Слово «бродить», впрочем, не подходит к его прогулкам: он не бродил, а бегал, быстрой и неровной, слегка качающеюся походкою.

Его походка и еще более его манера вообще гулять его странные привычки при этом хорошо отражали на себе его характер, болезненное беспокойство и напряженность его духа. <...> Его планы изменялись постоянно, и, выходя с ним из дому, я уже привык заранее знать, что совершенно неизвестно, где мы будем и когда вернемся домой. Впоследствии в Петербурге я убедился, что эти привычки его сохранились вполне.

II

Он был всегда оживлен и весел, но никогда он не был так полон кипучим весельем, такой жизненностью, такой суетливой энергией, как весной 1879 года. Он напечатал уже несколько рассказов[8], и талант его был всеми признан; в голове его кипели планы и литературные замыслы. В Петербурге он свел знакомства в литературном мире и всюду был принят с участием, уважением и с большими надеждами на его талант. Все это придавало ему бодрости и веселья, и он приехал в мае в Харьков в самом счастливом настроении духа. В одно время с ним в Харьков заехали на некоторое время «на этюды» два его приятеля, художники М. Е. Малышев и И. Е. Крачковский. Составилась довольно обширная компания молодежи, молодых людей и девиц, душою которой был Всеволод Михайлович. Не все члены этого кружка были между собою близки, иные даже мало знакомы между собою; но все относились с одинаковою симпатиею к В.<севолоду> М.<ихайловичу>, и он был центром, соединявшим все общество. Мы собирались чуть не каждый день, чаще всего у Гаршиных, в другой раз у кого-либо из знакомых, и постоянно предпринимали отдаленные загородные прогулки. <...> Некоторые из таких экскурсий требовали значительной доли героического самоотвержения; мы вставали, например, в 4 часа утра, чтобы поспеть к раннему утреннему поезду в Куряжский монастырь, и, проведя там целый день на свежем воздухе и пропустивши все обратные поезда, имели мужество возвращаться домой ночью, пешком — девять верст по довольно плохой дороге. И В.<севолод> М.<ихайлович> первый будил нас рано утром и, казалось, никогда не

уставал; ходить пешком, бродить по лесу, кататься в лодке — никогда ему не надоедало.

Постоянные развлечения не мешали однако В.<севолоду> М.<ихайловичу> работать. В это время он писал «Художников»[9]; впоследствии меня удивлял контраст между грустным тоном рассказа, между мрачными картинами, занимавшими тогда воображение автора, и тем состоянием его духа, настроением безудержной веселости, в котором он находился все время. Этот контраст между мрачной работой воображения и веселым и спокойным личным состоянием духа я замечал у Гаршина и позднее; на него указывал и Гл. Ив. Успенский в своей статье о В.<севолоде> М.<ихайловиче>[10] после его смерти *.

В июне Вс.<еволод> М.<ихайлович> уехал из Харькова. Он поехал на юг, заехал к знакомым по Петербургу слушательницам медицинских курсов, около станции Амвросиевки, пробыл у них несколько дней, затем отправился через Ростов к одному доктору (Ф. Г. Попову) в Земле Войска Донского. Я проводил лето в деревне в тех же местах на юге, и он обещал ко мне заехать, но с ним случилось приключение на железной дороге, о котором он известил меня в следующем письме:

«Орловская губ. Кромской уезд, сельцо Мураевка. 15/VII-79. Дорогой В.<иктор> А.<ндреевич>. Не пришлось мне к вам заехать: виновата сама судьба и еще один джентльмен цыганского происхождения. По порядку: выехал из Х.<арькова>. Приехал в Амвросиевку...», и по приезде он наскочил на неожиданное событие в доме его знакомых, которое и описывает весьма забавно под титулом «трагического элемента». Этот «трагический элемент», впрочем, благо-

---

* Статья моя уже была написана, когда я познакомился с биографией В.<севолода> М.<ихайловича>, составленной Я. В. Абрамовым, и узнал, что в это же время письма его из Харькова к знакомым были полны жалоб на тоску, на мрачное расположенние духа, на недовольство жизнью. Я. В. Абрамов сообщил мне некоторые отрывки из его писем, не приведенные в биографии, особенно замечательные по странному, болезненному тону. А между тем, сколько я ни стараюсь припомнить, я все-таки не могу его себе представить в это время иначе, как в самом лучшем настроении духа. Может быть, многое ускользало тогда от моего внимания, но все-таки я виделся с ним почти каждый день, помню бесконечные разговоры и споры о разных вещах, часто серьезных и мрачных, и помню его всегда бодрым и радостным. Такая разница в настроении В.<севолода> М.<ихайловича> в обществе людей и наедине, такая раздвоенность ощущений указывает, вероятно, на значительное уже нарушение его душевного равновесия наступившее у него в это время. <Примеч. автора.— *Г. С.*>

получно окончившийся, я, к сожалению, должен пропустить <...> [11].

Но недолго длилось у Вс.<еволода> М.<ихайловича> в этом году его веселое, жизнерадостное настроение. Теперь я думаю даже, что и не к добру оно было, что то состояние крайней энергии духа и неистощимого веселья, в котором я его помню весной 1879 года, уже было, может быть, предвозвестником приближающейся реакции — упадка душевных сил и душевной болезни. После летних каникул я увиделся с ним снова в октябре месяце; на этот раз он приехал в Харьков таким, каким я его еще никогда не видал. У него развивалась меланхолия. Он находился в том состоянии неопределенной и мучительной тоски, которое впоследствии находило на него каждое лето и свело его, наконец, в могилу. Делать он ничего не мог; он чувствовал страшную апатию и упадок сил <...>. Всякое, самое простое действие требовало от него напряжения душевных сил, совершенно непропорционального значению действия и физической работе, с ним сопряженной. Душу его угнетала постоянная тоска. Он изменился и физически; осунулся, голос стал слабым и болезненным, походка вялая; он шел, понуря голову, и, казалось, даже идти было для него неприятным и болезненным трудом. Его мучила бессонница. Целый день он не мог ничего делать, а по ночам лежал до 4, до 5 часов и не мог заснуть. Он проводил ночи за чтением романов и старых журналов. Чтение, случайное и неправильное, первого, что попадется под руку, было единственное доступное ему занятие. Ничто не могло доставить ему удовольствия или обрадовать его. Самое ощущение удовольствия стало для него недоступно; все душевные проявления были для него болезненны.

Он ходил иногда к знакомым, раз или два был в театре или в концерте, куда его затаскивали почти насильно, но нигде не покидал своего мрачного вида.

Эту осень я жил у Гаршиных и почти все свое свободное время проводил с В.<севолодом> М.<ихайловичем>. Всякие утешения или ободрения были для него бесполезны, и я избегал с ним говорить об его душевном настроении, как я это делал обыкновенно и впоследствии, при повторении его недуга.

Я указал ему раз, в славный осенний день, на красивый и далекий вид с одной из улиц города. Он поморщился. «Что мне до этого вида, — говорил он. — Счастье человека не в космосе, а в том микрокосме, который в душе!» И в его микрокосме не было в это время ощущения счастья.

Помню, как однажды он прочитал мне наизусть — наизусть он знал множество стихов — любимое свое лермонтовское стихотворение: «Не смейся над моей пророческой тоской, я знал: удар судьбы меня не обойдет»[12]... Он стоял передо мной, неподвижно вперив в меня взгляд, и в его печальных, серьезных глазах, в его глухом, взволнованном голосе было столько тоски, столько глубокого убеждения, столько уверенности в пророческой правде тех слов, которые он произносил. «Но я без страха жду довременный конец, — давно пора мне мир увидеть новый», — читал он, и я слышал в этих словах и в его тоне выражение его задушевной мысли, безнадежной, тяжелой уверенности в своей гибели.

Но прогулки подкрепляли его физические силы, разговор отвлекал от сосредоточения на мрачных мыслях. Мало-помалу у нас составилась привычка сейчас после обеда уходить из дому и после маленькой прогулки идти пить чай к одной из его хороших харьковских знакомых, учительнице женской гимназии А. Ф. Т.[13]. Визиты эти мы делали чуть не каждый день, и В.<севолод> М.<ихайлович> не раз извинялся и просил у нее прощения, что заносит к ней свою тоску; но эти посещения доставляли ему некоторый отдых. Мы сидели, пили чай, говорили об литературе или о чем-нибудь постороннем; тихая, спокойная обстановка, разговор, уносивший его далеко от его личных несчастий, деликатное и мягкое участие хозяйки хорошо на него действовали, и он чувствовал себя лучше и спокойнее в ее комнате и в ее присутствии. Он вставал и уходил, извиняясь, что надоедает ей своим печальным видом, а на другой день приходил опять, чтобы «жаловаться» и чтобы «поговорить о чем-нибудь хорошем».

Позднее, в Петербурге, он говорил мне, что никогда не забудет ее участия и дружбы, что, думая об этом тяжелом времени, он всегда вспоминает свои посещения А. Ф. и беседы с ней за послеобеденным чаем. «За то, что она для меня тогда делала, я ей до конца жизни буду благодарен», — говорил он.

Он пробыл в Харькове около полутора месяцев, и состояние его не улучшалось нисколько, скорее все ухудшалось. В половине ноября он уехал в Петербург, одержимый тоской и смутными, мрачными опасениями.

<...> в марте 1880 г. я получил печальную и поразившую меня неожиданностью весть, что Гаршин сошел с ума.

Он уехал из Петербурга, направляясь куда-то, в Саратовскую, кажется, губернию, но сперва хотел заехать в Харьков. Пробыв несколько времени в Москве, он доехал до Тулы, где

и остался. Родные его в Харькове получили от него оттуда письмо и ждали его со дня на день. Он все не ехал. Наконец, после долгого ожидания <...> они снеслись по телеграфу с тульским полицмейстером и получили от него ответ следующего содержания: Всеволод Гаршин проживал в гостинице, взял такого-то числа наемную верховую лошадь и, оставив в гостинице все свои вещи, исчез неизвестно куда. Его брат немедленно поехал в Тулу, стал его искать по губернии и, найдя через некоторое время у одних его знакомых (кажется, уже около Орла), приехал с ним вместе в Харьков. Всеволод был на границе полного безумия.

Я поехал в Харьков, мне хотелось его увидеть. Это было в конце марта или в первых числах апреля, на Вербной или на Страстной неделе. Я пришел к Гаршиным часов в восемь вечера и не застал Всеволода; он давно уже ушел куда-то и все еще не возвращался. Его родные стали рассказывать мне подробности его заболевания и его похождений. Мне не хотелось уходить, не дождавшись и не увидевши Всеволода. Гаршины жили тогда в маленьком двухэтажном флигеле во дворе, на Подгорной улице. В верхнем этаже был балкон, выходивший в садик. В нижнем помещалась их столовая; окна ее выходили во двор; мы сидели здесь и пили чай; я поместился около самого окошка. Долго мы сидели за самоваром; время шло, а Всеволода все не было; уже совсем свечерело, и на дворе стояла темная, пасмурная весенняя ночь. <...> Вдруг я услыхал резкий и быстрый стук в окошко, у которого я сидел; оглянулся — и, при свете лампы, стоявшей на столе, с трудом разглядел Всеволода. Он проходил по двору, увидел меня в освещенное окошко и застучал мне, весело улыбаясь и оживленными жестами выражая мне приветствие. Через минуту он вбежал в комнату и стал шумно выражать мне, как рад меня видеть. Я не узнал того Всеволода, с которым простился осенью на Харьковском вокзале.

Он похудел и страшно загорел на мартовском солнце и ветре во время своих скитаний по Тульской и Орловской губерниям. <...> Глаза его горели, как уголья; выражение тайной грусти, обыкновенно светившееся в них, исчезло. Они сияли теперь радостно, возбужденно и гордо. И весь он был так странно оживленный и счастливый, каким я его еще не видал.

На нем было пальто и черная шляпа с широкими полями. И пальто, и платье были по грудь совершенно сырые. Он рассказал нам, что давно уже, чуть не с полудня, ушел за город и там гулял все время; в одном месте он наткнулся на речку,

не мог ее обойти и перешел вброд: вода была ему по грудь. <...> С ним была папка, а в ней, между листами газетной бумаги, он принес с собой множество первых весенних цветов; с чувством необыкновенной радости и удовольствия стал он их перебирать, показывать мне и перекладывать. Я спросил его, зачем они ему? «А как же! — воскликнул он. — Это для Герда гербарий; ему это очень нужно».

Я пробыл в Харькове два или три дня, и каждый день подолгу проводил с ним время. Он был в состоянии крайнего возбуждения; лихорадочная деятельность его, разговор без умолку не прекращались ни на минуту. От его осенней тоски не осталось и следа. Он имел теперь вид человека уверенного в себе, гордого, довольного, совершенно счастливого. Он вовсе не производил страшного или неприятного впечатления; он был так же мягок в обращении, ласков и любезен, как всегда. По крайней мере, я его видел таким. Мне рассказывали, что иногда он приходил в состояние крайнего раздражения и вспыльчивости. При мне этого не случалось, и в нем не было ничего, внушающего беспокойство. Но его чрезвычайное нервное напряжение невольно передавалось и его собеседнику, и присутствие его волновало; разговор с ним, поневоле осторожный и неискренний, был тяжел. <...> Всем впечатлениям внешнего мира он был еще доступен <...>. Изредка проскальзывало в его рассказах кое-что такое, чего, может быть, и не было с ним на самом деле, а только казалось или мерещилось ему; в общем же он еще довольно ясно сознавал и себя, и действительность. Постороннему, чужому человеку он с первого раза вероятно не показался бы сумасшедшим, а только очень оживленным, счастливым и каким-то странным человеком.

На другой день я пришел к нему утром, часов в 11, и застал его на балконе верхнего этажа их домика <...>. Он <...> посвятил меня в свои занятия. Он устраивал <...> машину для приготовления из глины цветочных горшков. <...> «Скажите мне, — спросил он вдруг, — какая, по вашему, самая лучшая, первая книга на свете?» Я, конечно, затруднился ответить ему. «Самая лучшая книга — это «Робинзон Крузо». Эта книга учит, что человек вполне может довольствоваться самим собою, может все делать для себя сам». Он стал много и горячо говорить в пользу этой мысли и доказывать, что если каждый человек будет все сам для себя делать и не заставлять работать на себя других, не будет зависеть от других людей, то жить будет лучше, и масса всякого рода зла исчезнет со света. Он сам хо-

тел жить сообразно своим мыслям, все делать сам, — и начинал с того, что строил машину для производства цветочных горшков.

Напомню, что он говорил это в 1880 году, когда еще вопрос о том, что «человек должен все для себя делать сам», не поднимался еще у нас в литературе и в обществе, учение о нравственности Л. Н. Толстого не проникало еще в публику, да и сам автор «В чем моя вера» стоял еще на той точке зрения, о которой он рассказал нам в «Исповеди»[14]. Следовательно, Всев.<олод> Мих.<айлович> в это время сам по себе, вполне самостоятельно, хотя и больной духом, пришел к тем взглядам, которые высказывал позднее Л. Н. Толстой.

В этом разговоре Гаршин не касался литературных достоинств «Робинзона Крузо», а говорил только о его тенденции; и тенденция эта казалась ему весьма высокою, настолько высокою; что он называл его «лучшею книгою на свете». Позднее (в 1886 году) мне случалось несколько раз говорить с ним об этой же книге, и его взгляд был совсем другой. Всеволод Михайлович принимал тогда участие в составлении «Обзора детской литературы», издававшегося под редакцией его и А. Я. Герда[15]. Об «Робинзоне Крузо», как о патентованной детской книжке, речь заходила часто, и Гаршин, диаметрально противоположно своему прежнему мнению, не одобрял духа этой книги. По его словам, описание жизни Робинзона в одиночестве и мораль рассказа: «человек может вполне обойтись без других людей» — проникнуты эгоистическим, себялюбивым духом, и весь рассказ есть «апофеоз индивидуализма». Он противополагал ему другую книгу про Робинзона французского писателя Сентина[16], где та же самая тема обработана в совершенно противоположном духе. Робинзон Сентина под влиянием одиночества, без общества других людей, томился страшной тоской, искал какой-нибудь привязанности; единственным таким существом, к которому он мог привязаться, была маленькая прирученная им обезьянка, и, когда она погибла, он совершенно одичал и впал в звероподобное состояние. Эта идея казалась ему гораздо более нравственной и верной, и он так заинтересовался Сентином, что хотел сам сделать переработку той же фабулы. Одно время он даже ходил в Публичную библиотеку и собирал литературный материал для своего рассказа; но, кажется, от этой мысли его отвлекло обычное весеннее нездоровье, и позднее он к ней не возвращался.

Он написал отзыв об книге Сентина, изданной по-русски для детей, для «Обзора детской литературы»; но третий вы-

пуск этого издания уже не появлялся, и его рецензия не была напечатана [17].

Возвращаюсь к рассказу. В этот же день я ходил гулять с В.<севолодом> М.<ихайловичем> и, как и прежде, много и долго бродил с ним по улицам. <...> Во время этой прогулки он рассказал мне вкратце про свое посещение графа Лорис-Меликова перед отъездом из Петербурга, посещение, странные и трогательные подробности которого я узнал лишь позднее от него же, когда он, уже здоровый, передавал мне все, что было с ним в эту ночь, его поведение, его речи и ответы графа. — Теперь же я слушал его и не знал, верить ему или не верить [18]. <...>

Я уехал и увидел его вновь через месяц, в мае, уже в Харьковской больнице для умалишенных, на так называемой Сабуровой даче: теперь он был в таком состоянии, что с первого слова в нем виден был сумасшедший. Я посетил его вместе с его братом и доктором П. Г. Поповым. Мы нашли его в большом саду, принадлежащем больнице; он встретил нас приветливо, узнал всех троих, — узнавать знакомых он, кажется, не переставал и в самый разгар болезни, — и много с нами разговаривал. <...>

Он был худ и изнурен, страшно возбужден и взволнован. Общий строй его, тон его разговора, приветствия, которыми от времени до времени он обменивался с другими больными,— все казалось мне диким, странным, непохожим на прежнего В.<севолода> М.<ихайловича>. Я живо припомнил все это позднее, читая «Красный цветок».

Я надолго уехал из Харькова и за время его болезни не видел больше Всеволода Михайловича. Пробыв некоторое время на Сабуровой даче, оставившей в нем, как я знаю, самое дурное воспоминание, он был перевезен в Петербург и помещен здесь в лечебнице д-ра Фрея, где скоро и оправился. Но до полного выздоровления было еще далеко. Безумие прошло, но сменилось вновь состоянием тоски и крайнего упадка сил, в еще более жестокой степени, чем то, которым его болезнь началась. В таком положении его привезли осенью 1880 г. к родным в Харьков; люди, видевшие его в это время, говорили, что он производил ужасное впечатление: это был живой труп, нравственный труп. Всякая душевная деятельность была поражена в нем, он находился в состоянии глубокого угнетения и безысходной тоски. Таким его увидел Вл.<адимир> Ст.<епанович> Акимов, приехавший на короткое время в Харьков, и увез его к себе в деревню.

В деревне В. С. Акимова, Ефимовке, в Херсонской губернии, около Днепровско-Бугского лимана, недалеко от Николаева, В.<севолод> М.<ихайлович> прожил почти полтора года. Спокойная деревенская жизнь, заботливый уход и дружелюбие всего семейства его дяди, южно-русский климат и природа, которые он так любил, мало-помалу сделали свое дело, и он стал оправляться, но чрезвычайно медленно и постепенно.

Когда он оправился настолько, что стал интересоваться окружающим миром и возобновил свои прежние связи и отношения, я стал ему писать и обменивался с ним от времени до времени письмами во все время его жизни в деревне.

Весной 1882 года, чувствуя себя наконец вполне здоровым, он поехал в Петербург. По дороге он заехал в Харьков, где в это время уже не было его родных, и пробыл у меня два дня. Я увидел его мужественным, загорелым, бодрым и очень веселым. Хотя в Петербурге его ожидала полная неизвестность, как он устроит свою судьбу в материальном отношении, но он был, тем не менее, весел и волновался ожиданием вновь увидеть старый мир, старых друзей. <...>

Вот что он писал мне еще из Ефимовки, в ответ на мое первое письмо к нему:

«<...> Более всего угнетают меня безобразные, мучительные воспоминания последних двух лет. Господи, как извращает человека болезнь! Чего я только не наделал в своем безумстве. Хотя и существует мнение, что человек с больным мозгом не ответствен за свои поступки, но я по себе вижу, что оно не так. По крайней мере, то, что называется совестью, мучит меня ничуть не менее за сделанное во время исступления, как если бы его и вовсе не было» [19].

<...> Годы не ослабляли в нем этого тягостного чувства. Позднее, в Петербурге, он не раз говорил мне о своей болезни. Он помнил все, что с ним было, все свои похождения, безумные поступки, и эти воспоминания остались для него навсегда мучительными. Иногда ночью, проснувшись на несколько минут, он вспоминал что-либо из времени своего безумия, и не было у него мыслей тяжелее. Он мучился совестью; по его словам, самые тяжелые угрызения (а я, зная близко жизнь этого чистого человека, думаю, что и единственные) для его совести — это было сожаление о вещах, совершенных в безумии. Сознание невиновности, невменяемости не облегчало его души — как это видно из приведенного мною письма его. Он отлично понимал, что был болен, был безумен, что ни один человек в мире его

не осудит — да, насколько мне известно, он и не причинил никому вреда своими безумными действиями; но он не успокаивался и мучился. <...>

По-видимому, все содержание «Красного цветка» — кроме конца, конечно, — носит в высокой степени автобиографический характер и есть художественная исповедь самого Всеволода Михайловича. <...>

III

В 1883 году он женился и получил место в Петербурге[20], и с этого времени в его жизни до самого конца ее почти не было внешних перемен. Он жил в Петербурге почти безвыездно, и с 1884 по 1888 год я вновь видался с ним постоянно.

Служба и обычная петербургская сутолока отнимали у него много времени, и работал он мало. Его собственная непоседливость, любовь к обществу и наклонность к беспорядочному блужданию часто уводили его из дому, а его необыкновенная мягкость, добродушие и деликатность не умели оградить его от всяких нарушений покоя, причиняемых многочисленными, подчас докучными, подчас даже назойливыми посетителями, втягивавшими его в то или другое дело, в те или другие хлопоты. Все это поглощало у него массу времени, и более или менее регулярно работать мог он только по утрам, до ухода на службу. Он и любил пользоваться этими утренними часами.

Ему часто приходилось слышать замечания и сожаления, и в печати, и в частных разговорах, что он мало пишет, и эти замечания огорчали его. В дурные минуты он часто с сокрушением говорил, что, видно, литературная карьера его подходит к концу, и он никогда не напишет ничего значительного; его знакомые говорили обыкновенно, что служба и рассеянная жизнь мешают ему работать. Хотя это было до известной степени и справедливо, но я все-таки думаю, что главная причина его незначительной продуктивности была другая, более глубокая, внутренняя причина. Литературная работа слишком утомляла его, слишком напрягала его нервы, чтобы он мог постоянно или часто заниматься ею. Он не мог писать спокойно и не волнуясь, его маленькие рассказы требовали от него сильного напряжения всех душевных сил, и создания его воображения глубоко его волновали. Писал он свои рассказы недолго, обыкновенно даже очень быстро, исписывая мелким почерком маленькие, беспорядочные клочки бумаги; но когда он садился писать, обыкновенно весь рассказ был уже готов у него в голове.

3 Заказ 3103

Он обдумывал его на улице, во время своих продолжительных прогулок, или дома, работая за переплетным станком; он говорил мне как-то, что главное удовольствие, доставляемое ему переплетанием книг, состоит в том, что за этим занятием так хорошо думать.

Переплетным мастерством он занимался с большой любовью и посвящал ему обыкновенно каждый день предобеденные и послеобеденные часы. Он был вообще большой любитель всяких физических упражнений и особенно разных ручных работ; постоянный житель города, он имел мало случаев удовлетворять своим наклонностям, но был очень способен на всякую физическую и механическую работу. Его нервность, его живая, подвижная натура не давала покоя его рукам, вечно ищущим деятельности, и когда в них попадали какие-нибудь вещи, инструменты, мелкие приборы, клочок бумаги или веревка — они подвергались целому ряду фантастических превращений. <...>

Давно когда-то в Харькове за его умение делать искусственные гирлянды и украшения из цветов и листьев кто-то шутя дразнил его сходством с гоголевским губернатором, умевшим даже «вышивать по тюлю». Это сравнение его очень забавляло, и он любил сам подсмеиваться над своими «тюлевыми» упражнениями.

Эти «тюлевые» способности, способность ко всякому механическому мастерству весьма неожиданно сослужили ему однажды службу, и при других условиях, может быть, действительно развили бы из него хорошего инженера или механика. Ему пришлось быть как-то вечером у одного старого знакомого своего, инженера; разговор зашел у них о премии, которая была в это время назначена за устройство особого приспособления к вагонам для перевозки хлеба. Пустившись в обсуждение требуемых условий и придумывая по очереди то или другое приспособление, они мало-помалу договорились до таких подробностей, что у них вышел цельный проект вагона, и они решили представить его на премию. Проект был тут же написан и составил, кажется, всего один лист бумаги. Сестра его товарища-инженера переписала его, и они решили, если получат премию, разделить ее на три части, по числу сотрудников. Все это было сделано в один вечер. И что же? Премия в самом деле досталась их проекту, и В.<севолод> М.<ихайлович> получил третью часть, что-то около 700 рублей[21]. Надсон, живший тогда за границей, в шуточном письме к В.<севолоду> М.<ихайловичу> поздравлял его с успехом на ин-

женерском поприще и предсказывал ему великую железнодорожную будущность.

Вообще, Гаршин был человек в высшей степени разносторонний и интересовался всем, чем только интересуются люди. Начитанность его была обширна и разнообразна, а превосходная память помогала ему сохранять в голове обширный запас сведений. Он был очень образованный человек, хотя, как это часто бывает, сам был невысокого мнения и о своих познаниях, и о своих способностях. Десятки раз он с сокрушенным видом говорил мне, как ослабела его память в сравнении с тем, какова она была у него в 17—20 лет. Все, что читал он тогда, все приобретенные в тот период сведения навсегда остались в его голове; а в последние годы чтение стоило ему, по его словам, большого труда; может быть, это было и так, может быть, память его с возрастом относительно и ослабела, но все-таки была далеко не ординарной силы. Об чем бы вы ни заговорили с ним, он всегда удивлял своими неожиданными, казалось бы, совершенно ему излишними и мало интересными для него сведениями. Его ясный аналитический ум помогал ему из каждой книги, слегка даже им просмотренной, извлечь все ценное и значительное и откинуть все ненужное или второстепенное.

На первом плане, конечно, стояла для него русская литература, и он знал ее очень хорошо. У него был тонкий вкус и отличное критическое понимание. Суждения его были метки и оригинальны, и отзывы его были всегда вполне искренни и самостоятельны; все, что он говорил, было всегда его собственное, продуманное; он был в высшей степени самостоятелен и независим в своих мнениях. Если он и грешил иногда пристрастием, то разве к произведениям своих приятелей или людей, к которым он лично был расположен. Разговоры с ним об литературе составляли для меня всегда большое удовольствие; не раз говорил я ему, отчего он ограничивается беллетристикой, отчего не пишет критических этюдов. В прежние годы я получал от него ответ, что он не хочет «мешать два эти ремесла» и не хочет писать что-либо, кроме повестей, боясь, что одна работа другой помешает; он изменил этому решению только для двух-трех статей о художественных выставках[22]. Как-то прошлою осенью у нас возобновился этот разговор; мы говорили об романах М. Серао, печатавшихся в переводе в «Северном вестнике»[23]. В.<севолоду> М.<ихайловичу> очень нравился талант итальянской писательницы, и он сделал несколько таких метких и оригинальных замечаний о типе журналиста в ее романе, что я опять невольно заметил ему, как бы хорошо

он сделал, если бы от времени до времени писал этюды по выдающимся явлениям литературы, русской или иностранной, все равно. Он ничего не ответил мне, но через несколько времени, когда мы вместе вышли на улицу, он грустно сказал мне, что его огорчили мои слова. Я удивился — почему. «Мне кажется, ты потому советуешь мне писать статьи, что втайне думаешь — я никогда больше не буду в состоянии писать рассказы»... Я должен был успокаивать его, говорить, что не смущаюсь его болезнью, не сомневаюсь в его литературной будущности.

За современным движением литературы он следил внимательно, и всякое проявление нового таланта его сердечно радовало. Покойного Надсона он близко знал и любил и считал его очень талантливым. В последние годы жизни поэта, когда он, умирая от чахотки, жил то за границей, то в Киеве, то в Крыму, Всев.<олод> Михайлович постоянно переписывался с ним и рад был хоть какой-нибудь безделицей доставить ему мимолетное удовольствие. Он писал ему остроумные, полные юмора письма [24]; однажды он сочинил даже целое послание на церковнославянском языке, тщательно выводя славянские буквы — тоже одно из его «тюлевых» умений. Из-за Надсона он разошелся и прекратил отношения с г. Минским, после рецензии последнего на стихотворения Надсона [25].

С величайшею симпатией встретил он появление рассказов г-на Короленко и позднее г-на Чехова [26], в его сердце не было никогда ни тени зависти к чужому успеху.

Он любил изучать старую русскую литературу, и некоторые старинные произведения были его любимыми книгами, которые он знал почти наизусть. К числу таковых принадлежало, например, житие протопопа Аввакума. Он знал также много наизусть из старых поэтов, из Ломоносова и Державина, любил цитировать Державина и указывать на его поэтические достоинства. Пушкина и Лермонтова он перечитывал из года в год [27]. Он говорил мне как-то, что Пушкина надо каждый год перечитывать, потому что с каждым годом жизни открываешь в нем все новые черты. Я застал его как-то за «Евгением Онегиным»; он сказал мне, что сейчас плакал, читая, плакал не потому, что был тронут какими-нибудь местами самой поэмы, а плакал от умиления и восторга при мысли, что у нас был такой поэт. «Вот стихи, которые я тысячу раз читал, и всякий раз замечаю новые подробности». Он стал читать мне отъезд Лариных из деревни и указал на стих «Ведут на двор осьмнадцать кляч» как на перл добродушного юмора, ускользавший до сих пор от его внимания.

Но настоящим властителем его дум был Лев Толстой. Его произведения были для него настольною книгой, несравненным образцом художественного творчества. Человеческая жизнь, изображенная в романах Толстого, была для него как бы еще более реальной, еще более действительной, чем настоящая жизнь. С субъективным отношением Толстого, с его оценкой жизни и жизненных явлений (в его романах) он не всегда соглашался, но художественный материал, но поэзия его — были для него предметом безусловного поклонения. Говоря о каком-нибудь общественном явлении или о душевной жизни человека, он ссылался на примеры из романов Толстого, как на нечто вполне реальное, как на неоспоримые аргументы. Он перечитывал его десятки раз и помнил всякую подробность. О героях и об разных событиях из романов Толстого он часто в разговоре упоминал таким тоном, как будто это был не вымысел, а действительные люди, истинные происшествия.

Говоря о Толстом, нельзя обойти молчанием его сочинений последнего времени, посвященных вопросам морали. Вс.<еволод> М.<ихайлович> внимательно читал их, интересовался всем, что выходило из-под пера Льва Толстого, но не соглашался с его выводами. Сама сущность учения Л. Н. Толстого казалась ему ошибочной, как учения, стремящегося построить жизнь на рассудочной почве [28]; между тем, жизнь управляется, по мнению В.<севолода> М.<ихайловича>, главным образом страстями людей, и пороки и несчастья человеческой жизни не от того происходят, что люди не понимают умом, что хорошо и что дурно. Учение о «непротивлении злу» было ему несимпатично; он не одобрял Толстого за его презрение к историческому развитию нравственности, к «историческому взгляду» на жизнь. Он любил ссылаться при этом на русскую историю, на нашествие татар, например, и применять к таким явлениям теорию непротивления злу, в виде reductio ad absurdum *.

Это не помешало ему, конечно, сочувствовать целям и деятельности «Посредника». Он был дружен с В. Г. Чертковым и относился к нему с большою симпатиею и уважением [29].

«Власть тьмы» он встретил с величайшим энтузиазмом [30]. Кажется, один только раз в жизни Гаршину пришлось выступить в качестве оратора, и это было именно по поводу «Власти тьмы». В одном небольшом обществе была прочитана автором рецензия на «Власть тьмы», возмутившая В.<севолода> М.<ихайловича>, и он возражал на нее целою речью, произ-

* reductio ab absurdum (*лат.*) — приведение к нелепости.

несенною экспромтом. Речь эта была опровержение рецензии и подробный разбор «Власти тьмы», и говорил он превосходно. Казалось, он вложил всю душу в защиту своего любимого писателя; в сильном волнении, он говорил быстро и страстно, сыпля цитатами; но несмотря на страстное чувство, на негодующий, восторженный, взволнованный тон его речи, тон, невольно забиравший за сердце и подымавший нервы, он с строгой логической последовательностью приводил один аргумент за другим, и речь его вышла стройною, законченною, логически цельною. Автора рецензии и многих из слушателей он, впрочем, не убедил; но никто уже не возражал ему. Он защищал пьесу Толстого против обвинения в безнравственности; по его мнению, «Власть тьмы» была настоящая, истинная трагедия, как ее понимали греки: по Аристотелю, трагедия должна вызывать в зрителе «ужас и сострадание»; «Власть тьмы» именно и вызывает ужас и сострадание *.

С европейскими литературами Гаршин не был знаком с такою же подробностью; ему мешало плохое знание языков, так как только на французском языке он мог читать свободно. С детства не выучившись языкам практически, он потом никогда уже не мог этого сделать, хотя часто огорчался своим незнанием. Не раз принимался он за систематическое чтение по-немецки или по-английски, за грамматику и упражнения, но скоро утомлялся и бросал. Он вовсе не был ленив, но не мог быть усидчивым; он никогда не мог заниматься тем, что требовало много терпения и выучки (кроме ручного труда, как я упоминал выше). Однообразный и утомительный труд, частое повторение одного и того же были ему не по нервам.

В одном письме из Ефимовки он пишет:

«Представьте себе нижеследующий казус: я только что по-

---

* Ему не пришлось лично познакомиться с великим художником, если не считать, конечно, его посещения Ясной Поляны в период болезни. В 1884 или 1885 году, бывая на короткое время в Москве, он вновь посетил его, был радушно принят графиней, но самого Л. Н. Толстого в это время в Москве не было [31]. Мне известно — и я думаю, не будет нескромностью с моей стороны упомянуть об этом — что Л. Н. Толстой относился к нему очень хорошо; он говорил, что Гаршин — одно из самых симпатичных явлений в русской литературе за последние 20 лет. Когда Гаршин явился к нему в Ясную Поляну, весной 1879 г., Л.<ев> Н.<иколаевич> не имел об нем никакого понятия как о писателе [32]. Но летом, кажется, этого же года Тургенев обратил его внимание на новый талант, появившийся в русской литературе [33]. Л. Н. Толстой прочитал рассказы В. М. и вспомнил тогда о той скромности, с которой он в разговоре мимоходом упомянул, что он «пописывает». <Примеч. автора.— *Г. С.*>

рвал письмо к вам, с великим трудом написанное мною по-английски. <...>» [34]

Позднее в Петербурге он одно время опять возобновил свой английский язык и ездил для занятий куда-то необыкновенно далеко, к Александровскому селу, как бы подтверждая этим замечание одного из его друзей, говорившего, что у Гаршина в характере «некоторая любовь к неудобствам». <...> Но и эти путешествия он скоро бросил. А между тем, английский язык особенно привлекал его; национальный гений английского народа был для него всегда предметом уважения и глубокого интереса. Когда он мечтал о поездке за границу, то на первом плане всегда стояли Англия и Лондон. Шел как-то разговор о великих людях; ни один народ, по его мнению, не мог выставить двух таких имен, как Ньютон и Дарвин: «И если я прибавлю к ним еще третье великое имя — Шекспира, то должно сказать, что это действительно первый народ на земле».

Тем не менее, классиков европейских, равно как кое-что из классической литературы древности (в переводах, разумеется), он знал хорошо. Два европейских писателя пользовались его особенною любовью — это Диккенс и Андерсен. Слогу диккенсовских героев он любил подражать в шутку в своих письмах. Влияние андерсеновских сказок отразилось на его собственной литературной деятельности [35]. Он сказал мне както, что ему хотелось бы издать когда-нибудь все свои сказки отдельной книжечкой с общим посвящением «великому учителю своему Гансу Христиану Андерсену».

Кстати о сказках — я припоминаю анекдот, рассказанный им мне о происхождении его сказки про жабу и розу. Это было на вечере у Я. П. Полонского [36]; играл А. Г. Рубинштейн, а прямо против Рубинштейна уселся и пристально смотрел на него весьма несимпатичный Гаршину (ныне уже умерший), неприятного вида чиновный старик. Гаршин смотрел на них обоих, и как антитеза к Рубинштейну и к его противному слушателю у него мелькнула мысль о жабе и розе; под звуки музыки Рубинштейна у него складывалась в голове незатейливая фабула и трогательные слова его маленькой сказки.

Он очень любил живопись и, насколько я знаю, и в этой области искусства обладал хорошим вкусом и пониманием; всякая художественная выставка привлекала надолго его внимание. Смолоду, еще в студенческие годы, он много вращался в среде молодых художников, и с некоторыми из них, например, с М. Е. Малышевым, остался дружен на всю жизнь. Позднее

его знакомства в художественном мире еще более расширились, особенно среди членов товарищества передвижных выставок; он был в дружеских отношениях с И. Е. Репиным[37] и Н. А. Ярошенко[38]. Члены товарищества приглашали его на свои обычные обеды перед началом выставки, где в качестве званого гостя, кроме Гаршина, бывал еще Д. И. Менделеев.

Ко всей области естественных наук у него был всегда живой интерес, и к науке он относился с глубоким уважением. <...>

Выросший в то время, когда у нас естественные науки были в особенной моде и литература наводнялась популярными, по большей части переводными, книгами по естествознанию, он в молодости и проглотил множество таких книг[39]; да и позднее он также прочитывал все, что попадало ему под руку из этой области. Он занимался когда-то, в гимназии еще и в Горном институте, много ботаникой, гербаризировал, порядочно знал русскую флору и любил собирать растения; впрочем, в этой наклонности играло роль, я думаю, и эстетическое удовольствие — он любил цветы и растения — как и вообще природу. О лете, о степи, о животных, диких и домашних, о их нравах и привычках — мог он говорить целые часы; в его рассказах было много поэзии, много юмору и отличной наблюдательности. В медленную и холодную петербургскую весну он вспоминал о юге: «С каким удовольствием, — говорил он мне однажды, — надел бы я теперь высокие сапоги и ходил бы по грязи у нас в Старобельске».

Имя Дарвина было для него одно из величайших имен, и к нашим доморощенным антидарвинистам он относился с враждебной насмешкой. Его раздражала, конечно, не самая критика дарвиновских теорий, не разбор фактических данных, а тот тон, который позволяли себе по отношению к великому мыслителю наши газетные ученые. Они не понимают того, говорил он, что если бы даже все теоретические взгляды Дарвина были поколеблены, его заслуга от этого не уменьшится. Он взглянул на мир иными глазами, чем смотрели до него; он научил людей иначе думать. Его критики не замечают того, что когда они даже опровергают его, они идут в том же направлении, которое им указано, смотрят на вещи так, как он научил смотреть.

Он взял как-то у А. Я. Герда том книги Дарвина о прирученных животных и прочитал весь подряд. Когда А. Я. Герд выразил ему свое удивление, как он мог одолеть эту массу мелочей, мельчайших фактов, не представляющих для него

никакого интереса, В.<севолод> М.<ихайлович> ответил, что именно эти страницы книги он читал с особенным любопытством. Он читал и любовался, с каким бесконечным вниманием, терпением и добросовестностью Д.<арвин> нанизывает бесконечный ряд мельчайших фактов, с каким строгим и постоянным анализом добивается он ключа к истине <...>. Статья проф. Тимирязева о книге Данилевского («Русская мысль» за 1887 г.) [40] была прочитана Вс.<еволодом> М.<ихайловичем> с живейшим удовольствием.

Женатый на женщине-враче, он имел случай часто касаться разных вопросов медицины и русского медицинского мира. Его интерес к медицине, в особенности к ее общественному значению, был в значительной степени интерес художника. Умный врач, по его мнению, гораздо шире и яснее мог понимать жизнь, чем человек с другим образованием. Он читал часто журнал «Врач» профессора Манассеина, получаемый Надеждой Михайловной. Прошлой весной (1887) я застал его раз после того, как он только что прочитал во «Враче» одну замечательную статью проф. Тарновского [41]. Он дал мне ее прочитать; статья поразила его как замечательная картина нравов, как изображение таких странных характеров и таких возмутительных сторон общественной жизни, которые доступны только изучению врача,— и только врач же может вполне оценить и истолковать их значение. «И как это превосходно, сильно и умно написано»,— говорил он.

При такой разносторонности интересов В. М. Гаршин был одарен сильным умом и умом в высшей степени свободным и самостоятельным. Никогда, несмотря на крайнюю мягкость своего характера, не поддавался он влиянию чужих мнений, никогда не боялся беспристрастно и искренне высказать свой взгляд, как бы он ни шел в разрез с мыслями и чувствами его собеседника; и когда вы говорили с ним, вы чувствовали невольно, что этот человек действительно серьезно передумал то, что говорит, и искренность его не подлежит никакому сомнению <...>.

Ко всем явлениям жизни он относился критически, и его наклонность к анализу и строгая честность еще в юношестве делали для него невозможным увлечение многими иллюзиями, несмотря на его жажду общеполезного дела, на болезненное ощущение злых сторон жизни, на порывы самопожертвования. По вопросам общественной жизни он не принадлежал, строго говоря, ни к одному из наших направлений; свободный от увлечений, он беспристрастно и терпимо относился к чужим

теоретическим взглядам, которых сам нисколько не разделял. Но это вовсе не был индифферентизм к вопросам политики и общественной жизни; его независимость и беспристрастие не мешали ему к некоторым направлениям русской жизни и к некоторым литературным лагерям относиться безусловно враждебно.

Как на характерную черту его строгого отношения к русской действительности, я могу указать на то живое чувство одобрения, которое возбудила в нем первая статья Вл. Соловьева «Россия и Европа» в «Вестнике Европы» за 1888 г. Несмотря на свое болезненное состояние, он прочитал ее с величайшим интересом и сочувствием. По его словам, в статье много увлечений и несправедливо резких отзывов, но все крайности и неточности ее отнюдь не нарушают верности ее основной мысли, ее главного содержания. «Я бы, по настоящему времени, велел эту статью прочитать каждому юноше в России», — говорил он мне.

Я с трудом решаюсь говорить здесь о характере Всеволода Михайловича; я знаю, что не сумею достаточно ясно рассказать про глубокое благородство его души, про его доброту и сердечность, не сумею передать тот оттенок трогательной грусти и поэзии, которыми веяло от всей его личности. Его чрезвычайная нежность и мягкость, благородное изящество всего его душевного облика делали его обаятельным человеком. Я знал его 12 лет; я любил его ясный ум, любил его занимательный оживленный разговор, ценил его изящный, всеми признанный литературный талант. Но для меня, как вероятно и для всех, кто его лично знал, его ум и его талант как-то бледнели и отходили на второй план перед необыкновенною прелестью его личного характера. В этом отношении он был действительно человек необыкновенный в полном смысле этого слова. Я часто думал, что если можно представить себе такое состояние мира, когда в человечестве наступила бы полная гармония, то это было бы тогда, если бы у всех людей был такой характер, как у Всеволода Михайловича. И что же? Единственный человек, который казался мне намеком на возможность осуществления такой мысли, был сам глубоко несчастный, душевно больной человек.

Он не был способен ни на какое дурное движение душевное. Основная черта его была — необыкновенное уважение к правам и чувствам других людей, необыкновенное признание человеческого достоинства во всяком человеке, не рассудочное, не вытекающее из выработанных убеждений, а бессознатель-

ное, инстинктивно свойственное его натуре. Чувство человеческого равенства было ему присуще в высшей степени; всегда, со всеми людьми без исключения, держался он одинаково. Говорил ли он со знаменитым, заслуженно пользующимся блестящим успехом человеком или с робким новичком, впервые пробующим свои силы; с человеком, стоящим на высших общественных ступенях, или несчастным бедняком, не имеющим куска хлеба, — в его манерах, в его тоне, в его непринужденной, благожелательной вежливости я не замечал никогда ни малейшей разницы. Он уважал право всякого человека иметь свои интересы, а с кем бы он ни говорил, умел всегда войти в круг желаний и понятий своего собеседника, понять и оценить значение тех интересов, которые его занимают.

Добр и мягок он был подчас до забавного, до того, что его друзей брала на него досада. Но доброта его не вытекала, как это бывает иногда, из близорукой доверчивости к людям и из непонимания их. Нисколько. Правда, случалось и ему увлекаться на короткое время людьми, которые затем быстро повергали его в полное разочарование и вынуждали его подшучивать над самим собой и своим увлечением. Но это случалось редко, и отношения эти бывали обыкновенно мимолетны. Он легко и ясно видел слабости и недостатки людей; глупых и дурных людей понимал отлично, редко вдавался в обман и вовсе не относился к ним в сущности дружелюбно; но когда он встречался с человеком, которого он в глубине души не любил и не уважал, он не мог, в силу самой натуры своей, относиться к нему иначе, как благодушно и ласково, как будто в его глазах ни один человек, как бы он ни был дурен, не заслуживал дурного, враждебного, холодного к себе отношения. Он, вероятно, и не думал этого вовсе, но бессознательно, всем поведением своим, выражал это. Он часто вызывал против себя нарекания за такой, как казалось, индифферентизм. Это не был индифферентизм, это была неспособность проявления чувств злобы и вражды против кого бы то ни было.

Насмешливость совершенно не была в его характере. Он любил трунить и добродушно подсмеиваться над своими друзьями, охотно и сам в свою очередь подвергался шуткам. Но я в жизни не слыхал, чтобы он сказал кому-либо в лицо насмешку или самую незначительную колкость; если он хотел выразить свое неодобрение, то всегда говорил серьезно и открыто и всегда с огорчением.

Когда он узнавал о каком-нибудь злом деле, дурном поступке, мне кажется, в нем сильнее пробуждалось чувство

участия к пострадавшему, чем негодования против обидчика. А все-таки иногда он бывал вспыльчив, и если на его глазах случалась какая-нибудь гадкая, злая обида, он мог выходить из себя и без малейшего колебания и раздумья становился на защиту обижаемого, не стесняясь в выражениях вражды.— Теория непротивления злу и казалась ему особенно несимпатичною своею холодною рассудочностью.

Мне хочется здесь прибавить еще одно замечание по поводу одного довольно распространенного, но, по-моему, ошибочного взгляда на личность Всеволода Михайловича. На его произведениях лежит отпечаток какой-то неопределенной печали, содержание их всегда мрачное, и тон рассказа сквозит сдержанной грустью. Общий характер его поэзии определяют обыкновенно как мрачный и унылый, и это, вообще говоря, справедливо. Кроме того, Всеволод Михайлович, как всем известно, был меланхолик, много месяцев своей недолгой жизни проведший в состоянии самой мрачной тоски. И тем не менее, в здоровое время, даже в то самое время, когда он писал свои мрачные рассказы, он не только не был пессимистом, но вовсе не был скорбным, разочарованным, расстроенным человеком, каким он часто представлялся своим читателям. Несмотря на свою затаенную грусть, он был человек в высшей степени жизнерадостный (как это ни покажется парадоксально). У него была огромная способность понимать и чувствовать счастье жизни. Его разносторонняя, впечатлительная, богато одаренная натура была крайне чутка ко всему доброму и хорошему в мире; все источники радости и наслаждения в человеческой жизни были ему доступны и понятны. Страстный ценитель искусств, он всей душой любил поэзию, живопись и музыку, никогда не уставал ими наслаждаться. Знаток и любитель природы, он чрезвычайно чутко относился ко всем ее красотам, ко всем ее проявлениям; он любил небо и звезды, море и степь, зверей и растения: книга-природа была для него великолепная книга, каждая страница которой доставляла ему наслаждение. Он любил людей, был общительного характера, и человеческое общество ему, доброму, скромному и в высшей степени терпимому человеку, всегда было приятно, всегда доставляло удовольствие. Он любил всякие физические упражнения, всякий ручной труд и с увлечением и радостью предавался им. Словом, все источники радости и удовольствия, какие только существуют для людей, все были ему доступны. Для него мир был полон прекрасного; он не думал, что «жизнь мира есть грех и зло»; он тем более ненавидел зло, что оно было, на его

взгляд, чудовищным контрастом с той радостью и красотой, которую он видел в мире.

Если я прибавлю к этому, что он был здоров, крепок и ловок физически; что он был вполне счастлив в своей семейной жизни, нежно любил жену и имел в ней лучшего и преданного друга; что у него было много дружеских отношений, что он пользовался всеобщим уважением и симпатией, почти не зная врагов, — казалось бы, сколько условий для хорошей, счастливой жизни!

А между тем чувство затаенного страдания никогда не погасало в нем. Было ли это неизгладимое воспоминание о перенесенных несчастьях или смутное, бессознательное предчувствие чего-то ужасного и мрачного в будущем, бог весть! Ко всякой радости, ко всякому наслаждению примешивалась у него какая-то тайная горечь. Приходило время, и в течение нескольких дней В.<севолод> М.<ихайлович> из бодрого и веселого человека превращался в страдальца, недоступного самому ощущению удовольствия, способного только к болезненным впечатлениям.

IV

После двухлетнего периода здоровья, с 1884 года его душевная болезнь вступила в новый фазис, довольно странный и очень мучительный. Каждую весну, в апреле-мае, он заболевал меланхолией. Заболевание обыкновенно происходило в течение нескольких дней. Он начинал немножко скучать, чувствовать упадок сил и духа, и через несколько дней он делался таким же мрачным, расстроенным, не способным ни на какой труд, каким он был осенью 1879 года. Упадок сил, страшная, беспричинная тоска, не покидающая его ни на минуту, бессонница — вот общие черты его болезни.

Это началось с 84-го года. Уже в феврале месяце он начал скучать. Летом я получил от него письмо, в котором он писал мне:

«<...> Не писать к вам у меня были свои причины <...>. Я страшно хандрю все эти полгода, самой скверной, беспричинной хандрой и ужасно боюсь, как бы не заболеть. <...> не будь около меня Надежды Михайловны, непременно заболел бы... Теперь у меня нет острой, мучительной тоски, но апатия и лень чудовищные. И нет никаких сил сбросить их с себя. Очень плохи мои дела, В.<иктор> А.<ндреевич>» [42].

Когда я в августе месяце приехал в Петербург, я застал его уже здоровым. В следующие годы тоска его становилась сильнее и все более и более захватывала осенние месяцы. Промучивши его целое лето, это меланхолическое состояние проходило в августе-сентябре, проходило так же быстро и внезапно, как появлялось. Иной раз было даже удивительно. Три дня тому назад видел Гаршина в самом несчастном виде; смотришь — он идет бодрый, спокойный, а еще через два дня весел и подвижен, как будто с ним ничего не было. <...>

В эти тяжкие, ежегодно повторявшиеся периоды жена его была ему неоцененным другом, помощником, нянькой. С бесконечным терпением ухаживала она за ним, успокаивала, берегла его, отстраняя от малейших трудов, хлопот и волнений, день и ночь возилась около него, чтобы хоть чем-нибудь развлечь, облегчить и успокоить. Он был тяжел в это время; его мрачный страдающий вид производил невольно угнетающее впечатление. Его слезы и жалобы расстраивали. Иногда он становился раздражительным. Беспомощный и изнеможенный, он не мог исполнять самых пустых житейских мелочей; пойти куда-нибудь по самому пустому делу был для него невыносимый труд. Служба его, обыкновенно мало его утомлявшая, даже развлекавшая его, превращалась для него в каторгу. И надобно отдать справедливость учреждению, в котором он служил. И главный заведующий им, и все сослуживцы относились к Гаршину с полным участием, с самым искренним вниманием. Во время его заболевания ему доставляли всевозможные облегчения, обыкновенно освобождали даже совсем от его обязанностей, до его выздоровления. И он высоко ценил дружелюбное участие и хорошее расположение своих сослуживцев и чувствовал к ним самую теплую благодарность.

Его благодарность и нежность к жене не имели пределов. Когда он был болен, она была для него все; без ее любви, без ее мужественного характера он погиб бы, может быть, еще гораздо раньше. Он чувствовал это и платил ей всей привязанностью своего сердца.

Однажды осенью, в начале сентября, года два-три тому назад, я встретился с ним раз у одних общих знакомых, куда он зашел ненадолго, хотя был еще болен. Как-то случилось, что мы остались одни в комнате; он не мог удержаться и зарыдал; слезы градом текли по его лицу, и он говорил мне: «Если бы ты знал, какое это ужасное страдание! Не будь Нади, я бы не медля ни минуты покончил с собою». А дней через десять

он был опять здоров и, казалось, забыл и думать о своей болезни.

Так он прожил, с чередующимися состояниями здоровья и меланхолии, до 1887 года.

V

Зимой 1886—1887 года он стал готовиться к работе, мысль о которой давно его занимала, — он мечтал написать роман из эпохи Петра Великого[43]. Он стал изучать литературу об этом времени, и читал все, что знал, что мог достать или купить по истории Петра и XVII—XVIII веков. Чтение это все больше и больше увлекало его; но из самого романа, кажется, не было у него написано ни строчки. Был, кажется, набросан план; мало-помалу выяснялись для него фабула и содержание романа; кажется, центральной частью должна была быть судьба царевича Алексея Петровича (он любил картину Ге и говорил, что, по его мнению, Ге удалось верно схватить и передать тип царевича)[44].

Как-то раз в мае месяце (1887) я встретился с ним случайно на улице и, пользуясь тем, что до обеда оставалось еще часа три, а погода стояла прекрасная, хотя и пасмурная, мы пошли гулять и совершили одну из тех длинных, бесцельных и беспорядочных прогулок, которые он так любил: ездили по каким-то конкам, переплывали Неву, и когда пошел небольшой дождь, то В.<севолод> М.<ихайлович> заявил, что «сия плювия» не должна помешать нашему удовольствию. В конце-концов мы очутились в парке на Петербургской стороне <...>. <...>были около домика Петра Великого, и В.<севолод> М.<ихайлович> принялся с жаром говорить о Петре — в этом году это была одна из любимых тем его разговора. «Я представляю себе, как Великий Человек шел по этому самому месту, где мы теперь идем», — сказал он и признался, что часто представляет себе в воображении мощную фигуру Петра то в одном, то в другом месте Петербурга. Он любил Петербург, и для него, как для Пушкина, Петербург оставался неразрывно связанным с образом его основателя.

Знал он город превосходно, до мельчайших закоулков, и был живым путеводителем по Петербургу; он помнил всякие исторические события и анекдоты, связанные с различными местами и постройками города. Не раз объяснял и рассказывал он мне подробности разных происшествий на самом месте действия.

Это была моя последняя прогулка с ним. Через несколько

дней я уехал и оставил его совершенно здоровым и веселым. Это имело большое значение, так как была уже половина мая, и в предыдущие годы он в это время заболевал; теперь же он чувствовал себя пока прекрасно <...>. Он бесконечно радовался своему здоровью и ждал только, чтобы счастливо миновал июнь месяц, собираясь воспользоваться представившейся ему в этом году возможностью покинуть Петербург на летние месяцы и думая уехать или на юг России, или за границу, в Англию — свою старинную мечту. Я обедал у него накануне моего отъезда и давно не видал его таким милым, радостным и счастливым; жизнь так и била в нем ключом. Уйдя от него и выйдя на двор дома, где он жил, я увидел, что он высунулся из открытого окна 4-го этажа и еще раз прощался со мной; я крикнул ему, что забыл у него свои папиросы <...>, он сейчас же, верный своему обыкновению, сделал себе из этого забаву — стал осторожно спускать мне папиросницу из окна на длинной нитке. Но нитки хватило только на два этажа, папиросница упала к моим ногам, а В.<севолод> М.<ихайлович> смеялся, как ребенок. Я не слыхал уже больше этого детски наивного, веселого смеха.

Его отличное расположение духа вселяло и в меня надежду, что на этот раз, может быть, он останется здоровым и на лето. И действительно, его болезнь долго не приходила. В конце июня я получил от него следующее письмо[45]:

«<...> Занимаюсь я преимущественно Петровщиной; прочел много, но сколько осталось еще! Думаю съездить в Царское к Пыпину: я прочел недавно его статью о Петре (о мнениях о нем) в «В.<естнике> Е.<вропы>[46] и очень захотелось поговорить с ним. Кроме того, почти кончил рассказ, который вряд ли увидит свет. Не знаю, порвать его или отложить. Очень деликатный для меня вопрос. Дело в том, что в рассказе фигурирует фантастический элемент и, можешь себе представить, — наука[47]. А так как действующие лица могут говорить о науке, не превышая уровня понимания автора, то выходит дело очень плохо. Так как я писал для себя, то для меня оно, может быть, и интересно: почему же и мне не говорить и не думать о науке («и кошка имеет право смотреть на короля»), но что сказали бы Скабичевский[48] и бирюлевские барышни *, если бы я вздумал философствовать печатно! Горька моя судьба!»

Это письмо еще более подтвердило мои надежды на благополучный исход лета для Всеволода Михайловича — но надеж-

* В тургеневской повести «Затишье» <Примеч. автора. — *Г. С.*>

ды эти не оправдались. Болезнь, казалось, дала ему только отсрочку, чтобы с тем большею силою овладеть им. В последних числах июня он начал скучать и с июля месяца был уже в полной меланхолии, на этот раз оказавшейся роковой.

В сентябре я приехал и поехал к нему, к Нарвской заставе, где он жил у родных своей жены. Я застал его в обычном, больном, летнем состоянии духа; он тосковал и имел очень дурной вид. Но, как обыкновенно, в течение разговора он постепенно оживлялся и за обедом разговаривал довольно много и с некоторым интересом о разных предметах. Но когда после обеда ушла его жена и мы остались с ним одни, он вдруг опять изменился в лице и стал с ужасом и с горькими слезами говорить мне о себе. Он говорил, что погибает; что он не может служить, не способен ни к какой работе, что впереди ему предстоит нищета и сумасшествие. «Я полный банкрот, во всяком смысле, и в материальном, и в нравственном,— говорил он. — Ведь я схожу с ума, понимаешь ты это, я чувствую, я чувствую, что схожу с ума», — твердил он, глядя на меня безумными глазами, с искаженным от ужаса и отчаяния лицом. Ужас его невольно сообщался и мне; но я знал, что всякие утешения здесь бесполезны, и стал упрекать его, говоря, что он мучит себя боязнью и ложными предчувствиями, что теперешняя тоска его ничем не отличается от прежних его меланхолических периодов и также пройдет быстро и бесследно с наступлением осени и первых холодов. Мало-помалу он успокоился, ободрился, заговорил об осени, о предстоящей зиме и между прочим передал мне содержание рассказа, о котором писал мне летом.

Это была странная история, с ярким фантастическим характером, с медиумическими явлениями и пространными диалогами научного и философского характера. Общий смысл ее был — защита ересей в науке, протест против научной нетерпимости, против исключительной ортодоксальности людей ученого мира. Действующие лица повести были ученые, старые и молодые, профессора университета и ученики их, начинающие, но гордые знанием и враждебные ко всему, что «ненаучно», химики и физики. Между прочим там появлялись со своими теоретическими взглядами и действительные лица, не названные, конечно, но описанные с полным сохранением всех их индивидуальных черт, и между ними профессора Менделеев и Манассеин. Оба они были всегда предметом глубокого уважения В.<севолода> М.<ихайловича>, и, лично знакомый с пр. Манассеиным, он отзывался о нем с симпатией, но, не буду-

чи нисколько ни спиритом, ни гомеопатом, не одобрял их отношения к этим «ересям». В повести аргументация его основывалась главным образом на истории науки, на том, сколько раз уже учения и теории, казавшиеся и всеми признаваемые за нелепость, за грубые заблуждения, за суеверие, оказывались основанными на вполне реальных фактах и открывали для научного исследования такие области, такие явления, самое существование которых никем не подозревалось.

Главными действующими лицами рассказа были два молодых приятеля, один начинающий ученый, молодой самодовольный педант, другой — тоже натуралист по образованию, но не занимающийся специально наукой, замкнутый в себе, странный, болезненный чудак, может быть, тоже с легким «психозом» и с сильною наклонностью с отвлеченному мышлению. Он вечно сидит один в своей комнате и думает, и додумался до медиумических явлений. По просьбе своего ученого друга, пораженного новыми и таинственными явлениями, он показал то, до чего он додумался, избранному обществу ученых скептиков — и поплатился, заранее это зная, за обнаружение своей «творческой силы» всей своей душевной деятельностью: после сеанса он впал в неизлечимое слабоумие. При этом в повести был описан петербургский университет, здание физического кабинета, старинное здание, которое всегда интересовало Вс.<еволода> Михайловича.

Он передал мне весь рассказ последовательно и подробно, во многих местах вероятно прямо подлинными словами, как было написано, и все, что он рассказывал, было очень умно и очень интересно; несмотря на отвлеченные рассуждения, самый интерес рассказа и фабулы все более и более возрастал, а фантастический элемент, полный странной, несколько болезненной поэтичности, придавал всему рассказу особенно оригинальный оттенок. Вообще, это была вещь в высшей степени оригинальная. Он написал ее в июне, кажется, всего в несколько дней, а когда заболел, то сжег рукопись, и теперь, рассказывая мне, глубоко сожалел об этом и говорил, что не сможет уже вновь написать позднée, «когда поправится».

Но ему уже не суждено было поправиться. Пришла осень, пришли холода, ему не становилось лучше. Тоска не покидала его. В октябре он должен был возобновить свои служебные занятия, но не мог и вышел в отставку. Жизнь его совершенно вышла из колеи. Он плакал, жаловался на свои страдания и приходил все в большее и большее отчаяние. По ночам его мучила бессонница, и засыпал он часто не ранее 5 часов утра;

проснувшись, он не имел силы встать с постели и лежал иногда до 3, до 4 часов дня. Никакого занятия он не мог переносить; его переплетный станок всю зиму пролежал без употребления.

Общество людей несколько развлекало его, но не надолго. Иногда, когда к нему собиралось вечером несколько друзей и завязывался живой разговор о всяких вещах — о литературе, о политике, о природе, он, сначала вялый, молчаливый и грустный, постепенно оживлялся, голос его становился громче и сильнее, он стряхивал с себя тоску свою и делался на некоторое время тем же умным и живым собеседником, каким он был обыкновенно. Но как только он оставался один, минутное искусственное оживление исчезало мгновенно и душой его опять овладевал мрак отчаяния.

Я жил близко от него; и он довольно часто заходил ко мне на короткое время. Войдет унылый и тоскливый в своей шубе и теплой шапке, нехотя разденется и бродит вяло по комнате, заглядывая, по своей всегдашней привычке, во все книги и трогая все вещи, которые попадались ему на глаза. Предложите ему чаю, он откажется, но если нальешь ему стакан и усадишь его за стол, он станет пить и разговаривать, и, постепенно оживляясь, мало-помалу принимался болтать, даже шутить и смеяться. Уходя, он сразу делался мрачным: он знал, что за дверями его ждет и караулит злая тоска.

Друзья его советовали ему уехать, но он ни за что не хотел, боялся даже зимой уехать из Петербурга. Он боялся безлюдья и зимней дурной погоды где-нибудь на юге, куда бы он мог поехать. Н. А. и М. П. Ярошенко предлагали ему ехать в Кисловодск и жить там у них на даче.

Так проходил месяц март (1888 г.), и ему вдруг стало лучше. Однажды, в первых числах марта, утром, в неурочное время, часов в 8, он вдруг явился ко мне. Вид у него был веселый, глаза его блестели. Он сказал, что не спал всю ночь и рано утром вышел из дому погулять и зашел ко мне, думая, что я уже встал. Он показался мне в крайне возбужденном состоянии; я с беспокойством смотрел на него, и неприятно звучали для меня слова его: «простите сумасшедшего, который вас потревожил». Он сел и обратился ко мне с некоторой торжественностью: «Я пришел сообщить тебе замечательную новость». Я подумал, что это что-нибудь новое в его отношениях к своим родным. «Нет, — сказал он, — это вовсе ни меня, ни наших не касается. Новость вот какая: в России появился новый первоклассный писатель». Он говорил про «Степь», рас-

сказ г-на Чехова, только что появившийся в «Сев.<ерном> Вестнике».

Он познакомился с рассказами г-на Чехова с тех пор, как они стали появляться в «Новом времени», и высоко оценил его талант. «Степь» он прочитал накануне, и она произвела на него чрезвычайное впечатление [49]. На него, любителя и поклонника русского юга, пахнуло широким дыханием летней степной природы, и он пришел в болезненный восторг; случайно ли совпало временное оживление его духа с прочтением этой повести или же действительно вынесенное сильное впечатление дало толчок его душевному состоянию, но он относился к ней с суеверным чувством благодарности. Чехов как будто воскресил его: «У меня точно нарыв прорвался, — говорил он, — и я чувствую себя хорошо, как давно не чувствовал».

О рассказах г-на Чехова мне не раз приходилось уже говорить с ним, и я знал его высокое о них мнение. Но его восторг, его пламенные глаза меня смущали и беспокоили.

Он пригласил меня прийти к нему вечером прочитать «Степь» вслух. Но после обеда я получил от него записку, которая меня несколько успокоила.

«Дорогой В. А., — писал он, — прости меня и не приходи сегодня с Ю. И. [50], зане я, слава богу, спать хочу смертельно. Дамы мои уехали неожиданно в театр, а я намерен часов четырнадцать проспать и вознаградить себя за прошлую ночь» [51].

Я узнал позднее, что в то же утро, уйдя от меня, он еще долго бродил по городу. Зашел во Владимирскую церковь, где шла обедня, и пробыл там несколько времени; потом был в каком-то трактирчике и пил там чай, обращая на себя внимание дворников и извозчиков, смущенных появлением необычного гостя. Все это, в связи с бессонной ночью и странным визитом ко мне, были плохие симптомы.

На другой день я был у него вечером. Состояние возбуждения, в котором я его видел накануне, прошло, но он действительно чувствовал себя много лучше. Я выразил ему мою радость, что вижу его в хорошем настроении и свежим, но он поморщился в ответ и сказал, что в глубине души ему еще не хорошо. Но все-таки тоска по-видимому почти вполне его оставила; он хорошо спал, был оживлен, бодр телом, мог курить — всегдашний симптом его выздоровления. У него было несколько человек его друзей, и он читал нам вслух «Степь»; это чтение доставляло ему большое наслаждение. В образе отца Христофора он узнавал тех южно-русских попов, о которых он писал мне когда-то из Ефимовки, он говаривал часто, что

вообще даже не может представить себе священника, который не говорил бы: «нэ врэдно» и «нэ бесполэзно» (как он привык слышать на юге). В таком тоне читал он, с большим юмором и добродушием, и отца Христофора — и рассмеялся веселым, почти совсем здоровым смехом словам добрейшего старика в его поучении мальчику-гимназисту: «и сочинителем тоже быть хорошо».

Это было, как я уже сказал, в первых числах марта. Почувствовав себя лучше, В.<севолод> М.<ихайлович> решился уехать и стал собираться в дорогу, он хотел воспользоваться приглашением друзей своих, г-д Ярошенко, и поехать в Кисловодск. Там он собирался всецело посвятить себя отдыху и подъему своих физических сил, строил планы прогулок и экскурсий, хотел возобновить свои юношеские ботанические занятия и собирать гербарий.

Во вторник, 15 марта, возвращаясь откуда-то из гостей, он, довольно поздно вечером, зашел ко мне вместе с Надеждой Михайловной. Он имел вид несколько утомленный и более скучный, чем в предыдущие дни, и с неудовольствием говорил о сборах к путешествию, которые его утомляли. Между прочим, он хотел до отъезда написать духовное завещание; зная его отношения с родными, я одобрил его намерение и старался в то же время, чтобы он не придавал этому значения каких-либо мрачных опасений, а смотрел как на обеспечение против какой-либо несчастной случайности.

Он просил меня дать ему на лето инструменты для занятия ботаникой — лупу, пинцет и т. п. Между вещами, которые я предложил ему на выбор, находилась и бритва для анатомических препаратов. Он хотел взять и ее, но я сказал ему, что бритва эта не моя, хотя, впрочем, владелец ее наверное не будет ничего иметь, если он увезет ее с собой. Но он отказался и резко, с каким-то странным неудовольствием, отодвинул ее рукой. Я не обратил на это особенного внимания, видя, что он вообще расстроен и раздражен, но позднее припомнил его сердитый жест.

Это было мое последнее свидание с ним. На другой день я зашел к нему, но не застал его дома и узнал от сестры его жены, что ему опять стало гораздо хуже и он опять мрачен. Болезнь, после короткого перерыва, пошла вперед быстрыми и решительными шагами; он стал бояться за себя, поехал с женой к д-ру Фрею и советовался с ним. Доктор еще надеялся на улучшение и уговаривал его немедленно уехать. У него стали, как кажется, проскальзывать безумные идеи — так как в по-

следние дни у него вырывались замечания и слова, непонятные для слушателей, он чувствовал, вероятно, приближение безумия, не выдержал страшного ожидания и, накануне назначенного отъезда, когда все уже было готово и вещи уложены, после мучительной бессонной ночи, в припадке безумной тоски, он вышел из своей квартиры, спустился несколько вниз и бросился с лестницы.

Он не убился до смерти; его подняли разбитого, с переломленной ногой и перенесли в квартиру. Те несколько часов, которые он еще пробыл в сознании, он глубоко страдал нравственно, он не переставал упрекать себя за свой поступок; в близости конца он, кажется, был вполне уверен. «Неужели? Неужели?» — сказал он, глядя на свои изувеченные ноги; была ли это радость, что прекратятся его страдания, или ужас при мысли, что для него все кончено? — Это осталось непонятным. Доктору, который успокаивал его, что через месяц он встанет, он ответил усмешкой. Когда А. Я. Герд приехал к нему, он застал В.<севолода> М.<ихайловича> лежащим на кровати и целующим руки жены. На вопрос, больно ли ему, страдает ли он, он ответил А. Я. Герду: «Что значит эта боль в сравнении с тем, что здесь!» — и указал на сердце. Когда физическое страдание усиливалось, В.<севолод> М.<ихайлович> говорил: «Так мне и нужно, так мне и нужно».

Я увидел его уже в больнице, в бессознательном состоянии. Около него сидели жена его и В. М. Латкин. Он казался спящим крепким и спокойным сном здорового, но очень утомленного человека. Дыхание его было сильное и громкое. Он не шевелил ни рукой, ни ногой, и жена его от времени до времени переменяла положение его головы и тела, чтобы не отекали члены. К голове его прикладывали лед. Красивый южный тип его смуглого лица, его густые черные волосы как-то особенно резко выделялись на белой подушке, белом одеяле и белом платке, прикрывавшем голову. Выражение лица было спокойно и не обнаруживало страдания.

Он не выходил из этого состояния глубокого сна до самой смерти.

Жена его была при нем безотлучно, и я навещал ее каждый день; доктора объявили, что нет никакой надежды.

В четверг, 24 марта, подходя к больнице, я увидел идущего мне навстречу седого старика; это был А. Н. Плещеев, приехавший навестить В.<севолода> М.<ихайловича> и выходивший из больницы. Я подошел к нему; на мой немой вопрос он ответил мне одним словом: «умер» — и заплакал.

В. С. Акимов

Владимир Степанович Акимов — дядя Вс. Гаршина по матери, помещик, в 80-е годы — мировой судья, позже — земский деятель. В его имении Ефимовке (Херсонской губ.) с конца 1880 до середины 1882 гг. жил Гаршин. В письмах последнего содержатся характеристики общественных позиций и человеческих качеств В. С. Акимова: «Дядя не может назваться особенно красным, да куда там особенно! он и либерал-то небольшой»; «<...> дядя такой хороший человек, что, живя с ним, нельзя не любить его искренне» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 243, 233). В. С. Акимов — человек широко образованный, знакомый почти со всеми современными ему литературно-художественными журналами, неоднократно бывавший за границей. Общение с ним доставляло Гаршину большое нравственное удовлетворение, способствовало душевному возрождению. Воспоминания Акимова связаны в основном с пребыванием Гаршина в Ефимовке, хотя и содержат некоторые сведения о детстве племянника и его встречах с автором «Четырех дней». Воспоминания вносят новые штрихи в биографию писателя: в них сообщается о круге его чтения в начале 80-х годов (журнальная периодика), об особом интересе к творчеству Салтыкова-Щедрина и Гл. Успенского, о литературных опытах этого периода (переводе новеллы Мериме «Коломба», сказке «То, чего не было», неосуществленном замысле произведения о морской службе солдата).

ВСЕВОЛОД ГАРШИН И ЕГО ПРЕБЫВАНИЕ В ЕФИМОВКЕ. 1880—1882

Я познакомился со Всеволодом в мае 1857 года. Ему было два года. Это был забавный бутуз, только что начавший болтать, общий баловень в семье. Когда он начинал капризничать, наш старый лакей Дмитрий пугал его «Грицьком», и этот фантастический Грицько приводил ребенка в такой ужас, что при одном произнесении страшного имени он глотал слезы и утихал. Помню, что он любил молиться богу и усердно поминал «дедаку» и «бабаку» (дедушку и бабушку). Часто он изображал святогорского иеродьякона и, надев на себя простыню в виде мантии, с линейкой в руке, изображавшей свечу, прохаживал-

ся по комнатам, возглашая: «Восстаните!». Позже, в начале 1860 года, он приезжал с матерью ко мне в Одессу, куда я только что возвратился из лондонского плавания на пароходе «Веста» (впоследствии знаменитом) [1]. Это был уже пятилетний мальчик, очень кроткий, серьезный и симпатичный, носившийся постоянно с «Миром Божьим» Разина [2], который он оставлял только ради излюбленного им рисования. У меня до сих пор сохраняются мои заметки о плавании, совершенно им испорченные изображениями на каждой странице «Весты». Затем я совсем потерял его из вида и о ходе его воспитания и образования знал только по письмам его матери, моей сестры.

В первый раз после долгого промежутка я встретил его в Харькове возвратившимся с войны раненым унтером. Я с любопытством осматривал его как героя и автора «Четырех дней», сделавших на меня глубокое и грустное впечатление. Мы очень с ним подружились и вели продолжительные беседы, преимущественно о ботанике, в которой он был очень силен; но вообще мне грустно было его видеть: блуждающие, какие-то тревожные глаза, лихорадочная торопливость разговора, внезапные припадки раздражительности при малейшем противоречии — все это явно показывало, что малый нехорош.

Пропускаю тяжелый период пребывания его на «Сабуровой даче», где я навещал его во время моих приездов в Харьков. Я не мог без слез видеть его в этой ужасной обстановке, которая, к счастью, продолжалась недолго.

Зимой 1880 года, возвращаясь из Петербурга чрез Харьков, я нашел Всеволода в ужасном положении: у него был столбняк, прерываемый иногда только беспричинными слезами; вызвать его на разговор, даже мне, которому он показывал столько дружбы, не удавалось. Тогда, в виду особых причин, о которых здесь считаю лишним распространяться, у меня родилась мысль увезти его к себе за 600 верст и поставить в совершенно другую обстановку и другие условия жизни, устранить от него все то многое, что в Харькове никаким образом не могло способствовать улучшению его бедственного положения. Получив согласие сестры и Евгения, я предложил Всеволоду погостить у меня в Ефимовке, пока не надоест, на что он отвечал: «Вы ведь знаете, дядя, что я не имею ни воли, ни желаний; если вы находите нужным взять меня, я поеду, если нет, — мне все равно». Я объяснил ему, что нахожу нужным, и увез. Мы вдвоем занимали целый вагон, и я с радостью увидел, что, по мере удаления от Харькова, расположение духа больного меняется; он, по моему предложению, с любопытством

принялся рыться в моем чемодане, где находились разные механические игрушки, купленные мною детям, и не мог не засмеяться при виде медведя, ходившего с ревом по вагону; особенно же его заняла очень сильная крысоловка, и он стал выражать капризное раздражение по случаю невозможности применить ее сейчас к делу, — потом, придавив себе весьма сильно палец, сам рассмеялся над своим ребячеством. Эта крысоловка впоследствии оказала мне важную услугу, так как она в продолжение двух недель занимала его; он с увлечением принялся истреблять крыс, которых было множество в амбарах. Заведен был журнал, в котором ежедневно отмечалось число казненных животных, с особой графой примечаний: «с крысами тихо», «крысы в угнетении», «твердое настроение» и проч. Кончилось тем, что ловушка бесследно исчезла, и мы пришли к предположению, что в нее попался хорек, который и утащил ее на себе в свою неведомую нору.

Несмотря, однако, на видимую резкую перемену, почти сразу обнаружившуюся в моем дорогом больном, первое время его пребывания у меня было очень тяжелое: иногда, среди живого и веселого разговора, он вдруг задумывался и обводил всех странным, блуждающим взором; не проходило почти ночи, чтобы он не сделал тревоги внезапными, громкими рыданиями, которые прекращались очень трудно. Такое положение продолжалось недели три. Тем временем я понемногу начинал вводить его в систему задуманного мною лечения, которая заключалась в следующем: полное изолирование от всего заефимовского мира, кроме матери, братьев и В. А. Фаусека, к которому он всегда относился с самой нежной дружбой; постоянное, хоть и молчаливое, сообщество кого-нибудь из нас; как можно больше движения и физического труда и никаких литературных занятий, кроме любимого им писания писем на родину моим рабочим. Впрочем, впоследствии я уступил его желанию заняться переводом на русский язык повести «Colomba», найденной им в библиотеке моей, между статьями журнала «La Revue des Revues» * 40-х годов [3]; этот труд он объяснял желанием усовершенствоваться во французском языке, да я и не видел в таком занятии ничего противоречившего моему плану, так как это было чисто механическое дело. Не помню, что сталось с этой повестью [4], — брульоны * же я оставил себе на память.

---

* «La Revue des Revues» (*фр.*) — «Обозрение обозрений».

* brulion (*фр.*) — первый набросок.

День у нас начинался обыкновенно катаньем на коньках до 8 часов утра, несмотря ни на какую погоду; в этом отношении Всеволод достиг огромных успехов: ему нипочем было сбегать к Святотроицкому маяку, в 5 верстах, и обратно в 40 минут. После чая он приходил ко мне в камеру и наблюдал бытовые сцены, записывая в то же время протоколы свидетельских показаний [5]. Перед обедом опять катанье на коньках, потом возня с детьми, которых он очень любил, перевод, чтение газет и журналов, и наконец вечерняя партия в шахматы, к которой он приступал с неизменным предложением: «Не хотите ли меня когтить?» (выражение Тургенева); кроме того, один час всегда посвящался пикету с больной бабушкой. Почта приходила по понедельникам и пятницам и ожидалась с любопытством; мы получали: «Русский вестник», «Голос», «Старину», «Вестник Европы», «Ниву», «Огонек» и одну местную газету; кроме того, Всеволоду присылались из Харькова «Отечественные записки» и из Петербурга «Русское богатство» и «Устои»; впрочем, зачитываться я ему не давал, и как только он кончал своих излюбленных Щедрина и Г. И. Успенского — я книги прятал.

С восторгом я видел, как мой Всеволод возвращался к жизни не по дням, а по часам; к весне он был уже неузнаваем: земляной цвет лица уступил место прекрасному здоровому румянцу; аппетит и сон — отличные, внезапная задумчивость и рыдания давно исчезли; явился настоящий Всеволод, с его чудесной душой, мягким, покладистым характером и добродушным юмором — словом, драгоценнейший сожитель. Теперь он самым спокойным образом и до мельчайших подробностей рассказывал мне самые тяжелые эпизоды из своей несчастной жизни — Сабурову дачу, лечебницу Фрея и проч.

Наступила весна 1881 года. В конце февраля я должен был ехать в Египет и оставаться там до конца апреля. Это время было тяжким испытанием для Всеволода; без меня нас постигло горе, семейное — смерть моей матери и народное — смерть государя [6]. Признаюсь, я, наслаждаясь прелестями берегов Нила, часто задумывался о моем пациенте, тем более, что и из писем его видно было, что он крепко скучал и томился «одиночным заключением»; но бесконечная доброта этого человека и способность приурочиться к данным условиям сделали то, что он вполне вошел в интересы семьи, и когда я возвратился, то не нашел никаких тревожных следов его относительного одиночества. Как-то раз, поздней весной, я, ободренный чудесным ходом исцеления Всеволода, шутя упрекнул его в том,

что он ничего не пишет; тут он сознался мне, что состояние его души в настоящее время совершенно неудобно для литературного труда и что почти все, чтó он до сих пор написал, являлось в то время, когда на него «находило». Не знаю, делал ли он кому-нибудь подобное признание, но как он был прав, бедный! Полтора года, прожитые в Ефимовке, я считаю самым лучшим временем его душевного состояния; между тем за это время он написал только слабейший из своих рассказов[7]. Помню я, как он, конфузясь и затворяя все двери, прочитал мне этот рассказ и еще более сконфузился, когда увидел на моем лице незавидное мнение мое об этом произведении. Он поспешил уверить меня, что рассказ написан исключительно для детей г. Герда и что он никогда не будет напечатан; при этом он сам указывал на разные несообразности рассказа и прежде всего на отсутствие мысли. «Знаете ли, дядя, — говорил он, — я написал этот вздор только потому, что мне до ребячества нравится это звукоподражание: «какой скандал!» и выражение «хвостяка», хотя это последнее и вставлено здесь ни к селу ни к городу. «Хвостяка» — слово чисто хохлацкое и выражает собой понятие о тощей, забитой и запаршивевшей мужицкой лошаденке; у меня же приведен гнедко — правда, очень старый, но статный и сытый конь, и Антон Дюльдин — настоящий орловский кацап, который незнаком с таким выражением; но что ж делать, когда оно кажется мне таким характерным. Вот вы мне как-то рассказывали, как вам раз случилось на корабле ночью случайно подслушать тихое мурлыканье матроса, облокотившегося о борт; это была какая-то едва слышная импровизация, из которой вы расслышали «отдааай швартооов». Вот этот самый «швартов» не дает мне покоя: я на нем построил, в голове, целый роман: суровая 25-летняя морская служба, оторванность от родной среды, оставленная молодка-жена и ребенок, отправление в дальнее плавание на несколько лет, неизвестность будущего, тоска по родине, потом, как pia desideria *, выход в отставку, тоже своего рода «отдай швартов», возвращение в семью... И я чувствую, что эта бездушная команда ляжет в основание моего будущего рассказа, если мне суждено сделаться когда-нибудь совсем здоровым человеком». Не суждено было сбыться надежде бедного малого!

Осенью 1881 года мы предприняли капитальную работу — постройку длинной пристани на сваях. Мы сделали на шлюпке самый тщательный промер с целью найти подходящую глуби-

---

* pia desideria (*лат.*) — благие ожидания.

ну и после Нового года приступили к забивке свай. Я не переставал радоваться при виде горячего участия, с которым Всеволод относился к этому делу; он почти неотлучно находился на работе и каждый день должен был давать на водку рабочим, которые в своей неизменной «Дубинушке» импровизировали в честь его дифирамбы вроде того, что «Всеволóд Михалы́ч, наш милый паныч, даст нам на магарыч» и т. п. <...>

Вообще в эту зиму, наблюдая тщательно за Всеволодом, я совершенно убедился, что он находится на пути к спасению. В один весенний день 1882 года мы приехали в Николаев по делам. После пятичасовой беготни по городу я нашел Всеволода уже собравшимся в обратный путь и очень сконфуженным. Он рассказал мне, что за полчаса перед тем он тут же в ресторане пил кофе и уселся напротив стеклянной двери, за которой, в швейцарской, висело его пальто, и прежде чем он выпил свой кофе, пальто было украдено у него под носом. Успокоив его и посмеявшись над его рассеянностью, я хотел выйти, чтобы распорядиться о лошадях, как вдруг он бросился ко мне на шею и со слезами заговорил: «Дядя, дядя, я чувствую, что все это прошло; никаких «проклятых вопросов» нет, и вся моя горькая и несчастная жизнь с реального училища — где-то потонула». То была кульминационная точка. Увы! скоро после этого порыва, наполнившего мою душу гордой радостью, я начал замечать, что с каждой почтой, приносившей Всеволоду множество объемистых писем, он стал грустить, задумываться и заговаривать со мной о том, что он совершенно здоров и что невозможно долее продолжать dolce far niente *. Сначала речь шла о возвращении в свой старый Болховский полк, потом разные другие предположения... Напрасно я представлял ему блестящие результаты полуторагодового «одиночного заключения» и настаивал на необходимости продолжения его еще на год и прекращения корреспонденции — видно, эта корреспонденция была красноречивее моих доводов. Летом он уехал в Петербург, и больше я его не видел. <...>

---

* dolce far niente (*ит.*) — сладостное безделье.

А. Т. Васильев

Александр Тимофееевич Васильев — сослуживец Гаршина по канцелярии Общего съезда представителей русских железных дорог с 1883-го по 1887-й годы.

Воспоминания содержат характеристику служебной деятельности Гаршина этих лет, его взаимоотношений с товарищами, рисуют внутренний облик человека, ставшего «общим всех любимцем» и поражавшего окружающих «кротостью и добродушием», чуткостью и отзывчивостью к горю и радости других людей. Васильев особо отмечает горячее участие Гаршина «в горе общественном». Отношение писателя к служебной практике воспроизводится здесь достаточно объективно. Можно сослаться на письмо Гаршина к В. М. Латкину от 13—25 марта 1885 года, подтверждающее справедливость его оценок: «Не скажу, чтобы я тяготился своим секретарством; нет, работа не тяжелая, часто очень интересная. То техника, то юридические вопросы; во всем этом многому поучаешься, конечно; не как техник и юрист, а как человек и мaратель бумаги» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 354).

Важным представляется свидетельство Васильева об оценках Гаршиным крестьянской реформы и деятельности Александра II, о восприятии им «циркуляра» «об ограничении приема непривилегированных детей в гимназии».

В воспоминании приведен рассказ Гаршина о драматических обстоятельствах пребывания его в психиатрической клинике, об обстановке и нравах «Сабуровой дачи».

ГАРШИН НА СЛУЖБЕ

В. М. Гаршин, как известно, был секретарем в канцелярии Общего съезда представителей русских железных дорог, или, вернее, секретарем заведывавшего делами Общего съезда, Ф. Е. Фельдмана, с февраля 1883 года, и во все это время, слишком 4½ года, я ежедневно почти находился с ним в сообществе по нескольку часов; я же замещал его всегда и во время его болезни.

Я имею сказать о В.<севолоде> М.<ихайловиче> не как о литераторе-художнике <...>; я скажу о нем как о человеке только, как о товарище-сослуживце, каких мне не случалось встречать в жизни. В.<севолод> М.<ихайлович> поступил к нам в 1883 году, вскоре после болезни, следы которой долго

оставались на его лице, задумчивом и грустном. Он мало говорил, больше казался сосредоточенным; но, по мере освобождения от гнетущего состояния, он становился сообщительнее и оживленнее; в деле показал себя работником, не белоручкой. Работая <...>, делал все, что́ и не входило в круг его обязанностей.

Своим благородным, добродушно-кротким, простым и тихим обращением В.<севолод> М.<ихайлович> приблизил к себе всех, имевших с ним дело, приобрел общие симпатии служащих, стал общим всех любимцем. Кротостью и добродушием он доводил иногда до изумления. В подтверждение последнего я приведу здесь два-три факта.

Раз посланный за получением денег на почту по одной повестке получил и сдал ему деньги сполна, а по другой отдал только пакет с препроводительной бумагой, извинившись, что вложенные деньги издержал на свои потребности, и В.<севолод> М.<ихайлович> по доброте своей не только не донес об этом кому следовало, не в состоянии был сделать ему даже легкого замечания за это; вложил недостававшие деньги из своих средств и только сожалел о поступившем так.

В другой раз пришлось мне быть свидетелем дерзкого оскорбления его лицом почти что посторонним, без малейшего со стороны В.<севолода> М.<ихайловича> повода, от которого он отошел безропотно и плакал; а на другой день сам же себя винил, что оскорбился, говоря, что, может быть, и сам он виноват, что с ним так поступили.

Казалось, что В.<севолода> М.<ихайловича> ничто не интересовало в жизни, не привязывало к себе, он, видимо, здесь жил не для себя. К этому заключению я прихожу ввиду его же слов.

По объявленному Общим съездом конкурсу на приспособление к перевозке хлеба вссыпную, В.<севолоду> М.<ихайловичу> как участнику в одном из премированных проектов, пришлось получить часть премии, рублей в 800[1]. На замечание об этом неожиданном сюрпризе он мне сказал: «Да, Надежда Михайловна (жена), пожалуй, будет довольна; что же касается меня, то для меня что 800 рублей, что 800 000 руб., что 8 руб. — безразлично. Я делю довольных на три категории: довольных высоким положением в свете, довольных богатством, роскошью, довольных симпатиею женщин. Для меня ничего этого не существует».

Но так индифферентно он относился только к самому себе. По отношению же к другим он не обнаруживал апатии. В об-

щем он болел за всех. Чужая радость радовала и его, чужое горе — было его горе, хотя он и не выражал этого вслух; особенно в горе общественном он был участником отзывчивым, горячим.

Я никогда не забуду, как однажды, принеся вырезку из какой-то газеты о воспрещении празднования юбилеев, В.<севолод> М.<ихайлович> глубоко был опечален, что этим распоряжением затемняется память народа о светлом дне освобождения его от рабства, о его воле, дарованной царем-освободителем (перед которым благоговел покойный) [2], как близко к сердцу принял он и известный циркуляр об ограничении приема непривилегированных детей в гимназии [3]...

Казалось, раньше В.<севолод> М.<ихайлович> был человеком нуждавшимся, хотя он никогда не говорил об этом. До нас он служил у кого-то из купцов здешнего Гостиного двора, кажется, Лингардта, получая по 50 руб. в месяц и занимаясь с 9 часов утра до 9 часов вечера. Только с поступлением в канцелярию общего съезда его материальное состояние улучшилось, и то благодаря глубокому вниманию к его положению такого же, как он, великодушного и доброго человека.

Насколько приятно было находиться с В.<севолодом> М.<ихайловичем> в его здоровом состоянии, настолько же невыносимо тяжело было видеть его угнетенным болезнью, доводившей его до крайнего изнеможения. <...> Продолжая бороться с недугом, он хотел заставить себя работать, хотел переломить себя и напрягал к тому все силы. Однако эти усилия были напрасны <...>. Его честная натура не могла выносить, чтоб не работая получать содержание, чтобы за него делали другие, и поэтому он оставался неутешным и мрачным, несмотря на все старания разубедить его и успокоить. <...> Он говорил: «Если бы не жена, которую я так люблю, то я давно бы порешил с собой». И этому легко верилось... [4]

Болезненное состояние повторялось со В.<севолодом> М.<ихайловичем> во время нахождения его у нас (с 1883 г.), периодически из года в год, месяца по четыре, при полном сохранении сознания, а в прошлом, 1887 году, его душевная болезнь началась с первых чисел июля <...> и не покидала его, как известно, до самой смерти. Особенно он плох был осенью прошлого года, когда вернулся с дачи. <...> Он говорил, что не спит часто по целым суткам; что во время этой бессонницы его преследует мысль: о самоубийстве <...>.

Правда, в зимние месяцы он выглядел свежее несколько, но постоянно при этом жаловался на тяжесть в голове и на ослаб-

ление памяти. О последнем он говорил так: «Чтó мне прежде давалось с прочтения двух раз, то же самое теперь я не могу запомнить при всем усилии». И это было главное из всех его мучений. Не раз он говорил мне: «Меня мучит одно, что я таким совсем останусь, буду калекой на всю жизнь на попечении жены, которой и без того я жизнь испортил. Будь я безруким или безногим, будь я без глаза, но со свежей головой! А это разве жизнь?» Он плакал и глубоко вздыхал.

Коснувшись душевных страданий В.<севолода> М.<ихайловича>, я не могу не привести эпизода с ним в психиатрической клинике в Харькове, рисующего варварское обращение нашей прислуги в этих заведениях. Я передам его приблизительно так, как рассказал мне его сам В.<севолод> М.<ихайлович> в 1883 г. «Раз, в ожидании ванны, которую готовил для меня хохол-служитель, стоял я совсем раздетый у окна. Мне вспомнилось тогда и детство, проведенное среди родных, в доме родителей, под наблюдением матушки, которая так любила нас; представилось и одиночество в мрачном углу этой больницы, освещенном одним окном — с железною решеткой куда-то в стену, и этот геркулес-служитель, наблюдающий за краном и за мной. Я думал... я... представьте себе, каким я был тогда. Вдруг сильный удар в грудь сбивает меня с ног, и я упал на пол без памяти. Это было напоминание служителя о ванне. «За что ты меня ударил? — говорю, опомнившись, ему, державшему меня под мышки; — что я тебе сделал?...» Если бы был предоставлен выбор между больницей и каторгой, то я предпочел бы скорей пойти года на три на каторгу, чем на один год в больницу. И теперь иногда чувствую боль в этом месте», — добавил В.<севолод> М.<ихайлович>.

В последний раз мы видели В.<севолода> М.<ихайловича> дней за девять до катастрофы — 8-го и 9-го марта. Он заходил поговорить, решившись ехать на Кавказ. Казалось, он выглядел гораздо лучше. Мы даже порадовались за него и выражали надежду на поправку его после этой поездки. <...>

Да, повторю еще, я не встречал человека, подобного В.<севолоду> М.<ихайловичу>. Не встречал такой любящей, отзывчивой, детски незлобивой, теплой души, как у покойного. Замечательно, что за все время служения его у нас никто не видал его смеющимся. Он улыбался добродушно, но не смеялся. Его чарующе-прелестные глаза редко блестели радостью, чаще они плакали, полны были горячих слез, глубоких дум и скорби <...>

В. П. Соколов

Виктор Петрович Соколов — приятель Гаршиных, часто бывавший на вечерах, устраиваемых Всеволодом Гаршиным, близкий литературным кругам, сотрудник «Исторического вестника».

Воспоминания В. П. Соколова интересны в том отношении, что дают литературную, общественную и бытовую характеристику Всеволода Гаршина, его окружения и родных писателя. В целом это достаточно достоверные и во многом новые материалы, охватывающие последние годы жизни Гаршина (1883—1888 годы). Содержательным является рассказ о литературных вечерах и встречах у Вс. Гаршина и его брата, на которых собирались писатели, художники, естествоиспытатели и где читались и обсуждались новейшие произведения русской и зарубежной литературы («Власть тьмы» Л. Толстого, например), возникали споры о содержании и направлении современной беллетристики. Соколов раскрывает широкий круг интересов Гаршина: его внимание к русской истории, литературе, философии, естествознанию, увлечение переводами («Коломба» П. Мериме). Автор воспоминаний попытался осмыслить и писательскую деятельность Гаршина, характер и содержание его творчества и отдельных произведений. Верно уловив острый политический смысл сцены «казни» медведя в одном из рассказов писателя, Соколов, однако, узко биографически истолковывает почти все раннее творчество Гаршина, видя в нем лишь «мемуары, исповедь, корреспонденции с театра военных действий, сентиментальные излияния, надрывы, вопли больного сердца», т. е. по сути дела снимает всякий обобщающий смысл его произведений, способность «изобразить то, что он не видел и чего не знает» по собственным переживаниям. Следует отметить, что отношения Гаршина к Л. Толстому Соколов характеризует слишком прямолинейно, говоря о безусловном поклонении автора «Сигнала» и «Сказания о гордом Аггее» великому писателю. Несправедливы и его оценки этих двух произведений Гаршина как «незначительных вещиц», свидетельствующих о том, что у их автора «не было ни способностей, ни материалов к обширному объективному творчеству». Значение мемуаров, следовательно, — в воспроизведении литературной атмосферы, интересов и настроений Гаршина, его человеческого облика, семейных отношений, дружеских связей. Хорошим дополнением к воспоминаниям Виктора Фаусека служат те страницы мемуаров Соколова, где рассказывается о молодом естествоиспытателе, сыгравшем такую большую роль в жизни писателя. В отличие от многих современников, воспринимавших смерть Гаршина как следствие его тяжелой душевной болезни, Соколов, подобно Гл. Успенскому, возлагает вину за трагический финал на общество, не проявившее должного внимания и человеческого участия.

ГАРШИНЫ

* * *

Лето 1883 года; деревенское захолустье и, как иногда бывает, уголовное дело. <...> Я был принят просто и любезно. В маленьком семейном альбомчике усмотрел я сейчас же карточку юноши кроткого вида, в солдатской шинели. «Кто это?» — «Это мой брат, Всеволод Михайлович Гаршин!» — «Ах, да ведь это известный писатель! Отчего он так мало пишет?» — «Служит!» Тут только я сообразил, что нахожусь у старшего брата писателя, у Георгия Михайловича Гаршина, судебного следователя по старым (тогда) учреждениям. <...>

Прошло около недели, и в старом домике появилась плотная пожилая особа, чрезвычайно общительная, любопытная и вечно занятая: вечно сидела она у окна на улицу, с наклоненной головой, за шитьем на машинке или за строчением переводов с французского для Павленкова. Это была матушка Гаршиных, Екатерина Степановна, урожденная Акимова. Так целое лето и провела она в печальном пыльном уединении, в этом гадком домишке, у окна, выходившего на пыльную уездную площадь. <...>

Мне, с детских лет любителю литературы, она с удовольствием рассказывала о Всеволоде и о петербургских литераторах. Эти рассказы касались лишь внешности литературных деятелей. <...>

Домашнее уединение было необычайным состоянием для Екатерины Степановны. Душа ее стремилась к людям; но бедность, убогость квартиры и обстановки, болезненность и неразвитость невестки — все это служило препятствием к сближению с обществом. От сына и от меня получала она сведения о жизни и нравах уезда и восклицала иногда: «Тут такая масса материалов для Глеба Ивановича!» <...>

* * *

В конце 1883 года я приехал в Петербург. Заняв номер в Знаменской гостинице супротив вокзала, я в тот же вечер направился в Эртелев переулок к Екатерине Степановне, жившей уже с сыном Евгением, студентом-филологом. <...>

В течение часа прибыли, один за другим, три посетителя: сначала какой-то молодой чиновник, потом преподаватель математики и затем юный студент-естественник в шитой рубахе. <...>

Екатерина Степановна завела с гостями оживленнейшую беседу о социалистах-революционерах-покусителях, беспокоивших и обижавших тогда сантиментально-либеральное начальство, и о сыщиках. Екатерина Степановна негодовала на революционеров за то, что они, скрываясь от полиции, нередко останавливаются, ночуют, даже подолгу проживают у своих знакомых, людей почтенных и легальных, и тем самым причиняют им большие неприятности. <...>

Должно быть, и сама Екатерина Степановна, в период своей молодости, была немного прикосновенна к политике. Однажды, когда знакомая барышня по какому-то поводу ее наивно спросила: «Разве и у вас, Екатерина Степановна, бывали обыски?» — она, махнув рукой, произнесла: «О!» — таким тоном, как будто дело это ей уж очень хорошо было знакомо. Впрочем, может быть, у ней так вышло из желания поощрить ту барышню. Известна слабость всех русских пожилых интеллигентных людей рисоваться перед молодежью своим либерализмом, подвигами своей юности и пережитыми опасностями [1]...

— Что вам со мной, со старухой сидеть! Отправляйтесь-ка на журфикс к Всеволоду! Я вам сейчас это устрою!

Таким образом, почти прямо из вагона попал я на вечер к самому популярному в России писателю.

* * *

Всеволод Михайлович стоял в передней у притолки двери в темно-серой суконной блузе. Среднего роста, довольно плотный и широкий; смуглое лицо (кстати сказать, татары, сами оставаясь в полном невежестве, наградили Русь не только именитыми боярами, правителями и чиновниками, но также и знаменитыми писателями, начиная с Державина, продолжая Тургеневым и кончая Гаршиным), лицо явно татарского типа, с довольно правильными чертами; темные усы и бородка; красивые, как бы соболезнующие, как бы страдающие глаза, рассеянный блеск которых намекал на затаенное нездоровье, чему, казалось, так противоречили цветущий цвет лица, веселая улыбка и мягкая веселая речь.

— Имя ваше В.<иктор> П.<етрович>? Так же, как и Буренина? — сказал писатель с лукавой укоризной, а потом стал серьезно расспрашивать меня о том, как поживает Георгий Михайлович, с которым я незадолго перед тем виделся;

расспрашивал довольно холодно, как бы для порядка, видимо, мало интересуясь своим нелитературным братцем, который также почти никогда сам не заговаривал о Всеволоде. «Рекомендуйтесь!» — весело сказал мне Всеволод Михайлович, указывая на массу сидевших в комнате гостей.

Смущенный, я стал обходить всех, называя себя; из-за шахматного столика поднялся молодой человек малого роста, сильный брюнет еврейского вида, и, здороваясь со мной, назвал себя Минским. Потом на вечере он был довольно заметен: мил, обаятелен, весел, говорлив, остроумен. И была ему причина быть веселым: он входил в сла́ву как поэт и только что напечатал в «Вестнике Европы» звучную библейскую поэму «Вавилонское столпотворение»; тут же находилась и его супруга, россиянка, тоже очень говорливая и веселая. Кандидат-юрист, с прекрасным литературным образованием, с знанием древних и новых языков, Минский почему-то не хотел тогда добывать средства к жизни ни литературой, ни адвокатурой, а поступил на службу в частную банковскую контору, и досадно было встречать его в вечерние часы возвращающегося со службы, с портфелем в руках, вместе с прочими служащими того банка. К сожалению, Гаршины скоро разошлись с Минским; говорили, что поэт слишком самолюбив, претенциозен; на вечере этого не было заметно: наоборот, столь мрачный потом поэт и писатель высматривал очень простым и жизнерадостным.

Пришел беллетрист Альбов, задумчивый и печальный, и с таким видом, как будто он ожидал в близком будущем чего-то такого очень печального и очень серьезного; как пришел, так сейчас же и прошел, не обращая ни на кого внимания, в кабинет хозяина, занялся курением и рассматриванием лежавшего на письменном столе тома собственных своих сочинений. <...>

За чайным столом могла поместиться лишь половина гостей; прочие дожидались чаепития в кабинете и в хозяйской спальне, где гости тесно, дружелюбно уселись на двух хозяйских кроватях, причем очутились рядом Альбов и художник Крачковский, сухощавый молодой человек в очках, аккуратный, элегантно одетый, похожий на свои нарядные, чистые ландшафты.

Художник, только что вернувшийся из Парижа, просто и занимательно распространился о французской живописи, о том, как хорошо пишут французы, какая у них чу́дная, выработанная техника, как легко, красиво они рисуют... но в то же

время как мало у них серьезных тем, мало содержания, мало скорби, нутра... Русские художники, наоборот, рисуют плохо, аляповато, техника их слабая, ученическая; но они много превосходят французов серьезностью внутреннего содержания; они смело хватаются за серьезные современные темы, пытаются выразить на полотне свои задушевные чувства и мысли, свое нутро...

Всеволод Михайлович любил и понимал живопись; говорили, что очень интересно было с ним походить по картинным выставкам, прислушаться к его суждениям о картинах. Он был хорошо знаком с некоторыми известными художниками; у него потом пришлось встретить сухощавого, черноволосого артиллерийского полковника Ерошенко, видного представителя русского тенденциозного жанра. <...> [2]

Гостей не нужно было занимать: всем было что сказать, а некоторые говорили и умно, и смешно. У такого серьезного, у такого скорбного человека и писателя собралось такое веселое общество! И сам он являлся истинным руководителем шуточной беседы. <...> изящно и мягко, с шутками и анекдотами, переходил он от одной группы гостей к другой, из гостиной в кабинет, из кабинета в спальню, везде возбуждая разговоры и смех; и выходило так, что никто из гостей не мог пожаловаться на какое-либо невнимание к себе со стороны хозяина. <...>

Всеволод Михайлович рассказал, как он представлялся и преподносил книжку своих рассказов Гончарову, который имел будто бы вид совершенно одряхлевшего Обломова... Гончаров что-то невнятное промямлил молодому писателю, подавая ему свою мягкую, пухлую, как подушка, руку. С азартом, дружно проехались потом все (особенно дамы) насчет Максима Белинского и его рассказа, напечатанного в «Отечественных записках», который, однако, Всеволод Михайлович весьма защищал [3].

Были на вечере два молоденьких студента-естественника, два провинциала, которым вскоре в Питере суждено было сделать ученую карьеру. Один — весьма скромный <...>. Другой — высокий, стройный, тонкий, аккуратный, тактичный, в очках, с приятным лицом общеинтеллигентного русского типа, с металлическим голоском, хотя и занимался специально естественными науками, но был в то же время любителем художественной литературы и со способностями к литературной деятельности. Всеволод Михайлович прямо восхищался Виктором Фаусеком, — это был он, — отдавая ему на суд свои

сочинения и даже рекомендовал его писать критику в одну кавказскую газету, к публицисту Николадзе. <...> [4]

В это время на этом вечере Фаусек являлся совсем еще молоденьким первокурсником; его выписала на праздники Екатерина Степановна из Харькова, нарочно, должно быть, для Всеволода; поместила в своей квартире и даже доставила юноше возможность заработать путевые издержки переводом с немецкого статей из словаря классических древностей для Модестова. У Екатерины Степановны, как и у всякой нервной особы, мнения о людях часто менялись, но о В. А. Ф.<аусеке> у ней не было разных мнений: она его всегда чрезвычайно хвалила. Вскоре он перевелся в петроградский университет и стал постоянным посетителем Гаршиных, познакомился с Плещеевым, стал бывать вообще в литературных кружках; был всегда в хорошем настроении, умен, сдержан, уравновешен, остроумен, и остроты его производили эффект, запоминались. Был он на время командирован за границу ухаживать за больным Надсоном. <...> Его молодость, общительность, большие способности, уменье вести себя обеспечивали ему в Петрограде блестящую карьеру. Он женился по склонности на ученой курсистке и, будучи таким общественным человеком, так много тратя времени на знакомства, быстро, однако, достиг степеней магистра и доктора, сделался профессором, директором женских курсов. <...>

Часа в три ночи шумно разошлись молодые люди от Всеволода Михайловича. Под конец очень как-то все развеселились; говорились изумительные пустяки, заставлявшие покатываться со смеху людей совсем несмешливых. Хозяин так и сыпал прибаутками и шарадами.

* * *

Пожалуй, вполне счастлив был в эту зиму Всеволод Михайлович, существуя в атмосфере общего к нему участия, благоволения и внимания. 83-й год был особенно удачен для него в отношении творчества: было напечатано им целых три рассказа в «Отечественных записках» и несколько переводов с французского в других изданиях [5]. Все идеализировали молодого писателя, прославляли его вперед, в кредит, в ожидании будущих больших его произведений, — и он, видимо, не сомневался в себе, надеялся оправдать эти чрезмерные ожидания. Каждый день он слышал себе похвалы от знакомых и незнакомых, поч-

ти каждый день имел удовольствие читать себе одобрения в журналах и газетах. Это нисколько не кружило ему головы, нисколько не уменьшало его обычной благовоспитанности и благосклонности к окружающим. В нем и следа не было того, что французы называют fatuité * и что так обычно у писателей, артистов и художников: с людьми неблизкими он о своих сочинениях никогда и не заговаривал. <...>

Получал Всеволод Михайлович в конторе сто рублей в месяц[6], что, вместе с наградами к празднику и литературным гонораром, давало возможность супругам существовать в Питере даже на сносной квартире; но никогда не приходилось слышать от них ни об опере, ни о театре вообще, ни о каком ресторане. Продолжали платить Гаршину в «либеральнейшем» ** органе[7] всего лишь семьдесят рублей за лист, платили так мало не вследствие каких-либо эксплуататорских инстинктов, а, как объяснял впоследствии Всеволод Михайлович, по рассеянности, по невниманию.

У писателя каждый день служба, и каждый почти день зайдут к нему симпатичные, близкие люди, с которыми так приятно поговорить по душе и поспорить, и поволноваться <...>. Потом целые вечера тратятся на молодые благотворительные вечеринки, где Гаршину почет и уважение, где являлось столько лиц, желавших с ним познакомиться; на посещение литературных салонов, литературных вечеров; на посещение особ, которых нельзя было не уважать, к которым не мог быть равнодушным любознательный беллетрист. <...>

Быстро и незаметно проходило время, а между тем надо было писать, писать и писать, изучать жизнь, сталкиваться с разными слоями общества, познавать людские души, обрабатывать созревшие в голове темы, ловить минуты вдохновения... а вместе с тем какую массу нужно было прочитать! Как много появлялось тогда на Западе замечательных вещей по беллетристике, которых нельзя было оставить без внимания. В. Ф. Корш издавал тогда журнал с переводами интересных иностранных романов; в нем Всеволод Михайлович поместил свой перевод «Коломбы» Пр. Мериме[8] и читал журнал с интересом;

---

* fatuité *(фр.)* — чванство, самодовольство.

** Из забавной шуточной поэмы-пародии (Минаева?) на «Крестьянку» Некрасова в «Деле» <журнале> семидесятых годов:

С Михаилом Евграфычем, с Григорием Захарычем <Елисеевым>
Я орган либеральнейший — «Записки» издаю!

<Прим. ред. журн.— *Г. С.*>

особенно увлек его один (кажется, датский) роман, в котором был мастерски очерчен тип, подобный нашему Рудину.

Интересовали писателя русская история, история литературы, философия и было у него немалое влечение к обширной области естествознания вообще. Он не имел детей (так это печалило обоих супругов!); но его занимали вопросы воспитания, детская и педагогическая литература. Непреодолимое было у него желание основательно пополнить свое плохое знание европейских классиков. Но для уразумения классиков нужно было предварительно изучить языки английский и немецкий, за которые Всеволод Михайлович много раз принимался с большим усердием, но вполне безуспешно, а свободно мог он читать на одном лишь французском. <...>

А между тем заниматься писанием, творчеством приходилось Всеволоду Михайловичу по утрам, до ухода на службу. Какая это была работа, когда ежеминутно смотришь на часы, дабы не опоздать к занятиям! Бывало, что и в это короткое и неприятное время сумрачного петербургского утра писатель успевал войти в работу — вот-вот охватывали его вдохновение, творческий жар; но тут все надо было бросать, насильственно отрываться от письменного стола, спешить с туалетом и поскорее бежать на службу...

Книжка рассказов [9] разошлась, потребовалось второе издание; «Красный цветок», рассказ психиатрический, из области ощущений и наблюдений нервнобольного, произвел сильное впечатление; сентиментальный рассказ «Медведи» [10] всем понравился. «Мне не позволяют писать о том, как вешают людей, я буду им писать, как расстреливают медведей!» — так энергично, патетически-либерально воскликнул он при матушке, когда рассказ был принят к напечатанию.

В упоении успехов не замечал писатель, как гроза надвигалась на родные ему «Отечественные записки».

Частенько заходил Всеволод Михайлович в эту зиму в Эртелев переулок, к своим, к матушке и к брату Евгению, поделиться своими успехами и радостями <...>. Кстати приходят симпатичные люди; они очень рады, что застали Всеволода; им также Всеволод Михайлович рассказывает о своих делах и впечатлениях. Завязывается разговор о родной литературе; писатель снимает пальто, водворяется на диване со стаканом чаю и беззаветно отдается беседе о своих любимцах — о Толстом, Тургеневе, Достоевском [11].

Тургенев был особенно хорошо, вовремя мною воспринят; много счастливых часов он доставил мне и всей нашей семье;

я решил высказать еретическое мнение, что Тургенев выше Толстого... Как горячо напали на меня за это Всеволод Михайлович и Фаусек. Взволновалась и Екатерина Степановна, встала из-за чайного стола и заходила по комнате своей тяжелой походкой и стала меня укорять, говоря, что ведь она меня считала поклонником Толстого. Помню, Фаусек очень резко и мальчишески легкомысленно выразился о популярном тогда Евг. Маркове; Всеволод Михайлович был также суров к автору «Черноземных полей», но когда речь зашла о «Барчуках», он решительно и серьезно заявил: «Барчуки» — хорошая вещь!»[12]. В детских воспоминаниях Маркова было для Гаршина много знакомого, родного, — ведь и сам он был барчук. Кумиром его был Толстой-беллетрист, стало быть, увлекала его специально барская, исключительно дворянская беллетристика. Потом Гаршин чрезвычайно увлекся, во многом с ним соглашаясь, Толстым-моралистом и философом[13].

В одно из таких посещений Эртелева переулка Всеволод Михайлович прямо из передней быстро подошел к столу, за которым трудилась за шитьем матушка, и сказал: «Мама, знаешь, сколько мне к празднику дали награды? — и произнес какую-то крупную цифру, чуть ли не триста рублей. — Он (т. е. начальник той конторы) очень любезно мне сказал: «Мы очень довольны вашими занятиями! Мы знаем, что у вас есть другое дело чрезвычайной важности, от которого было бы жаль вас отвлекать!» Я сказал, что служба нисколько не мешает моей литературе. «Могу вам признаться, что последний мой рассказ я почти весь написал, сидя на службе»[14].

Часов шесть в день просиживал Всеволод Михайлович в этой конторе среди людей почти необразованных. <...> Раньше еще было хуже: приходилось ему трудиться по целым дням в конторе какой-то писчебумажной фабрики за семьдесят пять рублей в месяц. Впрочем, тогда он отводил душу в веселых, дружных редакционных собраниях журнала «Устои» С. А. Венгерова[15]. <...>

* * *

Братья Гаршины мало походили друг на друга. Георгий Михайлович имел внешность незначительную и о костюме своем не заботился, а потому с первого взгляда производил впечатление мелкого служащего. Евгений Михайлович <...> имел вид солидный, купеческий <...>, говорил со всеми спокойно, важно.

<...> Ни к какому делу он страстно не привязывался; не

было в нем того священного огня, которым горел Всеволод Михайлович; но способности его были изумительные. Оканчивая курс на филологическом факультете, он печатал статьи и рецензии в «Историческом вестнике», читал рефераты в историческом обществе, давал уроки, занимался с маленьким племянником, ввязывался в чужие дела именно с целью сделать доброе дело; справлялся с массою литературных и нелитературных знакомств. <...>

* * *

<...> На апрельской книге 84-го года запрещены были навсегда родные Всеволоду Гаршину «Отечественные записки», старинный журнал, имевший в известные периоды своего существования могучее влияние на русских читателей.

«Записок» не стало по докладу министра Д. А. Толстого, которому уже невтерпеж стало сносить издевательства сатир Салтыкова как над ним, Толстым, так и над другими сановниками и над начальством вообще[16]. «Дыба», «Удав», «граф Твердоонто»... в Питере, да и в провинции, отлично понимали, кого следует разуметь под этими неблагозвучными прозвищами[17].

Популярность сатир Щедрина <...> среди тогдашнего чиновничества, особенно судейского, была невероятная. Чиновники с нетерпением ожидали появления творений Щедрина, упивались ими до самозабвения, заучивали их наизусть, потешались от них до упаду, пересказывали их друг другу, запоминали на всю жизнь. <...> Некоторые чиновники помоложе пытались тогда выводить из сочинений Салтыкова общие философские идеи, руководство для жизни. <...> Но в самом разгаре своего значения и влияния сатирик лишается вдруг своего органа, проводника в публику своих творений, лишается круга послушных, талантливых молодых сотрудников, которые чуть не с благоговением относились к ворчливому старику-редактору <...>.

Сатирик принужден был пристраивать свои сочинения в чужие журналы и газеты. <...> Разбрасываясь по разным изданиям, он не мог так последовательно, так непрерывно вести беседу со своими обычными читателями, как это делал в своих «Записках». Его огорчало равнодушие читателей к запрещению «Записок», по поводу которого не обнаружилось в публике заметного протеста[18]. Сатирик стал мучительно болеть; по-

следнюю и самую лучшую свою вещь, в которой появились и более мягкое отношение к изображаемой жизни, и милые образы, писатель создавал незадолго до своей кончины <...>.[19].

С запрещением «Отечественных записок» Вс. Гаршин лишился главной своей литературной опоры, лишился исправляющей редакторской руки; но он в это время был так бодр духом, так на себя надеялся, что не слишком горестно принял к сердцу это печальное событие[20], хотя последний редакционный день, когда в последний раз собрались в редакции сотрудники уже запрещенного журнала и печально смотрели в окна на следовавшую по улице с грохотом на Марсово поле гвардейскую конную артиллерию, — этот день тяжело, болезненно запал в душу нашего писателя[21].

Сейчас же приглашение от «Русской мысли»; приглашение от «Нови» Вольфа, который сам беседовал с Всеволодом Михайловичем, предлагал наивыгоднейшие условия, предлагал даже для иллюстрирования будущих произведений Всеволода Михайловича пригласить задушевного друга писателя, художника Малышева. Всеволод Михайлович отказался от «Нови» и согласился участвовать в «Русской мысли», однако писал матушке, что задушевнейшим его желанием было бы печататься в «Вестнике Европы», но что у него там положительно ни души нет знакомых[22].

В «Вестник Европы» рекомендовал Гаршина и Салтыков, который с сердечным участием продолжал относиться к своему бывшему сотруднику, но у «любезнейшего» Михаила Матвеевича, не тем будь помянут, были своеобразные литературные вкусы[23]. «Вестник Европы» был настолько видный и уважаемый журнал, что едва ли какой автор не желал в нем печататься, — и вот многие, действительно талантливые, оригинальные были обижены, отвергнуты! Редакция не хотела знать Достоевского, отвергла Чехова, возвратив ему «Дуэль»... и в то же время с любезностью печатала бесцветнейшие сочинения разных дам и девиц старых дворянских фамилий, помещала совсем детские, хотя и старческие, компиляции П. А. Валуева и его повести[24]; печатала скучнейшие английские романы в сокращенном изложении, над чем так забавно подтрунил Всеволод Михайлович в первой главе «Надежды Николаевны»[25], помещала скучные, хотя и рекомендованные сочинения на золотую медаль; но так и не удостоила Всеволода Гаршина приглашением участвовать в «Вестнике Европы».

Зимою 1884 г. побывал Всеволод Михайлович в Москве, где и навестил меня, жившего тогда с своим братом-астрономом на

Средней Пресне. Солидно посидел у нас писатель с часик времени, говорил о своей любви к загородным прогулкам, к природе; охоту он не выносил, как жестокую, кровавую забаву, но любил, гуляя, ботанизировать, собирать интересные растения, цветы; поэтому гулял обыкновенно с палкой, на конце которой был насажен заступ. Такой бодрый, молодцеватый вид имел в это время Всеволод Михайлович, что и самый внимательный человек не подметил бы в нем и тени нездоровья. В подбитом ветром пальто, в дешевой барашковой шапочке и в холодных галошах отправился писатель от нас с Пресни пешком в Хамовники к графу Л. Н. Толстому[26]. Когда, при прощании, я просил Всеволода Михайловича передать мой поклон его супруге, он с гордостью заявил, что она прекрасно сдала все медицинские экзамены и теперь уже женщина-врач.

* * *

В упомянутое лето 1884 года Всеволод Михайлович в письмах к матушке охотно распространялся о своей работе над новым крупным произведением, которым, видимо, оставался вполне доволен. Зимою следующего года появилась в двух книжках «Русской мысли», «Надежда Николаевна»[27], уже не маленький рассказ, а целая романическая история с самым трагическим концом, размером не менее четырех печатных листов. Предыдущие работы, прославившие Гаршина, нельзя было назвать беллетристикою: то были мемуары, исповеди, корреспонденции с театра военных действий, сентиментальные излияния, надрывы, вопли больного сердца. Теперь не к лицу было писателю вопить и надрываться: он ведь был вполне здоров и счастлив; теперь он припустил себя к реальному творчеству и предлагал читателям настоящую беллетристику. Прекрасный слог слишком напоминал Тургенева, у которого автор, видимо, старательно учился литературному делу; а самая форма повести, записки больного молодого человека, жестоко пострадавшего от любви, хорошо уже была знакома русским читателям. Этим молодым человеком и явился сам Всеволод Михайлович в лице художника Лопатина: любил автор живопись, любил рядить себя в костюм художника. «Надежда Николаевна» — героиня танцкласса, но, к сожалению, не настоящая, а выдуманная, созданная воображением благородного, скромного господина, который совсем и не был знаком с этим сословьем. В танцкласс, по уверению Екатерины Степановны,

водил Всеволода Михайловича, — и, к сожалению, всего один только раз, — тот самый студент в шитой рубахе, который и сам-то весьма редко посещал такие учреждения [28]. Очень мило, мягкими такими тонами описал Всеволод Михайлович в четвертой главе увеселительное заведение купца Лейферта на Фонтанке; только публика там была совсем не такая приказчичья, как ему показалось: там всегда бывало немало студентов, которые, сообразно своему званию, вели себя там довольно бурно.

Образ этой героини давно занимал Гаршина, давно возбуждал его сострадание и живейшую симпатию: он ее изобразил в рассказе «Происшествие», где и придал ей свои собственные мысли и чувства... Но если бы Всеволод Михайлович имел живые наблюдения из печального быта бедной трудящейся русской женщины; если бы он спускался к ознакомлению с «падшими», «безнравственными», «нечестными», «вольного поведения» девицами, у него вышла бы фигура и более оригинальная, и более трагическая, и возбуждающая бо́льшую симпатию, чем тот скучный деревянный манекен, каким явилась «Надежда Николаевна» в повести, написанной талантливо, с одушевлением, украшенной забавными бытовыми фигурами <...>.

У нашего автора не было той гениальной прозорливости, той догадки, которые позволяли какому-нибудь Бальзаку или Достоевскому рельефно изображать многое такое, чего они совсем и не видали, или по одному лишь легкому намеку действительности воспроизводить на бумаге трогательный, навсегда западающий в душу образ. <...>

Нападки на «Надежду Николаевну» посыпались первоначально со стороны маменек, которым страшно стало за своих сынков. «Возможно ли так идеализировать кокотку? И так уж теперь молодые люди стали жениться бог знает на ком!» — говорили они Екатерине Степановне.

Вслед за маменьками напали на повесть и все тогдашние журнальные и газетные критики; а нападать, по правде сказать, было не за что: произведение было нисколько не хуже прежних работ автора, которыми критика так восхищалась; если бы оно было исправлено Салтыковым и появилось на страницах «Отечественных записок», то едва ли бы тогдашние аристархи посмели так дружно на нее наброситься.

Критические отзывы пришлись как раз к Святой 1885 года. Каждый день Евгений Михайлович приносил брату какую-нибудь газету или какой-нибудь журнал с неодобрительными строками о «Надежде Николаевне».

Уединившись от всех гостей, долго сидел однажды Всеволод Михайлович у окна в грустной задумчивости за какою-то механической работой, потом подошел ко мне и живо, горячо, но так печально стал жаловаться на Скабичевского: «Служил у Салтыкова много лет... из Петербурга почти и носа не высовывал; раз как-то выезжал ненадолго редактировать «Рыбинский листок», ни малейшего понятия о жизни не имеет! говорит, что конец моей повести невероятный, неестественный... Когда почти на моих глазах бывали в жизни подобные случаи не один раз»[29].

Это была первая литературная неудача Всеволода Михайловича, которою, увы, почти и закончилось его литературное поприще; ею он был очень огорчен; однако не падал духом, чувствовал под собою твердую почву, продолжал жить попрежнему в атмосфере общего к себе внимания и доброжелательства, поддерживаемый своими стремлениями, своими надеждами и заботами горячо любивших его супруги, матушки и брата.

Не очень-то интересовала Гаршина тогдашняя серая, пухлая «Русская мысль». Грустным тоном Всеволод Михайлович сообщал, как Салтыков возмущался хозяевами «Мысли» и даже говорил, что с журналом этим надо порвать всякие отношения: редакция бесцеремонно вытеснила из журнала старика С. А. Юрьева, который поставил «Русскую мысль» на ноги, вытеснила именно в то время, когда издание стало давать доход[30]. Уважаемый в Москве Юрьев, математик, астроном, славянофил, журналист, театрал, эстетик, а вместе с сим и очень рассеянный чудак, был старинный приятель Салтыкова <...>.

* * *

<...> Зимы 1885—86—87-го годов Всеволод Михайлович провел хорошо, в непрерывном общении со старыми и новыми своими знакомыми, в кругу почитателей, обожателей и обожательниц, ежедневно с кем-нибудь из родных и знакомых видаясь и беседуя по душе и в то же время продолжая аккуратно служить в железнодорожной конторе. Странно, что за все это время писатель почти ровно ничего не написал. Но он был занят обдумыванием серьезных литературных тем. Намеревался он писать серьезный исторический роман[31], героем которого был избран царевич Алексей Петрович, и для этого принимался изучать историю Петра Великого и собирался ехать в Царское на дачу к Пыпину, чтобы побеседовать с историком об

эпохе Петра и получить указания о материалах для романа [32]. Задумывал тогда Всеволод Михайлович некую научную повесть. Из воспоминаний о гимназическом курсе и о прочитанных детских и популярно-научных книжках, из сведений, почерпнутых в Горном институте, Всеволод Михайлович строил в своей голове разные научные выводы. Как и всякого дилетанта, его чрезвычайно занимали разные смелые гипотезы в области естествознания [33].

А Евгений Михайлович вместе с матушкой весною 1886 года <...> открыли книжный магазин на Греческом проспекте, заняв для сего удобную и обширную квартиру в нижнем этаже, окнами на улицу. <...>

Теперь у Екатерины Степановны и у Евгения Михайловича, благо позволяло обширное помещение, устраивались изредка литературные вечера. Максим Белинский, крупный, представительный молодой человек, солидный, молчаливый, симпатичный, читал с рукописи трогательный и забавный свой рассказ о гимназистах и гимназистках, сбежавших от родителей с целью совершить путешествие <...>. В стороне, за чайным столом, какой-то пожилой господин декламировал перед Екатериной Степановной с тетрадки сатирическую поэму на Буренина, написанную в отместку за то, что критик одним своим фельетоном очень огорчил больного поэта Надсона [34] <...>. В. Фаусек <...>, выйдя на этот раз из своей обычной уравновешенности, напал на автора сатиры и горячо доказывал, что если бы Надсон был жив, он бы не обрадовался появлению такой поэмы; что вообще память поэта в таких сатирах не нуждается, да и фельетон Буренина особенного значения для больного поэта не имел. <...> Молча сидел литератор К. С. Баранцевич, совсем не видный мужчина. Была Валентина Иовна Дмитриева, женщина-врач из крестьянок, беллетристка, незадолго перед тем вступившая в литературу под руководством Н. Д. Хвощинской (Крестовский — псевдоним), малого роста, энергичная и остроумная и презанимательная собеседница. Потом увлекательно рассказывала она мне, как ввязалась в Москве, вместе с молодежью, в какие-то беспорядки, посадили ее, вместе с прочими, в острог и сослали затем в Тверь. <...>

На другом собрании читали и обсуждали только что появившуюся и прогремевшую «Власть тьмы» Толстого, исключительно мрачную драму из крестьянской жизни с выдуманным добродетельным старичком Акимом. Всеволод Михайлович, безусловный поклонник Толстого, горячо защищал драму и

хвалил что-то уже чересчур[35], так что Евгений Михайлович крикнул на него басом: «Брат, остановись!.» <...>

Два брата, с течением времени, все более и более расходились во мнениях. Ближе стоявший к жизни, здоровый, простой и трезво житейский Евгений Михайлович не мог иногда согласиться к радикальными и чересчур студенческими фантазиями Всеволода, который, с своей стороны, находил воззрения брата узкими, а его исторические работы называл гробокопательством. Не совсем-то удобно подчас бывает быть братом очень известного брата и постоянно видеть всюду бесцеремонно оказываемое ему почтение; но Евгений Михайлович своими добрыми, неизменно родственными отношениями к брату подходил ко Льву Пушкину, про которого сложено было шутливое двустишие: «Наш Лев Сергеич очень рад, что своему он брату брат». <...>

На маслянице 1887 г. Вс.<еволод> М.<ихайлович> с супругою был на блинах в Лесном институте у проф. А. П. Соколова. В этот день писатель был в прекрасном настроении, был душою нового для него общества, неистощимый на шутки и разные общественные забавы. Вечером, после блинов, затеялось катание на вейках. <...> Санки понеслись по Выборгскому шоссе, мимо занесенных снегом дачных участков <...>. Глядя на дачи, Вс.<еволод> М.<ихайлович> мечтал вслух о сельском жительстве, о природе, о лесах дремучих... о том, как бы вот хорошо иметь свой участок земли, свой загородный домик <...>. — «Помните, Вс.<еволод> М.<ихайлович>, «Сказку о том, как солдат спас жизнь Петра Великого»? Дремучий лес и поляна в лесу... долгое блуждание по лесу в темноте и опять поляна, со всех сторон окруженная темным лесом, и на ней домик в три окошечка, с воротами, с высоким забором; глухая ночь, лай собак, а в домике живет целая семья разбойников, страшно!..» — «Помню, помню... с каким интересом читал в детстве! можете и теперь достать эту книжку на Апраксином рынке»[36].

В воскресенье, Великим постом, — обед у Гаршиных. Живут они уже не в той хорошей светлой квартире на Песках, а на высоте, у самого царствия небесного, на Невском, в доме Бенардаки, во дворе, в низеньких тесных комнатах. <...> К вечеру встащился на верхотуру поэт Я. П. Полонский с костылем в руках, довольно бодрый и моложавый для своих лет; как пришел, так и опустился сейчас же в кресло у стола и закурил сигару, а Вс.<еволод> М.<ихайлович>, стоя перед поэтом сбоку, стал жалобно докладывать старцу: «Меня запрещают,

Яков Петрович». Запретили выход отдельным изданием напечатанной в «Русской мысли» «Сказки о гордом Аггее»[37]. <...> По поводу запрещения «Сказки» Вс.<еволод> М.<ихайлович> ходил в цензуру и беседовал там с важным каким-то чиновником; он подробно потом об этом рассказывал. Чиновник, с которым писатель искусно избежал рукопожатия (так не любил он этих господ!), любезно и обстоятельно объяснил Вс.<еволоду> М.<ихайловичу> причину запрещения отдельного издания сказочной аллегории. <...>

Ничего путного не сказал Я.<ков> П.<етрович> на жалобы Вс.<еволода> М.<ихайловича>. Вообще добрый и значительный человек, поэт производил какое-то неопределенное впечатление: не то он слушал, не то говорил; не то соглашался, не то возражал. Его называли товарищем министра, потому что он был близок с Вышнеградским[38]; был он хорошо знаком и со многими другими высокопоставленными лицами, которым, по своей неопределенности, был очень удобен. В это время Гаршины делали для Полонского хорошее дело. Ек.<атерина> Ст.<епановна> распространяла полное собрание его сочинений <...>. Евг.<ений> М.<ихайлович> разъяснял педагогические элементы в стихах Полонского. <...>

* * *

<...> Писатель, очевидно, начинал тогда <в 1887 г. — *Г. С.*> тяготиться своей обычной средой, чувствовал ее мелочность и односторонность; его неудержимо влекло к серьезным, образованным людям, к крупным талантам, к ученым специалистам. Заседая тогда в комитете Литературного фонда вместе с Пыпиным и Сергеевичем[39], Гаршин внимательно прислушивался к их речам и потом передавал эти речи в точности своим приятелям. Между тем Пыпин, когда я заговорил с ним о Гаршине, отмахнулся рукой и, морщась, произнес: «Совсем, совсем больной человек!» <...>

Через несколько дней, в воскресенье, приехал писатель с супругою в Лесной обедать, приехал бледный, осунувшийся и как бы с следами слез на лице: несколько бессонных мучительных ночей изменили его до неузнаваемости. Как вошел в комнаты, так сейчас же и заявил, чтобы его извинили, чтобы не обращали на него никакого внимания. Не глядя ни на кого, писатель сел в угол и стал просматривать альбомы; но за обедом, когда все уселись за небольшим столом в тесной столо-

вой, Вс.<еволод> М.<ихайлович> разговорился, однако говорил серьезно, не улыбаясь, — пропала его обычная мягкая шутка. В нем была симпатичность грусти, поэзия болезненности: благородная его натура сказывалась и в этом печальном его состоянии. Как нарочно, беседа касалась неприятных для писателя тем. Заговорили о том, что «Отечественные записки» очень мало платили сотрудникам, брали доходы с издания себе в карман. Вс.<еволод> М.<ихайлович> скромно пояснил, что это не совсем верно: платили вообще не мало..., а некоторым писателям даже помогали, выдавали месячное жалованье. Мой брат, А. П., бывший рядовой Несвижского гренадерского полка, <...> с увлечением читавший военнные рассказы Гаршина, заговорил было с писателем о выведенном в одном его рассказе педантичном немце-офицере[40]. От этого разговора Вс.<еволод> М.<ихайлович> сейчас же отмахнулся, отстранился. Кто-то некстати заметил: «Ах, как хорошо пишет «Житель» (Дьяков) в «Новом времени!»[41]. Тут Вс.<еволод> М.<ихайлович> вышел из себя: «Да нет же... холодно, несправедливо, нехорошо пишет! да и сам этот «Житель» какой-то ужасный на вид!» <...>

Необходимо было бы ему <Гаршину> провести это лето на хорошей даче, среди любимой им сельской природы; но вместо того пришлось молодым супругам перебираться на лето в самую неприятную окраину Петрограда, к Нарвской заставе, в мрачное казенное здание таможни, в пустую летом квартиру дядюшки Надежды Михайловны. Оттуда приходилось В.<северолоду> М.<ихайловичу> добираться до службы по многим конкам.

Явившимся навестить писателя в его таможенном уединении гостям В.<северолод> М.<ихайлович> предстал посреди заросшего травою обширного таможенного двора, в блузе без пояса, с непокрытой головой, взъерошенный и с растерянным каким-то видом; пожаловался на нездоровье, на мучительные бессонные ночи... Жарким летом, в этой непривлекательной прозаической фабрично-заводской местности, в мрачном и пустом казенном здании, право, и на вполне здорового человека напало бы тяжкое уныние. Писатель обратил внимание гостей на проложенный по двору в траве рельсовый путь, причем подробно объяснил скрепу рельсов. Этими сведениями нужно было ему запастись для рассказа «Сигнал», который, увы, не имел успеха среди технической молодежи, для которой предназначался[42].

Пока в доме приготовляли чай, мы поместились в стороне,

в углублении двора, на траве. Пахло дымом; слышны были со всех сторон и звонки конки, и грохот ломовиков, и свистки паровозов, и стук паровой машины. <...>

За чаем в монументальной и мрачной столовой А. П. С.<околов> заметил, что, пожалуй, темы беллетристических произведений почти все уже исчерпаны. По этому поводу В.<севолод> М.<ихайлович>, сидевший спиною к окнам, против огромного буфета, вдался в историко-литературные соображения и вполне логично и красиво пояснил, что Тургенев и Толстой писали о том же, о чем писали за тысячу лет до них: темы одни и те же, как одна и та же человеческая природа; но они никак не могут быть исчерпаны: каждая эпоха дает им свое содержание, свою физиономию, сообразно бесконечно разнообразным проявлениям и видоизменениям человеческой личности.

От этого посещения получилось у нас такое впечатление, что писатель не похож на самого себя; что он утомлен, измучен, чувствует упадок духа, но мыслит серьезно, умно и здраво.

Как хорошо налаживалась жизнь Гаршиных, но, увы! зима 1887—88 гг. была для них роковой. Вс.<еволод> М.<ихайлович> поправился к зиме, но не совсем: он уже был не тот здоровый, цветущий, жизнерадостный, полный надежды на светлое будущее: он серьезен, грустен, исчезла его веселость, его красиво-благодушное настроение, всегда радовавшее, одушевлявшее всех его окружавших.

Он продолжал служить и вести общественную жизнь; обдумывает свои будущие серьезные произведения; горячо приветствует появление нового литературного светила [43], блестящее начало нового, буднично-обывательского периода русской литературы. <...> [44]

Еще более тесная, еще более мрачная квартира на пятом этаже; изредка по воскресеньям собираются гости обедать. Придя раз довольно рано, я застал писателя за его переплетной забавой, посреди бумажных обрезков, стружек и разного хлама, с инструментами в руках. Поговорили мы с ним, до прихода других гостей, довольно невесело и неинтересно о своих службах. За обедом был Фаусек, первый друг писателя, но держал себя довольно гордо, очевидно, под влиянием успехов; говорил остроумно, лощено-либеральными фразами и к гостям Вс.<еволода> М.<ихайловича> относился невнимательно, как бы свысока. <...>

По-видимому, жизнь должна бы все-таки устроиться к лучшему: две родные семьи породнились[45], но от этого, вследствие общей семейной нервности Гаршиных, психическое состояние Вс.<еволода> М.<ихайловича> значительно ухудшилось. Тут совсем и пошатнулось его здоровье.

Быть может, Ек.<атерина> Ст.<епановна> обнаружила в это время тяжелые стороны своего характера. Она была человек уже пожилой и больной, испытала много несчастий в жизни, в течение многих лет несла всю тяжесть крупных и мелких забот бедной семейной жизни. Матушкой руководило горячее чувство любви к своему Всеволоду, досада, страдание за него, ревнивое материнское чувство. Едва ли какие-нибудь жены были бы, в ее глазах, достойны ее сыновей... разве какие-нибудь идеальные красавицы из самых высших сфер. У ней вырвалось письмо, которое очень опечалило Вс.<еволода> М.<ихайловича>: пришлось ему расстаться с матушкой и с братом, с которыми связывали его с малолетства чувства глубокого уважения, родства, любви и дружбы. Теперь уж больному писателю нельзя было заходить к своим, поделиться и горем, и радостями, и чувствами, и намерениями, что составляло для него всегда большое утешение и отраду.

Перед Всеволодом сразу раскрылось теперь и его собственное печальное положение. Его поставили на высокий пьедестал, от него ждали многого; но после «Надежды Николаевны» смог он написать лишь две маленькие незначительные вещицы: «Аггея» и «Сигнал»; не было у него ни способностей, ни материалов к обширному объективному творчеству.

<...> Писатель неизменно пользовался чрезвычайным уважением и сочувствием окружающих; но все окружающее окрасилось для него теперь в темный цвет. Время было тяжелое, тусклое, душное; время канцелярского карьеризма и формализма, когда из всякого живого дела старались по возможности изгнать живую душу... Статьи тогдашних либеральных газет и журналов походили на образцовые канцелярские записки. <...> Под прикрытием канцеляризма и формализма развивались всякие безобразия и взяточничество, которое потом так блистательно обнаружилось. Строго говоря, в таком обществе не было места для Всеволодов Гаршиных... Недаром он так страстно ухватился за Льва Толстого, который был совершенно чужд канцеляризма и формализма и бесцеремонно посылал к черту многие житейские условности и благоприличия и даже, к великой досаде дам, переодевался в мужицкий костюм.

Прежде Гаршин все неприятное, злое и нехорошее видел в людях консервативного образа мыслей. Так, слушая раз игру Рубинштейна у Полонского, он имел неудовольствие поместиться против одного важного цензурного чина, обладавшего, к своему несчастью, неласковый, некрасивой физиономией. Вс.<еволод> М.<ихайлович> внимательно рассматривал чиновника и возмущался до глубины души тем, что вот такая старая, некрасивая, консервативная штука сидит вблизи Рубинштейна и в кругу благороднейших людей наслаждается музыкой! Под влиянием сильного впечатления — уже не от игры Рубинштейна, а от чиновничьей физиономии — Вс.<еволод> М.<ихайлович> имел в виду эту ни в чем неповинную, некрасивую особу, когда писал жабу в одном своем аллегорическом рассказе и сопоставлял ее с розой, т. е. с Антоном Рубинштейном.

Об этой розе и об этой жабе любила всем рассказывать Екатерина Степановна; рассказ об этой параллели чрезвычайно всем понравился и распространился в кругу знакомых Гаршиных и потом попал даже в печать[46]. Теперь Вс.<еволод> М.<ихайлович> видел много подобных жаб повсюду и даже в близкой ему среде...

<...> вскоре состояние его здоровья так ухудшилось, так он изнемог, что уже не в силах был исполнять своего простого канцелярского дела. Перспектива остаться без всяких средств к жизни, на попечении супруги, так его страшила, что он долго боролся с очевидностью и продолжал ходить на службу и плакал горько за канцелярским столом, чувствуя полную неспособность что-либо делать.

А тут еще вышел печальный случай, переполнивший сумму тяжелых впечатлений писателя. Где тонко, там и рвется! Возвращаясь из гостей поздно вечером, супруги Гаршины сделались свидетелями, как на углу Невского и Владимирской, по мановению полицейского агента, лишали всех человеческих прав гражданку российскую... И ранее Гаршины наскочили однажды на такую же сцену на улице Малой Итальянской.

В центре столицы, на самом людном перекрестке главных улиц, среди оживленного уличного движения, на виду у всей почтеннейшей публики, сажали хорошо одетую, красивую женщину на извозчика и колотили, при радостном гоготании дикой и пьяной толпы. Многие либеральнейшие люди такие сцены видели и спешили от них без оглядки, не желая вмешиваться в «грязное дело», дабы не повредить своей репутации; ни у кого не было охоты протестовать «вопить к начальству». Тог-

дашние газеты, надо полагать, из чувства стыдливости, не заикались о подобных безобразиях.

Больной, беспомощный писатель остался верен своему гуманизму, своему страданию за поруганную человеческую личность, которые мучили его всю жизнь; супруга вполне ему сочувствовала, и оба они, не колеблясь, вмешались в уличную трагедию и в сопровождении городовых, сыщиков, хулиганов, «свидетелей» отправились в участок. Гаршиных занимал вопрос, какое имели право так набрасываться, не зная даже, кто она такая, на женщину, которая мирно шла по улице, никого не трогая? Пришлось потом супругам явиться к мировому судье в качестве обвиняемых, и Надежда Михайловна была приговорена даже к маленькому штрафу. Всякое столкновение с полицией производит на русского интеллигента тягостное впечатление, и, само собой разумеется, этот случай крайне печально отразился на больном писателе; тяжело он подействовал и на его супругу. Своему заступничеству за гражданку российскую Гаршины не встретили сочувствия в своей либеральнейшей среде, потому что они были добрее и выше своей среды, которая, по-видимому, отчасти разделяла вкусы гоготавшей толпы. <...>

<...> Не помню, чтобы приходилось слышать от В.<севолода> М.<ихайловича> упоминания о религии, о церкви и чтобы он вел знакомство с духовными лицами, — и в этом отношении он был, к своему несчастию, сыном своего печального поколения, своего печального времени.

Февральский вечер <18> 88 г. Квартирка хуже прежних, по Дмитровскому пер., во дворе, в самом верхнем этаже, с крутой грязной лестницей и низким потолком, с беспокойными соседями и звуками пианино за тонкой дощатой перегородкой. <...>

Вс.<еволод> М.<ихайлович> в серой суконной блузе без пояса, с унылым и как бы заплаканным лицом, не могущий ни служить, ни писать, грустно, нерешительно ходит по комнатам, жалуется на мучительные, бессонные ночи, на неудобства квартиры, на беспокойство от соседей. Гости (приходя к Гаршиным, всегда я заставал у них гостей): плотный благодушный старик, известный педагог, автор многих учебников, любимый и уважаемый гимназический учитель Гаршина[47]. В стороне, в кресле, сидит совершенно прямо и держит перед

собою раскрытую книгу сухощавый блондин с желтым лицом, в темных очках, изредка обращаясь к Вс.<еволоду М.<ихайловичу>: «Гаршин, слушай»... «Гаршин, ты знаешь»...

Об этом господине нередко упоминала Екатерина Степановна с почтением, называя его другом Всеволода. Произвел он на меня сурово-серьезное, резкое впечатление и показался мне не из таких, которые могут кого-либо утешить в горе.

За чаем в маленькой комнате, сидя на диване, Вс.<еволод> М.<ихайлович> говорил как-то грустно и вяло, но вполне благоразумно. — «Что вы не женитесь? — сказала мне, шутя, Надежда Михайловна. — Двум поленьям легче гореть!»

— Ну, а весело им гореть, ты бы их когда спросила? — серьезно отозвался Всеволод Михайлович. <...>

Писатель имел в этот вечер вид утомленный и очень грустный, вид человека, совершенно опустившего руки; но он совсем не производил впечатления человека психически расстроенного и, очевидно, выходил один на улицу, так как обещал непременно меня навестись, а я жил тогда неподалеку, в Троицком переулке.

Однако в душе Всеволода Михайловича творилось нечто такое, о чем не вполне догадывались его близкие; да и не могли вполне догадаться, потому что он был невероятно скрытен в этом отношении. В ранней молодости, с самым жизнерадостным видом водя за собой целые караваны молодых людей на прогулки по окрестностям Харькова, Вс.<еволод> М.<ихайлович> писал самые отчаянные письма одному своему приятелю, письма, очень удивившие потом первого друга Гаршина, Ф.<аусека>, также участвовавшего в этих прогулках и видевшего постоянную веселость Всеволода [48].

То ужасное, что творилось в душе Вс.<еволода> М.<ихайловича>, заглушало в нем даже жалость к горячо любимой им супруге: он ведь отлично понимал, каким страшным для нее горем будет его кончина. Но столько тяжелых он получал от жизни впечатлений, такие тяжелые настроения его посещали, так его мучили бессонные ночи... так он страшился той минуты, когда вот признают его больным и начнут им распоряжаться, и лечить его, и куда-нибудь ради сего его поместят... что он убедился, наконец, в полной невозможности жить. Разбившись насмерть, терпя страшные физические муки, он жаловался лишь на душевные страдания и высказывал трогательную жалость к покидаемой супруге; и рассудка не потерял, говорил не как безумный.

При другой обстановке жизни писатель был бы спасен. Ну где же было бедной Надежде Михайловне, при отсутствии средств, в таком жалком помещении, справиться с таким трудным больным; как могла она предусмотреть и достать все необходимое в его болезни?

О таких замечательных и вместе таких хрупких, нежных и нервных людях должна быть серьезная общественная забота, должно быть серьезное попечение, которое не заключало бы в себе, по существу, ничего благотворительного и филантропического. Этою заботой, этим попечением общество, и за себя и за последующие поколения, отдавало бы исключительно талантливым людям, своим выдающимся деятелям и учителям, лишь малую долю своего им долга. А мы, друзья и знакомые Гаршиных, наслаждавшиеся и сочинениями, и обществом, и беседою Всеволода Михайловича, увы, не нашлись, не сумели помочь дорогому писателю в трагические моменты его жизни!..

20 марта 1888 г. Серый, сырой, печальный денек ранней петроградской весны. Отпевание на Волковом кладбище; в церкви много всякого народу, много литераторов. Неподвижная, словно каменная, стоит у гроба Надежда Михайловна, убитая горем, с устремленными на умершего супруга глазами. На могиле литераторы говорят чувствительные речи... <...>

О Всеволоде Гаршине появилось в печати много хвалебных воспоминаний его родных, друзей и знакомых и, таким образом, появилось много «иконописных» изображений писателя, рисующих нечто «прекрасное, мудрое, доброе» и тому подобное. Надо сказать, что писатель, со всеми своими человеческими слабостями и недостатками, постоит за себя и в наших расхваливаниях, в наших умилениях совсем не нуждается.

Сам он строго относился к людям и не пропускал без внимания их слабостей и дурных качеств. Было у него немало друзей, но мало кто ему вполне нравился. Если Гаршин был со всеми учтив и любезен, если он всех так к себе привлек, всем так нравился, если было тепло около него даже и тем, к кому он в душе относился отрицательно, то причиною этому были его благовоспитанность, его любовь и уважение к человеческой личности вообще.

И. Е. Репин

Выдающийся художник-реалист Илья Ефимович Репин (1844—1930) был знаком с Гаршиным с 1882 года. Постепенно это знакомство перешло в дружбу. «Я очень сошелся за это лето с Ильею Ефимовичем и рад этому. Такое прекрасное существо он <...>», — писал Гаршин матери в 1884 году. (*Гаршин В. М.* Письма, с. 336). «Как человек он мне нравится не меньше, чем как художник. Такое милое, простое, доброе и умное создание божие этот Илья Ефимович, и к этому еще <...> сильный характер, при видимой мягкости и даже нежности. Не говорю о том, как привлекателен уже самый талант его», — сообщал Гаршин в том же году В. М. Латкину (там же). Писатель оставил в своих письмах высокую оценку репинского творчества: «Царевна Софья», по-моему, первоклассное произведение» (там же, с. 178); «У меня нет похвалы для этой картины <«Иван Грозный». — Г. С.>, которая была бы ее достойна» (там же, с. 353). (Подробнее об отношениях художника и писателя см.: *Дурылин С. Н.* Репин и Гаршин (Из истории русской живописи и литературы). М., 1926, с. 45—47, 51—52, 65—68).

Воспоминания Репина относятся к последним, наиболее напряженным и сложным годам жизни Гаршина. В них раскрывается тонкая душевная организация писателя и его неповторимый нравственный облик. Как художник, Репин дает точную и психологически насыщенную портретную зарисовку Гаршина. Несомненный интерес представляет сообщение Репина о художественных сеансах с участием Гаршина, о его работе над портретом писателя. Автор воспоминаний приводит интересные объяснения Гаршина по поводу отсутствия крупных жанров в его творчестве; воссоздает атмосферу споров вокруг Чехова, «еще совсем неизвестного, нового явления в литературе», и позиции в этом споре Гаршина, отстаивавшего «красоты Чехова», его «поэзию». Читателей привлечет и сообщение Репина о тяжелой семейной драме (разрыве с матерью), ускорившей трагический финал.

В. М. ГАРШИН

<из книги «Далекое близкое»>

С первого же знакомства моего с В. М. Гаршиным, — кажется, в зале Павловой [1], где его сопровождало несколько человек молодежи, курсисток и студентов, — я затлелся особен-

ною нежностью к нему. Мне хотелось его и усадить поудобнее, чтобы он не зашибся, и чтобы его как-нибудь не задели. Гаршин был симпатичен и красив, как милая, добрая девица-красавица.

Почти с первого же взгляда на Гаршина мне захотелось писать с него портрет, но осуществилось это намерение позже[2]. Я жил у Калинкина моста, а Гаршин — у родственников своей жены в Сухопутной таможне на Петергофском проспекте, в прекрасном казенном помещении.

На пароходике по Фонтанке Гаршин проезжал огромные пространства в какое-то учреждение на Песках, где чем-то служил, чтобы отвлекать себя от творческой работы, которая его — он этого боялся — истощала до того, что он не на шутку опасался психического расстройства[3]. Об этом он говорил как человек, поглотивший множество медицинских книг, разыскивая в них описания болезней, похожих на его собственную.

Когда Гаршин входил ко мне, я чувствовал это всегда еще до его звонка. А входил он бесшумно и всегда вносил с собою тихий восторг, словно бесплотный ангел.

Гаршинские глаза, особенной красоты, полные серьезной стыдливости, часто заволакивались таинственною слезою. Иногда Гаршин вздыхал и спешил сейчас же отвлечь ваше внимание, рассказывая какой-нибудь ничтожный случай или припоминая чье-нибудь смешное выражение. И это выходило у него так выразительно смешно, что, даже оставшись один на другой или на третий день и вспоминая его рассказ, я долго смеялся.

Во время сеансов, когда не требовалось особенно строгого сидения неподвижно, я часто просил Всеволода Михайловича читать вслух. Книги он всегда имел при себе: долгие пути на финляндских пароходиках приучили его употреблять время с пользою. Читал Гаршин массу, поглощая все, и с такою быстротою произносил слова, что я первое время, пока не привык, не мог уловить мелькавших, как обильные пушинки снега, страниц его тихого чтения. Но читал он охотно и кротко перечитывал непонятное место вновь.

— Всеволод Михайлович, — сказал я однажды фразу, которая тогда не сходила с языка каждого интеллигента и скрипела на бумаге у писавших о прелестных гаршинских рассказах, — Всеволод Михайлович, отчего вы не напишете большого романа, чтобы составить себе славу крупного писателя?

Я сейчас же почувствовал грубость своего вопроса и пожа-

лел, что некому было дернуть меня за полу вовремя, но Гаршин не обиделся.

— Видите ли, Илья Ефимович, — сказал ангельски кротко Гаршин, — есть в Библии «Книга пророка Аггея» [4]. Эта книга занимает всего вот этакую страничку! И это есть *книга!* А есть многочисленные томы, написанные опытными писателями, которые не могут носить почтенного названия «книги», и имена их быстро забываются, даже несмотря на их успех при появлении на свет. Мой идеал — Аггей... И если бы вы только видели, какой огромный ворох макулатуры я вычеркиваю из своих сочинений! Самая огромная работа у меня — удалить то, что не нужно. И я проделываю это над каждой своей вещью по нескольку раз, пока, наконец, покажется она мне без ненужного балласта, мешающего художественному впечатлению...

Летом 1884 года я оставался для большой работы в городе [5]. После сеанса я провожал Гаршина через Калинкин мост до его квартиры и заходил на минутку к родным его жены. Там, в уютной обстановке, за зелеными трельяжами, все играли в винт. Большие окна казенной квартиры были открыты настежь. Стояли теплые белые ночи. Гаршин шел провожать меня до Калинкина моста, но я долго не мог расстатья с ним, увлеченный каким-то спором. Мы проходили Петергофский проспект по нескольку раз туда и назад.

Я забыл теперь, в чьей квартире, кажется, у какого-то художника, мы частенько встречались со Всеволодом Михайловичем [6]. Там он читал нам вслух только что появившуюся тогда, я сказал бы, «сюиту» Чехова «Степь». Чехов был еще совсем неизвестное, новое явление в литературе. Большинство слушателей — и я в том числе — нападали на Чехова и на его новую тогда манеру писать «бессюжетные» и «бессодержательные» вещи... Тогда еще тургеневскими канонами жили наши литераторы.

— Что это: ни цельности, ни идеи во всем этом! — говорили мы, критикуя Чехова.

Гаршин со слезами в своем симпатичном голосе отстаивал красоты Чехова, говорил, что таких перлов языка, жизни, непосредственности еще не было в русской литературе. Надо было видеть, как он восхищался техникой, красотой и особенно поэзией этого восходящего тогда нового светила русской литературы. Как он смаковал и перечитывал все чеховские коротенькие рассказы!.. [7]

В. М. Гаршин был необыкновенно правдив. Я не слыхал от него даже невинной лжи. <...>

В последний раз я встретил Гаршина за неделю до катастрофы в Гостином дворе. Мне захотелось побродить с ним. Он был особенно грустен, убит и расстроен. Чтобы отвлечь мой упорный взгляд, обращенный на него, Гаршин сначала пытался шутить, затем стал вздыхать, и страдание, глубокое страдание изобразилось на его красивом, но сильно потемневшем за это время лице.

— Что с вами, дорогой Всеволод Михайлович, — сорвалось у меня, и я увидел, что он не мог сдержать слез... Он ими захлебнулся и, отвернувшись, платком приводил в порядок лицо.

— ...Ведь главное, нет, нет, этого даже я в своих мыслях повторить не могу. Как она оскорбила Надежду Михайловну! О, да вы еще не знаете и никогда не узнаете... Ведь она прокляла меня!

Как потерянный слушал я эти слова, ничего не понимая в них. И здесь уже, признаюсь, я был благоразумен, я не расспрашивал: ни — о ком он говорил, ни — о чем [8].

Бродили мы часа два, все больше молча. Потом Гаршин вспомнил, что ему очень необходимо поспешить по делу, и мы расстались... навеки...

«Без него нам стыдно жить!..» — заключил Минский свое стихотворение [9] на свежей могиле В. М. Гаршина.

В КРУГУ ЛИТЕРАТОРОВ

Н. Н. Златовратский

Писатель-народник Николай Николаевич Златовратский (1845—1911) познакомился с Гаршиным в 1879 году, накануне открытия «Русского богатства». Златовратский как редактор формировал вокруг журнала литературные силы. К этому времени он печатался в ряде журналов и газет, но преимущественно — в руководимых Щедриным «Отечественных записках», где в 1874—1875 годы был опубликован его очерковый роман «Крестьяне — присяжные». Программное произведение Златовратского «Устои» посвящено жизни пореформенной деревни (печаталось в «Отечественных записках» с 1878 по 1883 год). Отношения Златовратского и Гаршина носили в основном деловой характер и определялись главным образом вопросами, связанными с публикацией гаршинских произведений в журнале «Русское богатство» (здесь были напечатаны рассказы «Attalea princeps» и «Люди и война» («Денщик и офицер»). Во всяком случае, в памяти Златовратского запечатлелась лишь одна неофициальная встреча с Гаршиным накануне его визита к Лорис-Меликову в связи с готовящейся казнью И. Млодецкого (см.: *Златовратский Н. Н.* Воспоминания. М., 1956, с. 314—316). Отрывок из публикуемых в сборнике «Литературных воспоминаний» Златовратского посвящен истории «вхождения» Гаршина в «артельное» «Русское богатство». Самым интересным здесь представляется воспроизведение щедринской реакции на рассказ «Attalea princeps», не принятый сатириком в «Отечественные записки», по-видимому, из-за настроения разочарования и безнадежности, которое ему слышалось в финале. Несмотря на непродолжительность общения, для Гаршина небезразлична была литературная судьба Златовратского. Перечисляя в письме к матери (от 21 июля 1884 года) имена писателей, книги которых «должны быть изъяты из публичных библиотек», он, среди прочих, упоминает и Златовратского, с горечью добавляя: «Скоро, вероятно, вообще запретят всякую литературу» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 333).

ТУРГЕНЕВ, САЛТЫКОВ И ГАРШИН

<из «Литературных воспоминаний»>

Познакомился я с В. М. Гаршиным незадолго до выхода первой книжки нашего «артельного» журнала [1], куда он передал для напечатания свою «крохотную» рукопись, состоявшую всего из двух-трех четвертинок бумаги, исписанных мелким,

«бисерным» почерком и заключавших в себе его известный рассказ «Attalea princeps». <...> Эта «Attalea princeps» послужила, между прочим, поводом для одного очень характерного инцидента, о котором очень стоит здесь упомянуть.

В то время в «Отечественных записках» существовало два приемных дня в редакции: один — официально редакционный, по понедельникам, днем, когда собиралась вся редакция в полном составе, с М. Е. Салтыковым во главе <...>. Для общения же сотрудников между собою и с редакторами существовали такие журфиксы в квартире Г. З. Елисеева <...>. На одном-то из таких вечеров я и познакомился с Гаршиным. Известно, какой это был мягкий, нежный, необыкновенно деликатный и застенчивый человек, застенчивый больше от своей необыкновенной нервности. Зашел разговор о нашем новом журнале; я напомнил ему об обещании дать что-нибудь для первой книжки.

— Я, конечно, очень, очень рад был бы, если бы мог, — сказал Гаршин. — Только... я... видите... пишу мало... Все у меня не выходит... Вот попробовал... новенькую написать.

— Ну, вот и дайте...

— Да нет... видите ли... Ничего не вышло... Говорят, плохо... Не приняли... возвратили назад... — смущенно говорил Гаршин.

— Кто не принял?

— «Отечественные записки»... Салтыков... Да это верно!.. Я теперь сам вижу... Не следовало отдавать...

— Все же вы дайте нам.

— Да как же?.. как-то неловко...

— Ну, однако... дайте нам прочесть хотя...

— Хорошо... Как хотите... Я только еще посмотрю ее... может быть, исправлю.

Немного спустя «Attalea» появилась в первой книжке нового журнала [2]. <...>

<...> представлять ему <Салтыкову — *Г. С.*> это новорожденное детище <ж. «Русское богатство». — Г. С.> жребий пал на меня. <...>

— <...> Ну, показывайте, что у вас там, — проговорил он, начиная просматривать оглавление.

Я не спускал глаз с него. Вдруг по его лицу пробежала судорога; он сердито закряхтел...

— Гм... Гм... Это вы зачем же «Атталею»-то приняли?.. Это... значит... я, по-вашему, преступление сделал, что не поместил ее? А? Значит, мол, старик из ума выжил, чутье, мол,

потерял... так, что ли? — вдруг загремел он, по-видимому, действительно огорченный.

— Вы напрасно это так принимаете к сердцу, Михаил Евграфович, — говорил я, — мы решительно не думаем, чтобы эта невинная в сущности вещица могла вызвать какое-либо между нами и вами недоразумение... Написана она очень талантливо, греха в ней особого мы не видим, и для маленького журнала эта маленькая сказочка кажется вполне уместной... Другое дело — для «Отечественных записок» ...

— Талантлива! Греха не видим! — заворчал опять старик. — А по-моему, это... по-моему, это — черт знает что такое! Талантлива!..

— Мне кажется, Михаил Евграфович, — говорил я, — что вы напрасно увидали в ней то, чего она не заключает в себе, вам показалось, быть может, что автор что-то проповедует...

— Да, конечно, проповедует... Фатализм проповедует... вот что-с! Самый беспощадный фатализм... губящий всякую энергию... всякий светлый взгляд на будущее...[3] Ведь с таким фатализмом — куда же дальше идти? Ну, говорите...

— Михаил Евграфович, не найдете ли вы, что на этот рассказ можно смотреть с другой стороны, которую, как кажется, автор именно и имел в виду... В сущности, чего же иного, как не безнадежного отчаяния, и можно было ожидать от хрупкого, оранжерейного существа, неожиданно заглянувшего в иной мир для жизни и борьбы, в котором вырастают и воспитываются иные силы?.. Я уверен, что именно так думал и чувствовал сам автор...

— Ну что ж, как хотите, — заговорил старик уже другим тоном. — Хотите так смотреть — смотрите... Может быть, я и ошибся... Устарел уж... Пора мне и на смену из редакторов.

5 Заказ 3103

И. Л. Толстой

Илья Львович Толстой (1866—1933) — сын Л. Н. Толстого, писатель, мемуарист, переводчик, пропагандист творчества отца. Его воспоминания о Гаршине, вошедшие в книгу «Мои воспоминания» (1914), рисуют лишь один эпизод из жизни писателя — свидание с Львом Николаевичем Толстым весной 1880 года, когда Гаршин, будучи уже душевно больным, странствовал по России. Об этом периоде жизни Гаршина его биограф Я. В. Абрамов писал, что, путешествуя по Тульской и Орловской губерниям, он «что-то проповедовал крестьянам, жил некоторое время у матери известного критика Писарева, попал в Ясную Поляну, имение гр. Льва Толстого, ставил последнему какие-то мучившие его вопросы» (Памяти Гаршина. СПб., 1889, с. 36). Ценность воспоминаний Ильи Толстого о Гаршине — в непосредственности детского восприятия, в верной передаче характерных бытовых деталей этого свидания.

ГАРШИН

<из «Моих воспоминаний»>

Мои воспоминания о Всеволоде Михайловиче Гаршине относятся к периоду моего детства... Он посетил Ясную Поляну ранней весной 1880 года [1]...

Мы сидели в зале за большим столом и кончали обед. Подавая последнее блюдо, лакей Сергей Петрович доложил отцу, что внизу его дожидается какой-то «мужчина».

— Что ему надо? — спросил папа.

— Он ничего не сказал, хочет вас видеть.

— Хорошо, я сейчас приду.

Не доев пирожного, папа встал из-за стола и пошел вниз по лестнице. Мы, дети, тоже повскакали со своих мест и побежали за ним.

В передней стоит молодой человек, довольно бедно одетый и не снимая пальто. Папа здоровается с ним и спрашивает:

— Что вам угодно?

— Прежде всего, мне угодно рюмку водки и хвост селед-

ки, — говорит человек, глядя в глаза отца смелым лучистым взглядом, наивно улыбаясь.

Никак не ожидавший такого ответа, папа в первую минуту как будто даже растерялся. Что за странность? Человек трезвый, скромный на вид, по-видимому, интеллигентный, что за дикое знакомство?

Он взглянул на него еще раз своим глубоким пронизывающим взглядом, еще раз встретился с ним глазами и широко улыбнулся. Улыбнулся и Гаршин, как ребенок, который только что наивно подшутил и смотрит в глаза матери, чтобы узнать, понравилась ли его шутка. И шутка понравилась. Нет, конечно, не шутка, а понравились глаза этого ребенка, светлые, лучистые и глубокие.

Во взгляде этого человека было столько прямоты и одухотворенности, вместе с тем столько чистой, детской доброты, что, встретив его, нельзя было им не заинтересоваться и не пригреть его. Вероятно, это же почувствовал и Лев Николаевич. Сказав Сергею подать водки и какой-нибудь закуски, он отворил дверь в кабинет и попросил Гаршина снять пальто и войти.

— Вы, верно, озябли, — ласково сказал он, внимательно вглядываясь в гостя.

— Не знаю, кажется немножко озяб, ехал долго.

Выпив рюмку водки и закусив, Гаршин назвал свою фамилию и сказал, что он «немножко» писатель.

— А что вы написали?

— «Четыре дня». Этот рассказ был напечатан в «Отечественных записках» [2]. Вы, верно, не обратили на него внимания.

— Как же, помню, помню. Так это вы написали? Прекрасный рассказ. Как же, я даже очень обратил на него внимание. Вот как, стало быть, вы были на войне?

— Да, я провел всю кампанию.

— Воображаю, сколько вы видели интересного. Ну, расскажите, расскажите, это очень интересно.

И отец стал расспрашивать Гаршина последовательно и подробно о том, что ему пришлось видеть и пережить.

Папа сидел рядом с ним на кожаном диване, а мы, дети, расположились вокруг.

Я, к сожалению, не помню точно этого разговора и не берусь его передать. Я помню только, что было очень и очень интересно... [3]

Я не помню, ночевал ли он в Ясной или уехал в этот же день... [4]

Н. А. Демчинский

Николай Александрович Демчинский (1851—1915) — родственник Н. Минского, малоизвестный публицист и драматург, в пору сближения с В. Гаршиным (осенью 1884 года) — инженер путей сообщения; по определению писателя, «серьезный, очень образованный человек» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 343).

Воспоминания свидетельствуют о приятельских отношениях молодого литератора с Гаршиным. Фрагмент одного из воспоминаний передает впечатление, которое произвела на Гаршина картина И. Е. Репина «Иван Грозный». Материал другой мемуарной заметки ценен конкретным изложением истории замысла и совместной работы над социально-нравственной драмой из современной жизни. В приложении к этим воспоминаниям Демчинский опубликовал написанные Гаршиным пять явлений второго и семь явлений четвертого действия («Журнал Театра Литературно-художественного общества», 1910, № 1, с. 19—24). Эти же части драмы были включены в Полное собрание сочинений В. М. Гаршина (СПб., 1910, с. 467—480).

В. М. ГАРШИН ПЕРЕД КАРТИНОЙ И. Е. РЕПИНА

Мы с Гаршиным были очень близки. Часто видались. Один из эпизодов, который я сейчас вспоминаю, произошел при следующих обстоятельствах.

На передвижной выставке была впервые выставлена картина Репина «Иоанн Грозный» [1]. Мы отправились вместе с Гаршиным на эту выставку, помещавшуюся на Невском проспекте, дом № 88. Целая анфилада маленьких комнат заканчивалась большим залом, в котором и находилась самая картина.

По собравшейся там толпе мы догадались, что там и есть картина Репина, и направились туда. Пока картина была видна через головы толпы, она не производила такого сильного впечатления, но по мере того, как толпа расходилась и мы приближались к картине, нижняя часть ее становилась все более и более видна. Когда, наконец, мы увидали лужу крови, Гар-

шин, как бы испугавшись, весь затрясся и, схватив меня под руку, дрожащим от волнения голосом проговорил:

— Зачем, зачем столько крови?..

Я его тотчас увел в другие комнаты. По его словам, он не спал всю последующую ночь. Но, видимо, что-то особое влекло его к этой крови, и он почти каждый день, идя на службу, заходил на несколько минут на выставку[2].

Художник для своей картины воспользовался лишь отчасти портретом Гаршина: он воспроизвел характерный рот и нос писателя[3].

Знакомство мое с Гаршиным началось еще в то время, когда у него не было еще большой литературной известности, и продолжалось вплоть до его трагической кончины. Однажды мы с Гаршиным совместно писали драму...

СЛАДКИЕ ГРЕЗЫ

Воспоминания о В. М. Гаршине.

Разбирая недавно свой архив рукописей, я нашел в беллетристическом отделе папку с надписью «драма». Здесь лежат черновые листы с подробно разработанным планом и сценарием драмы, которую мы писали совместно с покойным Всеволодом Гаршиным. Тут же лежали две тетрадки, «начисто» переписанные В. Гаршиным: 1) часть II действия и 2) все IV действие с письмом ко мне в стихах.

Нужно сказать, что Гаршин прекрасно владел стихом, и «подражания» у него выходили иногда превосходно, хотя бы и полным экспромтом. У меня было несколько таких его писем, и одно из них, написанное размером «Убогой и нарядной», было прямо-таки великолепно по глубине мысли и чувства. К сожалению, оно у меня не сохранилось; вскоре после смерти Гаршина его взяли от меня для «воспроизведения» в печати, и я его уже не мог получить обратно. Написано оно было вот при каких обстоятельствах.

Незадолго до второго острого периода болезни Гаршина он пришел ко мне и рассказал «план» задуманного им нового рассказа из мира «убогих и нарядных».

«Вот тут у меня большой пробел, — сказал Всеволод, — я не могу написать главной страницы, не перечувствовав ее душой. Сделай мне одолжение, пойдем со мною в какой-нибудь притон, но не туда, где танцуют, а где плачут. Мне нужна эта «плачущая душа».

По настроению и по глазам Гаршина я понимал, что встреча с «плачущей душой» уже опасна для него, и потому вечером мы пошли туда, где танцуют, т. е. в одно из Variété, где-то на Фонтанке, решив пригласить одну из «этих дам» с нами поужинать.

Всеволод нервничал ужасно; он бегал по залам, как бы пронизывая своими лихорадочными глазами толпящихся посетительниц, стараясь отыскать среди них плачущую душу.

«Вот эту пригласим, — сказал он мне. — Смотри на ее глаза... Она страдалица здесь, среди этого веселья».

Удалившись в укромный уголок, мы втроем просидели часа 2—3, и мне стоило больших усилий вырвать оттуда Гаршина. Он, как это и свойственно всем больным людям, что называется, «ковырял ногтем свои раны» и сам больше страдал, чем наша компаньонка, преисправно уничтожавшая какую-то «котлетку марешу». Но к концу нашей беседы он взвинтил-таки «Надежду Николаевну» настолько, что «душа» ее будто бы и проронила несколько слез.

«Какой подлый этот мир!.. Одни страдания, повсюду и во всех», — промолвил Гаршин, когда мы садились на извозчика.

Я доставил Всеволода до подъезда его квартиры (на Песках). Это было часа в 3 ночи, а на другой день, в 9 час. утра, швейцар передал мне письмо в стихах, о котором я говорил выше. Очевидно, Гаршин не спал всю ночь.

Я немного уклонился от главной моей темы. Но это вполне естественно. Всякий раз, когда я беру в руки дорогую для меня рукопись Гаршина, словно вихрем налетает целый рой воспоминаний об этом странном пришельце сюда из какого-то неведомого мира. И он, действительно, был «здесь» каким-то «случайным» гостем, «заплутавшимся» странником... В долгих наших беседах иногда прорывался в нем этот «пришелец», и тогда он говорил каким-то странным языком. Слова-то были те же, но созвучие их было совсем иное. Мысль его — можно было только «чувствовать»; в ней звучало что-то очень далекое, но родное; казалось, что когда-то, где-то я это уже слышал, но где?.. когда?.. <...>

— Давай разговаривать драмой,— вдруг, неожиданно для самого себя выпалил Гаршин.

— Что это значит?

— Да вот выберем какой-нибудь сюжет, обстановку, сценарий, а затем ты будешь говорить за одного, а я за другого. Что покажется хорошо, — запишем. Ну вот, хотя бы «Надеж-

да Николаевна»; разве это не драма? Сколько мы с тобою перестрадали за нее, сколько перечувствовали и все ведь пошло прахом, а если бы «хорошее» записали, оно не пропало бы.

После нескольких собеседований мы остановились на одной теме, которую давала нам сама жизнь. Один молодой техник в погоне за деньгами продал свою жену; все действующие лица были тогда еще живы и даже сама «наша» героиня, которая жива и до сих пор, как и полагается в этом «подлейшем из миров» (любимая тема «философии» Гаршина). Но он ни за что не хотел с этим помириться.

«Мы ее убьем, — говорил он с азартом. — Оставить ее жить — это чересчур тяжко для «души».

Когда все приготовления (план, сценарий и пр.) были окончены, начались наши «собеседования». Мы разговаривали за действующих лиц *.

Здесь я замечу, что, на мой взгляд, эта «система» писания пьес, вероятно, очень была бы полезна для большинства из них. Когда кто-нибудь другой «говорит» вслух, как бы играя роль, тогда слушающий тотчас замечает всякий фальшивый тон, преувеличение и прочие шероховатости, которые тут же и исправляются. Но есть здесь и свои тени. Оба разговаривающих должны быть, по меньшей мере, одинаково «здоровы».

В нашем случае этого последнего условия не было, и потому на всю драму легла густою вуалью больная в то время душа Гаршина. Я не мог совладать с этой больной душой, да, признаюсь откровенно, и не хотел ее насиловать, так как в этом совместном писании мне была дороже всего фигура самого Гаршина, чем кто бы то ни был из действующих лиц.

Осенью 1884 г. я решил переехать в Петербург, мы вместе с Гаршиным искали квартиру для меня и нашли ее <...>.

---

* В кратких словах содержание пьесы таково. Молодой техник Кудрешов бедствует в Москве, имея плохое место. На выручку является «переспевшая» красавица Бешенцова, жена начальника Кудрешова, которая увлекается молодым человеком и устраивает «продажу» жены Кудрешова хозяину предприятия фон-Зону, тоже любовнику Бешенцовой, которого она удерживает «при себе» устройством всяких амурных дел фон-Зона. Пропущенное в дальнейшем изложении III действие изображает вечеринку в доме Кудрешова, устроенную, конечно, на деньги барона. Вечеринка эта — как бы проводы хозяина дома на его новое место. И он уезжает, а жену его напаивают. Бешенцова так кончает этот акт, уезжая к себе домой: «Моя роль выполнена добросовестно... Она ваша... Ну, а о дальнейшем поговорим завтра. Bonnes chances, барон». (Барон подходит к кушетке, на которой лежит опьяневшая Кудрешова).— Занавес. <...> <Примеч. ред. журнала.— *Г. С.*>

«Собеседования» наши происходили по большинству на квартире матери Всеволода, которая жила тогда в Саперном переулке вместе с сыном своим Евгением Михайловичем.

Все четыре действия были написаны почти полностью, кроме конца второго и почти половины третьего действия.

В этих пропусках сказалось тоже настроение Гаршина. Третье действие (пьяная оргия) мы начали писать вместе, но, по мере назревания хмельного настроения и приближения развязки, Всеволод все больше и больше нервничал.

«Нет!.. Не могу!.. Я задыхаюсь... Кончи, пожалуйста, сам, а то я совсем захлебнусь в этом омуте».

Действующих лиц он называл не по именам, а всем дал свои прозвища. Так Бешенцову он всегда называл «подлюка» (смотри его письмо), Кудрешова — «негодяй» и т. п.

«Вот это я бы усилил. Нужно, чтобы подлюка вылила здесь всю свою мерзкую слюну на «развратника» (барон фон-Зон). Дай мне эту сцену, я ее напишу подлее».

И написанный нами конец 1 действия Гаршин взялся переделать, но в письме своем пишет, что все еще недоволен новыми вариантами.

Вскоре после того, как пьеса была написана вчерне, я уехал в Киев, чтобы перевезти семью в Петербург. По условленному плану, я должен был дописать третье действие (пьяный вечер) и, отделав окончательно 1 и 3 действие, послать их в Петербург, Гаршину. Он же должен был прислать мне совсем законченными 2 и 4 действия.

Условие это было выполнено не полностью. Я послал Всеволоду 1 и 3 действие, он же мне прислал собственноручно переписанными: 2-е действие — без конца и всё 4-е действие [1] <...>.

Сделать общую сводку всего написанного нам не удалось <...>, и драма осталась, так сказать, в «черновом виде» [2]. <...>

Ф. Ф. Фидлер

Федор Федорович Фидлер (1859—1917) — писатель, педагог и переводчик русских писателей на немецкий язык. Окончил Петербургский университет, жил и работал в России, имея значительные литературные связи с различными немецкими журналами, в которых помещал свои переводы. Издатель антологии русской поэзии «Der russische Parnass» (1-е изд. 1889; 2-е изд. 1901) и книги «Первые литературные шаги. Автобиографии современных писателей» (изд-во Сытина, 1911).

Фидлер познакомился с Гаршиным в 1883 году как будущий переводчик его рассказа «Красный цветок». Это знакомство перешло вскоре в прочную и глубокую дружбу. В своих письмах Гаршин неизменно тепло отзывался об этом «милом немце» (См. *Гаршин В. М.* Письма, с. 311, 315, 347 и др.). По просьбе писателя Фидлер переводил на немецкий язык стихотворения Надсона.

Воспоминания, достоверные не только в главном, но и в деталях, воссоздают историю знакомства, дружбы и деловых отношений Фидлера с Гаршиным, рисуют необычайно привлекательный облик писателя и человека — скромность, деликатность, доброжелательность, глубокую внутреннюю интеллигентность. В них охарактеризован широкий круг литературных связей Гаршина, воспроизведены его суждения о Надсоне, Минском, Случевском, Чехове, Флобере.

Из литературных событий, к которым был причастен и Гаршин, в воспоминании отмечается юбилей Я. Полонского и похороны Надсона. Несомненный интерес для биографов Гаршина представляют сведения Фидлера о переводах рассказов Гаршина («Attalea princeps», «Красный цветок», «Художники», «Ночь») на немецкий язык и его сообщение о чтении на квартире И. Ясинского вскоре после смерти писателя четвертого акта его «рукописной пьесы» «Деньги».

Вторая часть «Литературных силуэтов» посвящена С. Я. Надсону.

ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ ГАРШИН

<из «Литературных силуэтов»>

В пятницу 7-го октября 1883 г., будучи студентом Петербургского университета (специальностью моей была русская литература и германо-романский отдел историко-филологиче-

ского факультета), я слушал лекцию по англо-саксонской грамматике у ныне покойного, знаменитого профессора Александра Николаевича Веселовского. Рядом со мной сидел и скучал, очевидно не менее меня, Евгений Михайлович Гаршин, с которым я познакомился несколько ранее. Выходя из аудитории, он сообщил мне, что брат его, Всеволод, только что окончил новый рассказ «Красный цветок», имеющий появиться в «Отечественных записках» 15-го с.<его> м.<есяца> [1]. «Многие, которым брат читал этот рассказ, полагают, что это его шедевр. Не переведете ли его на немецкий язык?» — Я перевожу только стихами. К тому же я не имею чести знать лично вашего брата. — «Я вас познакомлю»... На следующий день я получил от Евгения Михайловича следующее письмо: «Брат предлагает вам взять у него рукопись и начать (а, пожалуй, и сделать) перевод до появления «Красного цветка» в «Отечественных записках». Брат очень рад будет с вами познакомиться и просит вас без чинов зайти к нему в это воскресенье (9-го октября), до часу он будет вас ждать». И вот в воскресенье, 9-го октября 1883 года, я отправился на Пески, на угол 9-й Рождественской и Дегтярной, д. 20/37, кв. 10. В передней меня встретил брюнет среднего роста, с грустно-задумчивыми, тонко одухотворенными чертами смуглого лица, с красивой черной бородой. Он заметил мое смущение и повел меня, не выпуская моей руки из своей, в соседнюю маленькую комнату. Уже через несколько минут моя робость прошла, — под влиянием его непринужденной простоты, граничившей с застенчивостью, скромности и товарищеского обращения. Он мне подарил первый том своих рассказов [2], с обычным посвящением, я ему — свою драму «Нерон» [3] (в оригинале, так как пьеса на русский язык была переведена позднее). Одновременно он мне подарил рукопись «Красного цветка», выразив полное согласие на перевод. Жены его не было дома, и кофе нам подала симпатичная молчаливая старушка, напомнившая мне Арину Родионовну, тем более, что Всеволод Михайлович называл ее прямо по отчеству «Алексеевна» и в его голосе слышалась при этом какая-то особенная нежность, чуть не почтительность. Но она не была его «няней», а служила у них кухаркой. Всеволод Михайлович любил с ней беседовать и мечтал как-нибудь сопровождать ее в ее хождениях на богомолье.

Мы курили и оживленно беседовали о современной русской литературе, причем его суждения отличались меткостью определений, юмором и полным отсутствием профессиональной зависти.

Придя домой, я прочел рукопись и решил перевести «Красный цветок». Я предложил рассказ Захер-Мазоху (издававшему тогда в Лейпциге ежемесячник «Auf der Höhe» *) и получил от него ответ, что гонорар он может заплатить только за перевод, но не за оригинал. Об этом я сообщил Всеволоду Михайловичу и получил от него следующий ответ: «Что касается до гонорара за оригинал, так я на него никогда и не рассчитывал. С меня совершенно достаточно того, что «Красный цветок» переведен, а деньги я уже получил с «Отечественных записок» в совершенно удовлетворительном количестве...» (Перевод мой появился в апреле 84 г., Захер-Мазох не заплатил мне за него ни копейки — журнал вскоре прекратил свое существование).

18 октября я прочел ему отрывки своего перевода, и он, довольно плохо владевший немецким языком, остался им доволен. В этот же день я познакомился с его женой Надеждой Михайловной (рожд. Золотиловой), образованной, умной и энергичной женщиной... Кстати! В письмах Гаршина к матери из Болгарии (изд. «Нивы», кн. 4) [4] несколько раз встречается некая Р. Это Раиса Всеволодовна А. (впоследствии вышедшая замуж за врача Н.) В то время молодые люди считались женихом и невестой. Но они не поженились, так как друзья Гаршина убедили его, что брак между писателем и артисткой (Р. В. А. [5] кончила консерваторию и посвятила себя музыке) не может дать продолжительного счастья. Эти же петербургские друзья мало способствовали успокоению нервов Гаршина: «политически неблагонадежные», они часто тайно ночевали у него, вооруженные кинжалами и револьверами, и заставляли его страшиться за безопасность этих своих друзей [6].

В это время Гаршин состоял секретарем Общего съезда представителей русских железных дорог, канцелярия которого помещалась у Александринского театра, и был ежедневно занят не более четырех часов. Мы начали посещать друг друга довольно часто.

1-го декабря 83 г. я спросил его, не послужило ли ему для героя его «Красного цветка» прототипом живое лицо. «Я сам был объектом моих психиатрических наблюдений», — ответил он мрачно и продолжал, опустив голову: «Когда мне было 18 и 25 лет, я страдал расстройством нервной системы, но меня оба раза вылечили. <...> Однажды разыгралась страшная гроза. Мне казалось, что буря снесет весь дом, в котором я тогда

---

* «Auf der Höhe» *(нем.)* — «На вершине».

жил. И вот, чтобы этому воспрепятствовать, я открыл окно, — моя комната находилась в верхнем этаже, — взял палку и приложил один ее конец к крыше, а другой — к своей груди, чтобы мое тело образовало громоотвод и, таким образом, спасло все здание со всеми его обитателями от гибели».

Он застенчиво-скорбно улыбнулся и сел в угол большого дивана, подтянув под себя ноги... Вообще такую позу он нередко предпочитал обычному сидению: так, 4-го ноября, в день моего рождения, он при всех гостях взобрался с ногами на стул и опустил на них весь корпус, так что казалось, будто он лишен туловища...

— Откуда у вас такие восточные наклонности при сидении? — улыбнулся я.

Он вдруг оживился:

— Представьте! Я — чистокровный русский. Правда, наш родоначальник, мурза Гарша, вышел из Золотой Орды [7], но какой же русский может теперь похвалиться, что в его жилах течет русская кровь без всякой примеси? Во всяком случае, я — русский. Но, вероятно, благодаря моей смуглости, со мной неоднократно на улице заговаривали татары, армяне и евреи на своем родном языке, предполагая во мне представителя своей национальности.

3-го марта 84 г. он мне писал: «Очень благодарен вам за распространение моих рассказов, а еще более за обязательное предложение просмотреть перевод. Я ведь очень плохой судья, так как понимаю по-немецки из пятого в десятое. «Ночь» была переведена не в «Revue d. d. m.», а в «Revue litéraire» *. В «Pester Lloyd» ** были помещены «Художники»...» [8].

Дело в том, что я рекомендовал некоему доктору Николаю Баумбаху перевести «Ночь», что он и сделал, попросив меня просмотреть его работу, так как русским языком он владел плохо.

А между тем, я перевел «Attalea princeps» (появились в марте в издаваемом Эрвином Бауэром в Ревеле ежемесячнике «Nordische Rundschau» ***. Этот перевод я также прочел ему, и он одобрил его. Но когда я предложил снабдить заглавие подзаголовком «Ein allegorisches Märchen» ****, — он запро-

---

* «Revue d. d. m.» <«Revue de deux mondes»>, «Revue littéraire», (*фр.*) — «Обозрение двух миров», «Литературное обозрение».

** «Pester Lloyd» (*англ.*) — «Пестер Ллойд».

*** «Nordische Rundschau» (*нем.*) — «Северное обозрение».

**** «Ein allegorisches Märchen» (*нем.*) — «Аллегорическая сказка».

тестовал: «Никакой аллегории, никаких иносказаний и намеков на безрезультатную борьбу за порабощенную свободу тут нет, — это просто-напросто сказка! Подобный случай произошел у Регеля в нашем Ботаническом саду...» [9]

В феврале Всеволод Михайлович показал мне рукописное стихотворение Я. П. Полонского «То в темную бездну, то в светлую бездну», которое ему очень нравилось [10], и посоветовал мне его перевести,— что я и сделал. Гаршин снес перевод глубоко им чтимому Якову Петровичу, и вот 10-го февраля, в пятницу, Всеволод Михайлович ввел меня в гостеприимный дом знаменитого поэта [11]. В девятом часу вечера мы отправились с Песков на угол Знаменской и Бассейной. Дорóгой Гаршин признался мне, что он ежедневно ожидает нового приступа своей давнишней и излеченной болезни. Он рассказал о своих наблюдениях над симптомами возникающего недуга, описывал с такими реальными подробностями ощущение страха и резкие переходы от надежды к отчаянию, что я глубоко страдал вместе с ним. Но говорил он совершенно, так сказать, объективно, без того сладострастия, которое, видимо, ощущал Ф. М. Достоевский, описывая в интимной беседе приступы своей падучей и наслаждаясь тем впечатлением кошмарного ужаса, который он при этом производил на слушателя... Но угнетенное настроение наше понемногу рассеялось в продолжение интересного вечера у Полонского. К счастью, опасения Гаршина и его врача-психиатра на этот раз не оправдались: симптомы надвигающегося приступа безумия оказались ложной тревогой. Что помешательство его было наследственным, я тогда уже знал, а также и то, что несколько его родственников кончило самоубийством [12].

В 1886 г. я женился, и тут мы начали посещать друг друга с женами. Его любимым «ручным трудом» было переплетение книг. Когда к нему приходили гости (его журфикс был по понедельникам), он сидел среди них, прислушивался к беседе, принимал в ней участие и одновременно брошюровал листы книг. У него имелся модный тогда, так называемый, «американский переплетчик», со всеми к нему незамысловатыми инструментами. Он считал физический труд лучшим подспорьем при умственной работе.

Всегда он был приветлив и мягок и всегда уравновешен. Я, по крайней мере, никогда не слышал его смеха, всегда видел только улыбку: ему чужды были порывы радости и горя, восклицания удивления, негодования и восторга и всякого ро-

да резкие движения. Повторяю: по крайней мере при мне он ничего подобного не проявлял.

Было бы, однако, ошибочно представлять его себе вечно угнетенным, молчаливым, мрачно поглядывавшим и пессимистически настроенным. Он любил шутки и сам охотно шутил. <...>

4-го февраля 87 г. состоялись похороны Надсона. Гаршин подъехал к Волкову кладбищу вместе с А. Н. Плещеевым. Увидев меня с женой, они сошли с извозчика, и мы «посетили» на литературных мостках Белинского, Добролюбова и Писарева. Тут принесли гроб с останками Надсона. Давка на мостках была страшная. Я с Гаршиным взобрались, друг другу пособляя, на ограду какой-то могилы, близ открытой могилы Надсона. Гаршин держал чей-то фарфоровый венок. Над свежим могильным холмом своего покойного друга он начал наизусть читать стихотворение Я. П. Полонского, посвященное памяти усопшего поэта («Он вышел в сумерки») [13], но вдруг запнулся, окончательно потерял нить и... отошел в сторону. Когда молодежь стала срывать с венков искусственные цветы и листья как дорогую память о дорогом покойнике, Гаршин, со страданием в лице и голосе, громко воскликнул: «Не рвите цветов! Ведь это же варварство!» Но его голос остался гласом вопиющего в пустыне... Об этом эпизоде я невольно вспомнил год спустя, на его собственных похоронах. И тут молодежь стала разрушать венки, — на этот раз из живых цветов. Невольно я крикнул: «Не рвите цветов! Сам Гаршин, на похоронах Надсона, протестовал против такого варварства!» Но мой голос остался гласом вопиющего в пустыне.

Никогда я не слышал от него ни единого слова самохвальства. Всякая реклама, исходящая от самого автора или от его друзей, коробила его. Он был воплощенная скромность, чуждый, однако, того самоуничижения, которое пуще гордости. 10 апреля 87 г., днем, я сидел на империале конки, направлявшейся к Главному Штабу. На углу Невского и Литейного поднялся Гаршин, только что вернувшийся из Крыма, загорелый, дышащий здоровьем. В руке у него было что-то завернутое в бумагу. «Это — ветка с пушкинского дерева в Гурзуфе. Сегодня вечером, во время чествования Якова Петровича, я скажу ему в стихах, что мне явилась тень Пушкина и велела ему передать этот веночек»... Вечером мы встретились на юбилее (50-летие литературной деятельности Полонского) [14]. Тост следовал за тостом, речь за речью, — Гаршин не приступил к своему приветствию. — «Что же вы?!» — спросил я. —«Нет, я ничего не

скажу... Ведь это же самомнение... Это же дерзость: Пушкин явился *мне*!» Мои разубеждения ни к чему не привели, — приветствие осталось несказанным.

Надсона он высоко ценил как поэта и человека [15], признавал талант Минского [16] и смеялся над вычурной формой стихов Случевского, — например, над стихом «У тебя, на карете твоей... лакей» (вм. «на козлах»). В восторге он был от «Искушения св. Антония» Флобера, мечтая перевести это произведение [17]. Восходящую звезду Антона Чехова он приветствовал с умилением. Так, С. С. Караскевич-Ющенко мне рассказывала следующее: приблизительно за неделю до смерти Гаршина она была на вечеринке у художника Ярошенко. Были гости. Н. К. Михайловский не разделял всеобщего восторга по поводу только что появившейся в печати «Степи» [18], и Гаршин обратился к нему со словами:

— Вот вы, Николай Константинович, возлагали на меня большие надежды. Я их не оправдал, и все же могу спокойно умереть, так как их вполне оправдывает другой — Антон Чехов! [19].

Мне лично Всеволод Михайлович оказывал всяческое содействие при моих первых литературных шагах. Когда появились мои «Gedichte von Kolzow» *, он научил меня, беспомощного новичка, как рассылать книги для отзыва в редакции. Он заглазно говорил доброе слово обо мне разным, до тех пор мне лично еще не знакомым писателям и знакомил меня с ними при всякой возможности (Надсон, Полонский, А. Н. Плещеев, Минский, П. И. Вейнберг). На юбилее Плещеева (15-го января 86 г.) он, за обедом, положил мою визитную карточку рядом со своей, уговорил меня, робкого неофита, при всех прочесть юбиляру мой перевод «Вперед без страха и сомненья» [20], пошел к П. И. Вейнбергу, главному распорядителю торжества, устроил все необходимое для моей декламации и первый зааплодировал, когда я, задыхаясь от волнения и спотыкаясь на собственных словах, кончил.

В последний раз я был у него 22-го мая 1887 г. (он жил тогда на Невском, в доме Бенардаки, № 84, кв. 52) и принес ему свой отзыв, появившийся в тот день в «Herold»е **, о его рассказах в переводе W. Henckel'a. Без слов, но с благодарностью в грустных, женщин и мужчин чарующих глазах, он мне крепко пожал руку... Все лето мы не видались. С начала осени,

---

* «Gedichte von Kolzow» (*нем.*) — «Стихотворения Кольцова».

** «Herold» (*нем.*) — «Вестник».

в совсем необычное время для его заболеваний, стали надвигаться зловещие тучи нового приступа психического недуга, и Надежда Михайловна давала понять всем его друзьям и знакомым, что частые посещения могут только вредно повлиять на его душевное и духовное равновесие... В первых числах ноября состоялась наша последняя встреча. Имела она место на углу улицы Жуковского (тогда Малой Итальянской) и Литейного проспекта, около самого аптекарского магазина <...>. При виде Гаршина я был тогда до того поражен, что невольно отступил на шаг: лицо его было пепельно-серо, глаза глубоко ввалились, и взор их мрачно блуждал. Я взял его под руку и проводил его до самого дому (Поварской пер., 5). Дорóгой он рассказывал мне подробно о своих домашних обстоятельствах. У ворот мы простились навеки.

Узнав в женской гимназии кн. Оболенской (где я уже тогда состоял преподавателем немецкого языка и литературы) от близких Гаршину людей — например, от инспектора классов Александра Яковлевича Герда — о стрясшейся над Гаршиным беде, я тотчас отправился в Поварской переулок. Квартира <...> находилась в третьем этаже. Внизу на лестнице возвышалась в пролет и до сих пор еще существующая четырехугольная белая печь, вышиною около сажени. На ней-то нашли Гаршина. Так, по крайней мере, рассказывали мне соседи <...>. Высказывалось предположение, что у Всеволода Михайловича внезапно закружилась голова, и он, желая удержаться за перила, потерял равновесие и свалился в пролет.

Но от А. Я. Герда я узнал следующее. В день несчастья, в субботу, чуть свет, Надежда Михайловна увидела, как поднялся с постели муж, быстро оделся и, без пальто и шапки, вышел на лестницу. Наскоро застегивая платье, чтобы следовать за ним, она услышала глухой удар падающего тела и увидела мужа на печи. Целых 2 часа он был в полном сознании и рассказал Герду следующее: «Вдруг я просыпаюсь и чувствую, что невидимая, всемогущая сила велит мне встать и идти на лестницу. Я шел, как во сне, и спустился этажом ниже. Тут меня непреодолимо потянуло через перила. Я перелез их, повис, держась руками за железные прутья, и хотел уже сброситься, как мне стало совершенно ясно, что я делаю не то, что следует. Но силы меня оставили, и я грохнулся вниз... О, как мне стыдно! Все теперь скажут, что я покушался на самоубийство! Какой стыд! Какой стыд!» И он несколько раз прижимал руку к сердцу. После этого он лишился сознания. <...>

Так рассказывал мне А. Я. Герд, а покойный писатель Вик-

тор Иванович Бибиков сообщил мне, что накануне трагического утра он с И. И. Ясинским был у Гаршина. Поздно вечером Всев.<олод> Мих.<айлович> проводил гостей на лестницу и светил им лампою. Когда они были внизу, он крикнул им сверху: «Хорошо было бы сброситься!»... Впрочем, Иероним Иеронимович не припоминает этого совместного с Бибиковым посещения.

Похороны Гаршина привлекли тысячную толпу. Гроб из больницы Красного креста на Бронницкой до самого Волкова кладбища несли на руках. На могиле, между прочим, Н. М. Минский прочел свои стихи «Ты грустно прожил жизнь»; пытался сказать прощальное слово и И. И. Ясинский, но, сказав несколько никому не слышных фраз, от горестного волнения умолк и отошел в сторону. <...>

Через 2 дня после похорон у И. И. Ясинского были гости. Какой-то господин прочел нам 4-й акт из рукописной пьесы Гаршина «Деньги» ...[21]

В. И. Бибиков

Имя Виктора Ивановича Бибикова (1863—1892) мало известно читателю. Он принадлежал к числу второстепенных писателей, начавших литературную деятельность в начале 80-х годов. Ни первый его роман («Чистая любовь» — 1887), ни последующие произведения («Друзья-приятели» — 1890, «Мученики» — 1891 и др.) не приобрели популярности. Его герои — чаще всего серые, ничтожные люди, изъятые из сферы общественной жизни. Поклонник Флобера и Бодлера, Бибиков старался подражать им в своем творчестве. Он — автор ряда статей о русских и французских писателях (Три портрета. Стендаль, Флобер, Бодлер. СПб., 1890 и др.). С Гаршиным Бибиков познакомился в 1884 году на киевской квартире Ясинского. Это знакомство, продолжавшееся до конца жизни писателя, не оставило заметного следа в сознании Гаршина. Бибикова же общение с Гаршиным обогащало и эстетически, и нравственно. Воспоминания Бибикова, написанные в год смерти Гаршина, отличаются живостью и свежестью впечатлений. В них нашли довольно верное отражение главные моменты жизни писателя 80-х годов, его взгляды на литературу и искусство, его отношение к Пушкину, Лермонтову, Л. Толстому, Тургеневу, Чехову, Надсону, Флоберу, Репину. Воспоминания дают известное представление о литературных замыслах Гаршина: о работе над романом из эпохи Петра Великого, над статьями о живописи (в частности, о Репине). Подобно другим современникам, Бибиков характеризует нравственно-эстетический облик Гаршина. Но литературно-биографическая ценность мемуаров снижается перегруженностью их несущественными деталями и фактами, не имеющими подчас прямого отношения к Гаршину.

Явное преувеличение своей роли в судьбе Гаршина, претензия на роль ближайшего друга писателя вызвали нелестное определение этих воспоминаний Чеховым как «нелепых» и «нескромных» (см. *Чехов А. П.* Полн. собр. соч. Т. XIV. М., 1949, с. 95 и 112).

ВСЕВОЛОД ГАРШИН

<из книги «Рассказы»>

В 1884 году в Киеве был кружок молодежи, студентов, только что окончивших гимназию девушек и гимназисток, который жил тесно сплоченной семьею. Он собирался почти ежедневно, то в женском пансионе, где жили молодые девушки, то на квартире одного из студентов <...>.

Нас связывала не одна молодость, у нас были общие симпатии, или вернее одна симпатия — мы все тяготели к литературе. <...>

Мы ежедневно сообща читали что-нибудь вслух, преимущественно произведения молодых беллетристов: Альбова, Ясинского (Максима Белинского), Осиповича и В. Гаршина; нашими любимыми поэтами были Минский и Надсон. Мы почти одинаково ценили талант всех четырех беллетристов новой генерации, но особенная любовь, доходящая до обожания, окружала имя Гаршина: он всех ближе был нам, проще, безыскусственнее, понятнее, и его лирическая поэзия яснее выражала наши стремления и порывы. Его рассказы, появлявшиеся в журналах, вырезывались и переплетались отдельно; места, казавшиеся нам лучшими, заучивались наизусть, а один из нас знал на память почти всю первую книгу его рассказов — вторая тогда еще не выходила.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в один из ясных осенних дней того же года, когда я пришел к Ясинскому, и он, встречая меня в передней, объявил, что у него в гостях Всеволод Гаршин,— у меня от счастия увидеть любимого писателя занялось дыхание, и, войдя в гостиную, я молча пожал руку приветливо улыбнувшегося мне Гаршина и ничего не мог ответить на его вопрос, давно ли я знаком с Ясинским.

Обыкновенно молодые восторженные почитатели поэта всегда представляют себе его красивым, подбирая в своем вооображении черты лица и склад фигуры согласно живущему в душе каждого из них идеалу красоты. И я, да и мы все, до встречи с Гаршиным были уверены, что он красавец; и каждый из нас, в особенности барышни, часто говорили, какой из себя он должен быть; но когда я увидел стройного, широкоплечего Всеволода Михайловича с его лицом, поражавшим при первом взгляде особенной, ему одному свойственной печалью в чудесных черных глазах, осененных длинными ресницами, когда я услышал его неторопливый, задушевный голос,— мне показалось, что вот таким именно я представлял себе его и таким представляют все, кто еще не видал его, но читал его рассказы.

Тогда он недавно оправился от тяжелой душевной болезни, тогда только что появился «Красный цветок», и любовь к нему как к писателю и человеку выросла еще более, если только это было возможно.

Мы отошли с ним к окну; я, наконец, собрался с силами и спросил его, зачем он так редко и так мало пишет.

— Что делать, я иначе не могу,— отвечал он и сейчас же,

предупреждая разговор о себе, начал расспрашивать о моих занятиях <...>. Мы разговорились, и через несколько минут я уже забыл, что передо мной Всеволод Гаршин, а видел только необыкновенно милого человека чудесной, нежной души, с полуслова угадывавшего мысль собеседника; мне казалось, что я давно знал его и любил еще до нашей встречи.

К нам подошли хозяин дома и поэт Минский, проводивший лето в Киеве, и мы сели завтракать. Разговор сделался общим. Гаршин рассказывал в шутливой форме приключения на пути из Петербурга в Киев и беззаботно смеялся счастливым смехом, сообщая свое настроение и собеседникам. Тогда же я уговорил их сняться втроем, что они и исполнили [1], тотчас же после завтрака отправившись в фотографию по дороге на заранее условленную прогулку. Потом Ясинский рассказывал мне, что веселое настроение всех троих усилилось в фотографии, где угрюмый ретушер рассадил молодых писателей в напряженные позы и уговаривал их улыбаться. Его просьбу они исполнили, но так усердно, что ретушер, промыв стекло, ужаснулся их чересчур уже веселым лицам (у меня сохранилась эта первая фотография, и у каждого на лице такое выражение, какое бывает у человека, собирающегося разразиться гомерическим хохотом) и заставил их пересняться вторично.

В Киеве Гаршин пробыл недолго, всего несколько дней, во время которых успел осмотреть окрестности живописного города, покататься на лодке по Днепру и посетить Лаврский монастырь с ближними и дальними пещерами [2], которые потом внушили ему несколько вдохновенных страниц в его повести «Надежда Николаевна» [3]. <...>

Прошло два года. Я жил в Петербурге, и хотя три мои рассказа были приняты разными журналами, но ни один из них еще не был напечатан, и мне не хотелось, пользуясь случайным знакомством, навязываться Гаршину; однако весной 1886 года Литературный фонд дал вечер, и я отправился послушать, как читают литераторы. Посещая часто театр, я привык к овациям, которые устраиваются актерам и актрисам; я видел, как встречали Сару Бернар,— но все это бледнеет перед встречей публикой Гаршина в тот памятный для меня вечер. Когда он вышел на сцену, рукоплескания, начавшиеся еще до появления, усилились до невероятных размеров: встали многие и в партере, и в ложах, стучали стульями, дамы — веерами, и минут двадцать не смолкали плески и крики. Наконец Гаршин сел за стол, раскрыл книгу.— «Красный цветок»,— прочитал он заглавие рассказа, и опять затрещали аплодисменты в гале-

рее, их тотчас подхватил партер, поднялась новая буря рукоплесканий; Гаршин должен был встать, и долго восторженная толпа не позволяла ему начать чтение. То же повторилось и по окончании чтения; Гаршина вызывали бесчисленное число раз, и я как теперь вижу его, счастливого и гордого своим успехом: он проходит по сцене к своему стулу и, не кланяясь, смотрит на протянутые к нему руки, белые платки галереи и слушает этот слитный, долгий крик тысячной толпы, повторяющей на разные лады его звучную фамилию. Я пришел за кулисы, там нашел его, румяного, возбужденного, с горящими глазами; мы расцеловались при встрече, и он подарил мне свою вторую книжку, по которой читал свой рассказ[4]. <...>

В январе 1887 г. в Петербург привезли тело С. Я. Надсона, и мы встретились с В. М. Гаршиным на кладбище[5]. Он на память прочитал мне только что написанное на смерть Надсона известное стихотворение Я. П. Полонского, и я уговаривал его прочитать над могилой. Он долго не соглашался, боясь сбиться; но когда начались речи <...>, Гаршин уступил моим просьбам и прочитал стихотворение[6]. <...>

<...> популярность Всеволода Михайловича в Петербурге вообще поражала своими размерами, учащаяся молодежь перенесла на него симпатии, которые возбуждали прежде Тургенев и Достоевский, и успех разделял с ним разве только что А. Н. Плещеев. После каждого студенческого вечера, если присутствовал В.<севолод> М.<ихайлович>, его неизбежно качали на руках; когда он появлялся в театре, на публичной лекции в качестве зрителя, одобрительный шепот встречал его появление; в альбоме любого студента, курсистки, гимназистов старших классов всегда можно найти его портреты. Однажды в вечер под Андрея, когда девушки гадают о суженом, спрашивая на улицах имя у первого попавшегося мужчины, Гаршин с женой шел к своим знакомым. По дороге к ним подбежала группа девушек, спрашивая его имя.

— Всеволод, отвечал он. — «Всеволод Гаршин!» — вскричали радостно в один голос барышни и толпой проводили Гаршиных до цели их прогулки.

Тут же, на кладбище, В.<севолод> М.<ихайлович> захотел показать мне литературные могилы, и мы ушли от могилы Надсона. Встречавшиеся нам молодые люди снимали шляпы, почтительно кланяясь В. <севолоду> М.<ихайловичу> <...>.

С кладбища мы решили возвратиться пешком; В.<севолод> М.<ихайлович> пригласил меня к себе обедать <...>.

Дома В.<севолод> М.<ихайлович> не застал жены: она была у больного, и, в ожидании ее прихода, он прочитал свою сказку «Лягушка-путешественница», которую он отдал потом в детский журнал «Родник»[7].

Он жил более чем скромно, в четвертом этаже, во втором дворе дома Бенардаки, на Невском; три крошечные комнаты были его квартирой, в обстановке — ничего лишнего, много книг в трех шкафах и на полках, и только на одной из стен дорогим украшением висела картина Репина, малороссийский пейзаж, подаренная художником любимому писателю, да на одном книжном шкафе стоял небольшой бронзовый бюст, подарок и работа Ж. А. Полонской.

<...> он долго говорил о Надсоне. Они были дружны[8], и поэт, живя в Кронштадте, приезжал еженедельно на четверги Гаршина, а если нездоровье не позволяло поездке, он присылал В.<севолоду> М.<ихайловичу> стихотворные послания. Одно из них, шуточное, помещено в Полном собрании стихотворений покойного поэта[9]. Гаршин показывал мне письма Надсона; помню, в одном он пишет: «Вот я теперь пишу к вам и себе не верю: ведь я пишу к настоящему литератору, да еще к какому: Всеволоду Гаршину!» Надсон тогда только что начинал.

— Да, я люблю Надсона, и из него наверно вышел бы настоящий большой поэт,— сказал Гаршин;— но пока все-таки его лучшие пьесы навеяны Лермонтовым. Кстати, прочтите мне что-нибудь из Лермонтова! — обратился он ко мне совершенно неожиданно.

Я прочитал ему стихотворение «Ребенку»:

«О грезах юности томим воспоминаньем...»

В.<севолод> М.<ихайлович> прослушал внимательно.

— Вы читаете недурно,— сказал он,— но слишком торжественно, к Лермонтову это не идет. Хотите, я прочту вам, но с условием, чтобы не соскучились... я прочту большую вещь.

Разумеется, я согласился, и Гаршин прочитал мне «Мцыри», всю поэму наизусть: у него была удивительная память; так, например, он знал наизусть многие стихотворения, прочитанные им всего один раз. Читал он превосходно, в его декламации почти не чувствовалось стиха, и я, как теперь, слышу и вижу В.<севолода> М.<ихайловича>, с особенным ударением и слезами на глазах читающего вот это, так хорошо определяющее его, место поэмы:

«Я знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть.

Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощеньи не молю».

Чтение Гаршина возбудило меня, я стал читать Пушкина, и мы вдвоем, перебивая и подсказывая друг другу, долго, до утомления, читали стихи.

Этот поэтический пир сблизил меня с Гаршиным; я рассказал В.<севолоду> М.<ихайловичу>, что и я в последнюю войну не выдержал бездействия и уехал в действующую армию к брату пятнадцатилетним гимназистом. Но, к несчастью, мне так и не удалось услышать «звон мечей», потому что через две недели после моего приезда были заключены Сан-Стефанские прелиминарии[10]. Так же, как и он, я мечтал о пресечении зла мира и всеобщем счастии и был убежден, что на мне лежит разрешение этой великой задачи; но и мои мечты, как и Гаршина, окончились душевной болезнью — mania grandiosa, и я отделался от нее годовым пребыванием в Киевском доме умалишенных. Сходство нашей судьбы тронуло и расположило ко мне В.<севолода> М.<ихайловича> с памятного для меня дня похорон Надсона и не прекращалось до его смерти. Тогда же он рассказал мне историю своего помешательства. Как он, уже душевнобольной, приехал в Ясную Поляну к Льву Толстому и сообщил знаменитому писателю свои планы об устройстве всемирного счастья. Лев Толстой переживал тогда тяжелый нравственный период, разрешившийся всем известной «Исповедью» с ее последствиями[11], и планы В.<севолода> М.<ихайловича> не показались ему такими несбыточными, какими они казались всем другим, знавшим больного Гаршина. Они долго говорили; подробностей беседы В.<севолод> М.<ихайлович> не помнил, но помнил, что Толстой одобрил и приветствовал его начинания, и Гаршин выехал из Ясной Поляны окончательно убежденным в необходимости своей высшей миссии, купил на дороге у первого встречного крестьянина лошадь, отдав за нее все свои деньги, и, как Дон-Кихот, поехал

верхом по Тульской губернии с проповедью об уничтожении зла. Но следивший за ним брат снесся по телеграфу с местными властями; В.<севолода> М.<ихайловича> задержали, и он был отвезен в Харьковский дом умалишенных, результатом пребывания в котором и явился «Красный цветок».

В начале 1887 года я часто еженедельно, а иногда и несколько раз в неделю видался с Гаршиным. Можно сказать, что время это до летних месяцев 1887 г. было последним счастливым временем в жизни В.<севолода> М.<ихайловича>.

Увлеченный деятельностью общества «Посредник», издания которого на первых порах расходились в массе экземпляров, Гаршин хотел видеть в этом деле то настоящее живое дело, которое бы захватило всего его и которого он так жадно искал всю свою жизнь. Он издал несколько рассказов в этой фирме, написал даже для нее особый рассказ «Сигнал» [12], пропагандировал это общество в литературных кружках, и для него было личной обидой, если кто-нибудь выражал сомнение в полезности этого предприятия.

Тогда же только что появилась драма Льва Толстого «Власть тьмы». В.<севолод> М.<ихайлович> читал ее еще в рукописи, выучил почти наизусть, постоянно приводил выдержки из пьесы, считал ее шекспировской и сулил ей колоссальный успех. Однако его ожидания не оправдались. Слишком разноречивые толки, продолжающиеся и доселе [13], встретили новое произведение Толстого, и успеха, равносильного успеху «Смерти Ивана Ильича», пьеса не имела. Тем с большим рвением принялся защищать драму В.<севолод> М.<ихайлович>, читал ее десятки раз своим знакомым, и на литературном вечере у своего брата, где читалась критическая статья о пьесе и где довольно многолюдное собрание разделилось в своих суждениях пополам, за и против драмы, он произнес целую речь в защиту работы любимого им больше всех писателя [14].

В эту же зиму он усиленно трудился над задуманным уже давно им романом из эпохи Петра Великого. Он покупал необходимые книги, собирал материалы, ходил в публичную библиотеку, много читал, делал выписки. Работа кипела и спорилась в его руках, он часто говорил о ней [15], и в его бумагах, если только перед смертью он их не истребил, должна сохраниться первая часть этого романа, которую весною 1887 г. он собирался прочитать Ясинскому и мне, но к сожалению, не исполнил своего обещания.

Он был членом комитета Литературного фонда и много ра-

ботал по делам этого общества; был членом педагогического кружка, издающего книги; в этом же году его избрали в действительные члены Литературно-драматического общества, и немало времени отнимала у него служба — секретарство при съезде представителей железных дорог III группы.

Он ни минуты не мог сидеть без дела; если к нему приходили знакомые, при которых нельзя было читать, он, разговаривая с ними, переплетал книги — он был искусным переплетчиком, и почти все книги его небольшой, но прекрасно составленной библиотеки — в переплетах его работы.

Мы часто спорили о задачах искусства, о писателях, делились впечатлениями о прочитанных новых книгах, произведениях, выходивших в журналах. У Гаршина был свой взгляд на деятельность писателя; он говорил: «Если прочитанная книга возбудила во мне, помимо признания таланта, еще и любовь к автору, такую любовь, что мне хочется с ним познакомиться, значит, автор достиг цели, разумеется, по отношению ко мне. Хотя,— прибавлял он,— мне кажется, что это общий закон».

Он отрицал отстаиваемую мной формулу «искусство для искусства», и когда я в свою защиту приводил между прочими доводами слова Пушкина, что «цель поэзии — поэзия» [16], Гаршин возражал, утверждая, что говорить так мог только один Пушкин, цельная художественная натура которого ни в одном из стремлений своих не могла сделать ошибки, а когда я ссылался на любимцев Гаршина Флобера и Мериме [17] (роман Мериме «Коломба» был переведен В.<севолодом> М.<ихайловичем>), то он всегда отвечал мне пушкинским стихом из его первого послания к цензору: «Что нужно Лондону, то рано для Москвы» [18] — и заключал спор убеждением, что в России может иметь успех и право на существование писатель-учитель, вечно стремящийся к идеалам правды, добра и красоты и будящий то же чувство в своих читателях. Споры оканчивались обоюдным соглашением, потому что если я противоречил Гаршину в теории, то представляемые им писатели как примеры: Лев Толстой, Диккенс, Тургенев и Флобер — побуждали меня согласиться.

Разумеется, в конце-концов, его как художника мог тронуть только настоящий талант, и какими бы добрыми и честными намерениями ни задавался бездарный писатель, никто, как Гаршин, не умел так хорошо заметить ослиных ушей из-под самого красного колпака <...>.

Из своих сверстников-писателей В.<севолод> М.<ихайлович> особенно любил Ясинского и Альбова [19]. Он высоко

ценил таланты названных беллетристов, и я помню, когда вышел в свет отдельным изданием роман Ясинского «Путеводная звезда», Гаршин одним из первых прочитал эту трогательную пьесу и говорил мне о своем восхищении и досадовал, что в силу господствовавшего в литературных кружках нелепого убеждения, будто бы он и Ясинский соперники, ему было неловко высказать автору свое одобрение. На литературном вечере у своего брата, где присутствовал и Ясинский, Гаршин несколько раз подходил ко мне и говорил: «Вот чудесная вещь, как бы мне сказать это Ясинскому». Но он так и не решился подойти с похвалами к автору «Путеводной звезды».

Всеволод Гаршин обладал, кроме образования, солидной начитанностью по всем отраслям знания, он свободно владел французским языком и знал английский и немецкий настолько, насколько это нужно для свободного чтения без лексикона[20]. <...>

И то, что он знал, он знал основательно, всякое верхоглядство было противно ему, и я помню, как возмущали Гаршина лекции Брандеса о русской литературе.— «Ведь каждый из нас,— говорил он мне,— знает, положим, французскую литературу гораздо лучше, чем русскую Брандес, и наверно лучше его говорит по-французски, но какой же русский писатель отважится поехать во Францию и читать там лекции французам?»

Весною на передвижной выставке Репин выставил портрет Гаршина, приобретенный недавно киевским сахарозаводчиком и владельцем галереи картин русской школы Терещенко. В газетах тогда же появились отзывы об этом портрете, в которых рецензенты говорили, что Репин написал Гаршина сумасшедшим и не сумел уловить доброе выражение глаз Гаршина, составляющее характерное отличие его лица. А портрет был написан четыре года тому назад, в эпоху «Красного цветка», и у Гаршина были именно такие глаза, как на картине Репина, что подтверждают и фотографические портреты того времени. Эти отзывы и статьи о других картинах крепко раздражали В.<севолода> М.<ихайловича>, и он решился написать ряд статей, где ему хотелось провести те взгляды на искусство, какие он считал справедливыми, показать, как надо писать такие статьи, и в особенности, как он говорил мне, ему хотелось уяснить читателям истинное значение Репина в русской живописи. Он любил этого художника, преклонялся перед его могучим дарованием и находил, что две последние картины Репина «Не ждали» и «Грозный» не имеют себе равных во всей русской жи-

вописи. Он служил Репину натурщиком для его картины «Иван Грозный», с него написан царевич Иван, и у художника сохранился этюд масляными красками для этой картины с Гаршина, являющийся лучшим портретом покойного В.<севолода> М.<ихайловича> [21].

Но Гаршину не удалось осуществить своего намерения, ряда статей не появилось, а появилась одна статья о двух картинах Сурикова и Поленова в мартовской книжке «Северного вестника» за 1887 год [22], статья, написанная чудесным языком, где Гаршин высказал свой взгляд на значение художника вообще и которая может служить образцом для статей подобного рода.

В апреле В.<севолод> М.<ихайлович> поехал в Крым и возвратился в мае освеженный, здоровый, похорошевший. Он ездил набраться сил для предстоящей летом работы над историческим романом.

Можно пожалеть, что он не вел в Крыму путевого дневника, и, приехав, не описал своего путешествия [23], потому что те впечатления, которые он передавал в устном рассказе, заслуживали быть напечатанными: до чрезмерной чувствительности в нем доходила любовь к природе, и его рассказ о Крыме с малейшими деталями так и стоит в моей памяти.

В первых числах июня я уехал из Петербурга, к сожалению, не успев воспользоваться приглашением В.<севолода> М. <ихайловича>: он хотел показать мне белую ночь. <...> В.<севолод> М.<ихайлович> уверял меня, что нет ничего лучше белой ночи, и предлагал, в доказательство, в одну из таких ночей отправиться в лодке на взморье и пробыть там до восхода солнца. Он описывал мне одну из таких прогулок, и малейший оттенок неба и воды не был забыт в его рассказе. Жалею, что не записал тогда этого описания.

Когда я возвратился в Петербург в августе, до меня дошли слухи, что В.<севолод> М.<ихайлович> опять страдает тяжкой душевной болезнью, и мало надежды на его выздоровление. Знакомые и друзья Гаршина уже привыкли к тому, что каждую осень В.<севолод> М.<ихайлович> чувствовал себя нехорошо: в это время года является опасность рецидива, висящая Дамокловым мечом над головой каждого, кто хоть однажды страдал душевной болезнью, и я думал, что на этот раз недомогание и небольшое нравственное угнетение В.<севолода> М.<ихайловича> разрослось в досужих толках в новую душевную болезнь, но, когда я услышал, что к нему никого не пускают, пришлось поверить.

Прошло два месяца <...>. В начале октября я узнал от общих знакомых, что Гаршину лучше и он принимает, и отправился к нему.

Пока приносили лампу в полутемную гостиную, В.<севолод> М. <ихайлович>посадил меня в кресло у письменного стола, сел на стул у окна и глухо, едва слышно сказал: «Не обращайте внимания, если я не совсем способен говорить, я болен, мне тяжело...», и он спрятал в руки свою голову. В это время внесли лампу, В.<севолод> М.<ихайлович> поднял голову, и я только тогда увидел, как страшно он изменился. Он похудел, платье свободно висело на нем, образуя широкие складки, глаза запали глубоко и, окруженные синими полосами, горели лихорадочным огнем, цвет лица поражал своей бледностью, и даже маленькие уши как-то странно побелели.

Он посмотрел на меня долгим тоскливым взглядом; я не находил слов; в это время из соседней комнаты вышла его супруга, и он с громким плачем подошел к ней, целуя ее руки и пряча у ней на груди свое заплаканное лицо. Она утешала его, как могла, он не переставал плакать, и я, подойдя к нему, просил позволения уйти и извинялся, что, быть может, мой приход расстроил его, но он не пустил меня.

Понемногу он успокоился, но первое время свидания несколько раз принимался плакать и каждый раз, как ребенок к матери, шел за утешением к жене и целовал ее руки.— «Без нее я бы пропал!» — повторял он мне, указывая на свою жену.

Наконец, слезы утихли, В.<севолод> М.<ихайлович> овладел собой и рассказал мне, как он потерял свое место секретаря в съезде представителей железных дорог III группы. Почувствовав себя не в силах работать летом, он взял отпуск в конце июня, но прошли два месяца, срок отпуска близился к концу, а болезнь не проходила. Тогда, чтобы не задерживать текущих дел, В.<севолод> М.<ихайлович> предложил своему начальнику назначить временного заместителя его должности. Желание Гаршина было исполнено, но когда он несколько поправился и решил, что чисто механическая секретарская работа, пожалуй, даже будет ему полезна и отправился на службу, то был встречен своим заместителем, на лице которого В.<севолод> М.<ихайлович> прочитал неприятное удивление.

Слухи об усилившейся болезни В.<севолода> М.<ихайловича> дошли и до канцелярии, и заместитель был уверен, что место больного сослуживца навсегда останется за ним. «Он крайне сухо встретил меня,— говорил В.<севолод> М.<ихай-

лович>,— почему-то даже нашел нужным забыть мое имя и называл меня Владимиром Николаичем; уверял, что съезд недоволен моей деятельностью, что будто бы ему пришлось приводить в порядок запущенные мною дела, и все существо его было проникнуто насквозь одной мыслью, как бы меня сплавить, так что я не выдержал и сейчас же подал просьбу об увольнении».

Несмотря на то, что весь рассказ об увольнении был передан В.<севолодом> М.<ихайловичем> почти хладнокровно, он с спокойствием художника описывал мне этого ловкого чиновника, но чувствовалось, что потеря места, которое кормило его семью, усиливало и без того тягостное настроение В.<севолода> М.<ихайловича>. Мало-помалу разговор принял обычный характер наших бесед: В.<севолод> М.<ихайлович> расспрашивал, как я проводил лето, я рассказал ему последние литературные новости, прочитал несколько стихотворений. Скоро В.<севолод> М.<ихайлович> стал шутить и смеяться и даже, порывшись в журналах, прочитал мне пессимистическое стихотворение одного из современных стихотворцев, которое рассмешило его до слез. <...>

На другой день он пришел ко мне <...>.

Он пересмотрел все мои книги, картины, рисунки, перелистывая мой альбом, он долго смотрел на свой портрет, снятый в Киеве в 1884 вместе с Ясинским и Минским. «Какой я тогда был жизнерадостный», — сказал он мне с грустью, не допускавшей слов утешения.

С этого дня я опять почти так же часто, как и в прошлом году, посещал В.<севолода> М.<ихайловича>. Его угнетенное душевное настроение долго не проходило. Не раз, провожая меня со свечой по лестнице до подъезда, он говаривал: «Право, лучше умереть, чем жить в тягость себе и другим». Я пробовал обращать разговор в шутку, но он останавливался на лестнице, держа меня за рукав пальто, освещал свечой широкий пролет лестницы и говорил: «Неужели вас не подмывает броситься туда». Внизу пролета стояла печка, ветер через плохо притворенную дверь подъезда врывался на лестницу, тени бродили по стенам, и бледный В.<севолод> М.<ихайлович> продолжал убежденным голосом: «Зачем жить, чего ждать, все равно никогда не сбудется то, о чем мечтаешь, а жить для славы, для искусства, право, смешно. Ну, хорошо, вы добьетесь славы Льва Толстого, но в глазах огромного большинства дворник, который сторожит дом и отворяет вам ворота, и полезнее, и нужнее всякого писателя».

Он нарочно подолгу останавливался на лестнице, чтобы развивать свои, сделавшиеся любимыми, взгляды наедине со мной, потому что там, в квартире, ему не хотелось огорчать семью.

Но проходила зима, возвращалось понемногу здоровье, и В.<севолод> М.<ихайлович> делался все бодрее и бодрее. Если бы не удручавшие его головные боли, В.<севолода> М.<ихайловича> можно было считать совершенно здоровым.

Он опять интересовался литературой, перечитывал с наслаждением, возвращавшимся вместе с здоровьем, Гончарова, Мериме, Бальзака, живо следил за крепнувшим и развивавшимся талантом Антона Чехова. Он предсказывал этому писателю блестящую будущность, и каждый новый рассказ Чехова поднимал и возбуждал Гаршина.

Через два дня после выхода в свет книги журнала с новой повестью Чехова В.<севолод> М.<ихайлович> встретил на Невском Ясинского и меня. Первый вопрос, который он задал нам обоим, был о «Степи». Оказалось, что Ясинский тогда еще не успел прочитать этой повести; я отвечал Гаршину, что за «Степью» я провел почти всю ночь.

— Ну что, каково? — спросил быстро В.<севолод> М.<ихайлович>. — Хорошо-то хорошо, — начал я, но В.<севолод> М.<ихайлович> перебил меня, возразив, что таким тоном стыдно говорить об этой повести. Он считал «Степь» из ряда выходящим литературным явлением[24], я согласился с его мнением, но находил, что архитектура повести слаба, и «Степь» можно назвать рядом небольших этюдов, соединенных общим заглавием, хотя, разумеется, отдавал должную дань таланту Чехова и его мастерским описаниям природы.

Гаршин перебил меня, объявив, что описания природы Чехова выше тургеневских. И, как всегда бывает в споре, когда задеты за живое обе стороны, я вступился за Тургенева и наговорил много лишнего.

Мы втроем прошли весь Невский, В.<севолод> М.<ихайлович> не переставал говорить о «Степи» и рассказывал Ясинскому содержание повести.

При расставании В.<севолод> М.<ихайлович> пожурил меня за то, что я не был у него около двух недель, и я пообещал прийти к нему сегодня же вечером. Но, придя к Ясинскому, мы увлеклись чтением повести Лескова «Грабеж», и незаметно прошло два часа. Пришел Гаршин. Ему были рассказаны первые главы повести, он долго слушал чтение Ясинского, потом заместил его и дочитал нам вслух повесть до конца.

До часу ночи мы просидели у Ясинского. Зашел, между прочим, разговор о «Красном цветке», кажется, по поводу того, что в одном из руководств психиатрии этот рассказ указан в числе любопытнейших документов в истории душевных болезней[25]. В.<севолод> М.<ихайлович> стал рассказывать нам о своем пребывании в Харьковском доме умалишенных. Окна комнаты, в которой он помещался, выходили в небольшой сад, у окна росла сирень, недалеко был разбит цветник. Форточку отворяли на ночь, окно было снабжено толстой железной решеткой.

— И в чудесные лунные ночи,— говорил В.<севолод> М.<ихайлович>,— я подолгу простаивал на окне, прильнув лицом к решетке. В сиреневом кусте иногда пел соловей, или, может быть, мне так казалось; до меня доносился аромат цветов; луна смотрела мне в лицо, и немудрено, если грезы мои имели такое направление, как это рассказано в «Красном цветке». Кроме конца, там все правда, я ничего от себя не прибавил.

Мы пошли проводить В.<севолода> М.<ихайловича> до его квартиры. По дороге он продолжал восторгаться повестью Чехова, приводил на память из нее некоторые места, а почти у самого дома он рассказал, как недавно он встал в пять часов утра и долго бродил по Петербургу.

— Знаете,— говорил он,— нет ничего лучше такого раннего утра: все люди еще добрые; городовые забывают, что они, по природе своей, враги извозчиков, обмениваются с ними шутками; дворники тоже ласковые; я зашел в извозчичий трактир; он был полон народа, но не только никто не был пьян, я не услыхал ни одного бранного слова: все мирно сидят, пьют чай и степенно разговаривают.

Еще два раза я был у В.<севолода> М.<ихайловича>. В первое мое посещение он жаловался, что Петербург его измучил, и он спит и видит, как бы скорее уехать из города.

— «Степь» Чехова меня обновила, и мне под ее впечатлением хочется поскорее уехать <...>. В.<севолод> М.<ихайлович> пригласил меня обедать в воскресенье. Я пришел в назначенный срок и принес с собой недавно вышедшую свою книжку: Флобер, его биографический очерк, избранные мысли из сочинений и перевод рассказа «Простое сердце». За обедом В.<севолод> М.<ихайлович> только и говорил о Флобере. Он считал его величайшим писателем нашего времени и тут же дал себе слово, приехав на Кавказ, немедленно заняться переводом «Искушения Св. Антония»[26],

единственной книги Флобера, не имеющейся в русском переводе. Я выразил сомнение в возможности появления у нас, по цензурным условиям, этого сочинения и привел в пример покойного С. П. Якубовича, который перевел и издал эту книгу в Москве, но ее не разрешили выпустить в свет, однако на В.<севолода> М.<ихайловича> мои доводы не подействовали, и он сказал, что теперь нет никаких причин, могущих служить препятствием, и повторил, что непременно сейчас же по приезде в Кисловодск займется переводом.

После обеда мы поговорили с полчаса; я по его просьбе прочитал ему несколько стихотворений Фета и встал, чтобы прощаться — дома меня ожидала срочная работа. В.<севолод> М.<ихайлович> не хотел пускать меня, упрашивал провести с ним вечер, говоря, что вряд ли мы успеем еще свидеться. Но я взял с него слово, что он накануне отъезда даст мне знать письмом, и я приеду к нему; он обещал, и я ушел. Но я не получил этого письма, через пять дней Гаршина не стало, и я увидел его уже в гробу...

<...> В жизни я не встречал и вряд ли встречу человека с такой душевной чистотой, каким был покойный В.<севолод> М.<ихайлович>. Его искренность доходила до того, что он старался избегать человека, с которым он не мог быть откровенным, а других отношений между людьми он не признавал.

Его окружало всеобщее уважение, он возбуждал единодушную любовь у всех, кто видел его хоть однажды. Тургенев в одном из писем к В.<севолоду> М.<ихайловичу> говорил: счастлив писатель, который, на склоне лет своих видит, что у него есть наследник. Такое счастье выпало на мою долю, когда я узнал вас, В.<севолод> М.<ихайлович>.

Его любил Лев Толстой и считал самым выдающимся писателем нового поколения, автор почти каждой вновь выходящей книги считал своим долгом послать ее Гаршину, сверстники и товарищи-писатели любили его как брата; несмотря на свой громадный успех, он ни в ком не возбуждал чувства зависти, у него не было ни одного врага, да и странно было бы себе представить врага Гаршина, и его талант признавали в самых противоположных лагерях нашей печати. <...>

В. Г. Чертков

Владимир Григорьевич Чертков (1854—1936) известен как друг и единомышленник Л. Н. Толстого, руководитель народного книжного издательства «Посредник», созданного по инициативе великого писателя. В историю русской литературы Чертков вошел и как публицист и переводчик. К участию в «Посреднике» он привлек многих писателей, в том числе и В. М. Гаршина, издавшего здесь свои рассказы «Четыре дня», «Сигнал», «Медведи». Гаршина связывали с Чертковым не только деловые, но и дружеские отношения. Об этом свидетельствует, в частности, записка издателя к Гаршину (1887): «Очень рад, дорогой В. <севолод> М. <ихайлович>, что вы вернулись и здоровы. Для себя рад: я соскучился по вас. <...> я знал, что люблю вас; но не думал, что так много люблю вас, как я почувствовал, вследствие вашего отсутствия.» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 520—521). Что касается идейных взаимоотношений, то они были довольно сложными и противоречивыми и объяснялись неприятием Гаршиным некоторых сторон «толстовства», защитником и пропагандистом которого был Чертков. (См., например, приводящееся ниже письмо Гаршина к брату от 4 июня 1887 года, с. 220 наст. изд.).

Воспоминания Черткова, написанные по просьбе С. Дурылина, собиравшего материалы для биографии Гаршина, интересны как свидетельства человека, общавшегося с писателем в наиболее интенсивный период его творческой деятельности (1885—1888 годы). Черткову удалось подметить самое характерное в нравственно-психологическом облике Гаршина, в его отношениях к людям разных убеждений. Значительными представляются сведения Черткова об отношении писателя к «общедоступным» изданиям для народа, о его участии в «Посреднике» в качестве автора рассказов и текстов для лубочных картин. Обращает на себя внимание и сообщение Черткова о намерении Гаршина «опроститься», переселившись в деревню для общения с крестьянами в совместной работе. Свидетельством подобных настроений писателя является, по мнению мемуариста, и его стремление к упрощению «интеллигентной речи», писательского слога. Но Чертков несколько преувеличивал влияние толстовских идей на Гаршина, говоря о нем как о страстном и «вдохновенном» защитнике того «жизнепонимания», которое позже получило название «толстовства». Разделяемое Чертковым толстовское отрицание цивилизации привело его к безоговорочному выводу о роковом для Гаршина «столичном образе жизни», определившем его трагический финал.

6 Заказ 3103

ВОСПОМИНАНИЕ О ГАРШИНЕ

Несмотря на то, что со Всеволодом Михайловичем мое знакомство было весьма непродолжительно (я познакомился с ним всего за несколько лет до его смерти) [1] — тем не менее мы успели сойтись душа в душу, и мало с кем в течение всей моей жизни у меня устанавливались такие сердечные и тесные отношения, как с ним. Мы сразу почувствовали себя как старые друзья, которые понимают друг друга с полуслова. С ним это было особенно легко, вследствие его замечательной чуткости и отзывчивости. Он на все хорошее сразу откликался. Все низкое и жестокое его возмущало до глубины души, доводя иногда почти до потери равновесия. Но в его возмущении резко выступало одно свойство, редко у кого встречающееся: к самим лицам, совершающим эти низости и жестокости, он относился с неподдельной и глубокой жалостью, считая, что они в своем заблуждении самые несчастные из всех людей и больше всего заслуживают сострадания. В личных отношениях Всеволод Михайлович был удивительно осторожен, деликатен и нежен. О самом себе он не любил распространяться, но проявлял живой интерес ко всему происходившему вокруг него. В своих стремлениях Всеволод Михайлович был не только искренен, но и необыкновенно горяч. Он чувствовал иногда потребность приводить в немедленное действие те побуждения, которые внезапно вспыхивали в его душе, ярким проявлением чего могут служить такие поступки, как, например, его посещение министра внутренних дел Лорис-Меликова накануне казни Млодецкого, покушавшегося на жизнь последнего. Подобные импульсивные поступки часто им совершались, вызываемые его мучительной болью за всех страдающих.

Познакомились мы с ним во время самой весны моей духовной жизни. Я был тогда особенно экспансивен, и Всеволод Михайлович, очевидно, считал, что общение со мной послужит благотворным возбуждением для сознания спящего непробудным сном кружка писателей и интеллигентов, среди которых он вращался. Одно время он меня часто брал с собою к тому или другому своему знакомому, у которого собирались приятели, и мне приходилось играть роль выразителя и защитника от самых разнообразных нападений того жизнепонимания, которое получило название «толстовства». Я тогда очень любил этого рода беседы, и споры наши принимали характер самый воодушевленный. Всеволод Михайлович обыкновенно сначала молча наблюдал, прислушиваясь к ходу беседы, но когда спо-

рившие со мной особенно несправедливо нападали на те взгляды, которые я высказывал, им овладевало внутреннее возмущение, и он, становясь на мою сторону, разражался вдохновенным и поражающим своей силой обращением к собравшимся, иногда довольно продолжительным. Все присутствующие внимательно слушали, ни словом не перебивали его речь, которая оставляла сильнейшее впечатление.

Слухи об этих беседах, в которых я выступал в качестве обличителя насильственной власти, церковного авторитета, научного гипноза и всех остальных устоев государственного строя, очевидно, дошли до тогдашнего временщика Победоносцева, и я получил от незнакомой мне дамы приглашение прийти повидаться с ней для того, чтобы она могла передать мне поручение от его лица. Заинтригованный этим предложением, я отправился, и обещанное поручение было мне передано. Оно было очень кратко и определенно, а именно, что если я не прекращу своей пропаганды в среде петербургской интеллигенции, то он, Победоносцев, посадит меня в сумасшедший дом. После этого откровенного предупреждения я, тем не менее, продолжал поступать по-прежнему, пока в скором времени не переехал на житье в деревню.

Всеволод Михайлович один из первых отозвался на призыв Толстого к литераторам и художникам принять участие в общедоступных изданиях для народа и специально для этой цели написал два рассказа: «Сигнал» и «Медведи» [2], а также принимал участие в составлении текста для лубочных картин «Посредника». Он был горячим сторонником упрощения интеллигентной речи и считал, что даже большие произведения общечеловеческого содержания вполне возможно писать слогом, понятным даже полуграмотному читателю, и таким именно слогом он готовился писать задуманное им сочинение о Петре Первом [3].

Мы часто беседовали о преимуществах жизни в упрощенной обстановке физического труда и вообще безвыездного пребывания в деревне. К этим вопросам он относился точно так же, как и я. Его мечтой было переселиться куда-нибудь в деревенскую глушь и общаться там с крестьянами за совместной с ними работой. Чувство это в нем неотступно усиливалось и под конец дошло до степени тоски, тем более что в Петербурге он вынужден был жить в условиях самого нудного труда в железнодорожном правлении и свободное время общаться лишь с людьми своего же интеллигентного, мало самобытного и очень безжизненного круга. Во время моего последнего свидания с

ним мы почти сговорились, что в следующий мой приезд он поедет из города вместе со мною и остановится у меня, пока не найдет себе подходящего места жительства. Я как раз незадолго до его смерти получил от него очень откровенное и трогательное письмо все о тех же своих внутренних муках в связи с городской жизнью, на которое я собирался ответить лично, так как должен был вскоре ехать в Петербург. Но перед этим ожидаемым свиданием с ним я внезапно был ошеломлен газетным известием о его самоубийстве. Видно, весь столичный образ жизни так нестерпимо угнетал его душу, что наступила минута, в которую Всеволод Михайлович не в силах был удержаться от своего рокового поступка. Но перед самой смертью он в этом поступке глубоко каялся. Я не могу освободиться от убеждения в том, что если бы успело состояться его переселение в деревню, в более простую обстановку, он справился бы с своими временными припадками душевного заболевания, как вообще бывает с подобными больными, когда они живут в нормальной обстановке, занимаются ручным трудом и общаются с уравновешенным и здоровым крестьянским населением.

Смерть Всеволода Михайловича была для меня невыразимым горем, лишив меня одного из самых лучших друзей, которых я когда-либо имел. На нем я увидал, что некоторые, от времени до времени повторяющиеся неуравновешенные душевные состояния не только не вредят лучшим достоинствам человека, но, делая его более независимым от текущих шаблонных понятий, царящих в той среде, в которой ему приходится вращаться, дают возможность его истинному духовному облику более свободно проявляться. Со дня смерти Всеволода Михайловича, а времени уже прошло немало, я могу смело сказать, что не встречал никого, более чем он обладавшего свободой кругозора и вообще более чистыми, сострадательными и возвышенными душевными свойствами.

Ф. Д. Батюшков

Федор Дмитриевич Батюшков (1857—1920) — историк всеобщей литературы, лингвист, критик, последователь сравнительно-исторического метода А. Н. Веселовского. В 80—90-е годы — преподаватель Петербургского университета и Высших женских курсов. С 1902 по 1906 год — редактор умеренно-либерального журнала «Мир божий». Автор «Критических очерков и заметок о современниках» (ч. 1—2. СПб., 1900—1902), редактор «Истории западной литературы. 1800—1910» (тт. 1—4, 1912—1917). С Гаршиным знаком как с участником заседаний Неофилологического общества при Петербургском университете.

Мемуарный очерк, воспроизводящий диспут в Неофилологическом обществе вокруг гаршинского переложения легенды об Аггее, содержит достаточно верную характеристику мироощущения писателя второй половины 70-х — начала 80-х годов.

ПАМЯТИ ГАРШИНА

<...> Помню встречу с ним как раз около этого времени[1]. Дело в том, что Гаршин, заинтересовавшись старинной легендой об Аггее и пересказав ее по-своему, пожелал прочесть свое переложение в одном научном обществе (Неофилологическое) при Петербургском университете[2]. Он изменил конец легенды: в подлиннике Аггей наказан за гордость и должен в течение трех лет вести образ жизни нищего, пока ангел, принявший его облик, правит за него страной. Потом Аггей прощен богом, возвращается на царство и становится добрым царем, познав настоящую жизнь и настоящее горе; страданиями он очистился, приобрел мудрость и научился творить добро — таков смысл старинного сказания. У Гаршина, как известно, царь отказывается вернуться на престол. Он говорит ангелу, что «прилепился душою к нищим и убогим. Прости ты меня и отпусти в мир к людям <...>.» И ангел отвечает ему: «Иди с миром!», и вернулся Аггей к слепым, которым служил поводырем, и «работал всю жизнь на них и на других бедных, слабых и угнетенных. <...>»[3]

Гаршин, прочитав свое переложение легенды, не принимал участия в прениях по поводу допустимости или уместности такого изменения сюжета. Но, выходя из собрания, он сказал мне: «Я не знаю, как у меня сложился другой конец. Это делается бессознательно. Сюжет мне запал в голову, я переложил его и не мог закончить иначе. Просто, мне кажется, что это выше». Выше — отказаться от индивидуальной жизни, слиться с жизнью масс, взять на себя долю общего горя, идти со всеми, быть если не нищим, то слугою нищих. Эта мысль владела Гаршиным неустанно. Обособившаяся от других растений Attalea princeps, пробив отверстие в крыше оранжереи, попадает вершиной в холодную и сырую атмосферу, под снег и ветер; она рада была бы вернуться назад, под крышу, но уже не может: индивидуалистический порыв не приносит счастья <...>. Художник Рябинин[4], написав рабочего-глухаря за тяжелым и изнурительным трудом, отказывается от искусства вообще, он идет в сельские учителя, как Аггей стал поводырем слепых. Этот мотив — отказ от личности, чтобы служить другим, эта великодушная мечта отдать всего себя ближнему — характерная черта данного исторического момента, когда Гаршин начал свою литературную деятельность, т. е. во второй половине 70-х годов. Это был разгар народничества. Но народником Гаршин не стал. <...>

Гаршин не реагировал на зло в его корне, а хотел лишь страдать со всеми. В нем была потребность жертвы — потребность отдать себя другим <...>. Это жертва уже действенная <...>.

У Гаршина отказ от личности внушен не умом, а сердцем. Гаршин — великое сердце, и его оценка людей и явлений жизни вся вытекает из чувства широкой любви ко всему живому. <...>

Пусть <...> этот идеал безличного существования с другими и в других — нас больше не удовлетворяет. Мы должны все же помнить, что человек немыслим вне человечества <...> индивидуальное сознание находит точку опоры в общем сознании <...>.

И. А. Шляпкин

Илья Александрович Шляпкин (1858—1918) — известный ученый-филолог, собиратель и знаток книг. После окончания Санкт-Петербургского университета преподавал во многих высших учебных заведениях столицы. Позже — член-корреспондент Академии наук, профессор Петербургского университета, автор публикаций историко-литературных документов и автографов, издатель памятников старой и новой русской литературы, в том числе и Полного собрания сочинений А. С. Грибоедова. С В. Гаршиным знаком со студенческих лет. В 80-е годы оба — участники заседаний Неофилологического общества в Петербурге.

В мемуарной заметке Шляпкина, дополняющей свидетельства Ф. Батюшкова о чтении Гаршиным «Сказания о гордом Аггее» в Неофилологическом обществе, предпринимается также попытка отыскать жизненные соответствия отдельным образам и ситуациям рассказов Гаршина, упоминается о драматичных семейных отношениях, сложившихся к концу 80-х годов, об откликах на смерть писателя.

ПАМЯТИ В. М. ГАРШИНА

В. М. Гаршина я помню еще в университете (осенью 1878 г.); его красивая, чисто русская наружность, яркий, как будто чахоточный румянец, длинные темнорусые, почти черные волосы, прекрасные вдумчивые глаза невольно привлекали к себе внимание среди тогдашней разношерстной студенческой толпы. С братом его я был хорошо знаком.

Помню, как В.<еволод> М.<ихайлович> читал повесть (переложение из Пролога) о гордом Аггее-царе[1] — в Неофилологическом обществе, в не особенно людном заседании, при покойном академике А. Н. Веселовском, в 1886 г. Царь услышал в св.<ятом> писании, что бедные разбогатеют, а богатые обнищают, и по гордости захотел выдрать эти страницы из книги. Бог наказал царя за гордость: на охоте он увлекся погоней за оленем, отделился от свиты и, раздевшись, переплыл разде-

лявшую его от зверя реку. Платье царя исчезло, исчез и зверь, голый царь воротился назад, но вместо него был уже другой, совершенно сходный с ним царь — ангел Божий, принявший вид царя Аггея. Для бедного царя начался ряд тяжелых испытаний, пока он, наконец, не покаялся. Бог простил его, и царь мог возвратиться на свое место. Возникли по предложению автора дебаты по поводу окончания: по Прологу царь возвратился мудрым и хорошо правил своим народом; по Гаршину — он, узнав сладость бедной, но независимой жизни, решил остаться бедняком до конца своей жизни, каясь в своих грехах.

Помню, как молодежь спорила с Всеволодом Михайловичем и указывала, что это буддизм, что это личный эгоизм и что он как мудрый царь больше бы мог внести добра в жизнь, чем как простой нищий. Не помню точно, но конец был изменен, и Аггей оказался поводырем слепых. Поместить повесть В.<севолод> М.<ихайлович> хотел в изданиях «Посредника», но ее запретили, и она появилась в «Русской мысли» 1886 года (апрель), с этим именно концом.

В рассказе «Надежда Николаевна» есть художник Гельфрейх, удивительно рисующий кошек; последняя черточка — не выдумка. Такой художник, по фамилии Яблочков, действительно был. <...> Была и сама «Надежда Николаевна»...

В рассказе «Attalea princeps» также верен факт, легший в ее основу. В пальмовой оранжерее Импер.<аторского> Ботанического сада при директоре Э. Л. Регеле росла в грунте пальма, ради которой делали надстройки и, наконец, принуждены были срубить ее, так как вершина стала упираться в железный каркас стеклянного потолка.

Это сплетение реализма с фантастикой припомнил и верно отметил г. П. Арзубьев в памятке о В. М. Гаршине в «Русской молве» 24 марта 1913 года, № 102.

Я был преподавателем русской словесности в Николаевском Кадетском корпусе, когда прочел в газетах о том, как В.<севолод> М.<ихайлович> бросился в пролет лестницы, чтобы покончить с собой. Пораженный этой неожиданностью, я помянул писателя перед своими учениками, и, должно быть, это произвело на них сильное впечатление. Один из кадетов, потом известный деятель по народному образованию Симбирской губернии, Н. Н. Языков (внук поэта — приятеля Пушкина), преподнес мне на память, вероятно, последнее письмо В. М. Гаршина к своей тетке, В. Е. Родионовой.[2] <...> Н. Н. Языков тогда же писал мне: «В. М. Гаршин... был несчастным в пол-

ном смысле: это можно видеть из его произведения «Ночь». Отец его Михаил Егорович получил от отца своего большое состояние, которое <...> растратил так, что впоследствии умерший сегодня очень нуждался в деньгах, но, познакомившись с И. С. Тургеневым [3], он поправился в делах, так как последний ему очень помогал и называл его своим преемником»... [4] В 1883 году В.<севолод> М.<ихайлович> женился на Н. М. Золотовой [5]. Она была женщина-врач, умная и образованная женщина, горячо любившая мужа [6] <...>. Покойный много помогал бедным, поддерживал дружбу со старыми товарищами по училищу, его вообще любили... В.<севолод> М.<ихайлович> скончался в четверг 24 марта. <...>

В «Новостях», 27 марта, № 86 первого изд., были помещены речи на похоронах Гаршина, произнесенные проф. В. И. Сергеевичем, К. С. Баранцевичем, И. И. Ясинским и И. И. Горбуновым, и стихотворение Минского (стихов С. Н. Дрожжина не поместили).

Ты грустно прожил жизнь. Больная совесть века
Тебя отметила глашатаем своим —
В дни злобы ты любил людей и человека,
И жаждал веровать, безверием томим.

. . . .

Я ничего не знал прекрасней и печальней
Лучистых глаз твоих и бледного чела,
Как будто для тебя земная жизнь была
Тоской по родине, недостижимо дальней...

(Минский)

А. И. Леман

Анатолий Иванович Леман (1859—1913) — малоизвестный писатель и публицист 80—90-х годов, автор «Очерков кадетской жизни» (СПб., 1888), сборника «Рассказы» (СПб., 1888), куда вошли его беллетризованные воспоминания о Гаршине и Надсоне.

Судя по сообщению И. Ясинского, Леман не пользовался особым расположением Гаршина, для которого молодой писатель был «кошмарен своей самовлюбленностью, самоуверенностью», «авторитарностью» (Ясинский И. Роман моей жизни. М.—Л., 1926, с. 235). Воспоминания Лемана, охватывающие двухлетний период знакомства с Гаршиным (1886—1888 гг.), представляют определенный интерес, т. к. воспроизводят ту литературную атмосферу, в которой вращался писатель в последние годы жизни («пятницы» Я. П. Полонского, литературные вечера Литфонда, «среды» Евгения Гаршина), содержат материалы, характеризующие отношение Гаршина к Л. Толстому и другим писателям и художникам его времени (Лескову, Кигну, Сухоровскому). В воспоминаниях Лемана дается нравственно-психологический облик Гаршина, анализируются причины трагической развязки. В этих последних рассуждениях немало субъективного элемента.

СТАТЬЯ О ГАРШИНЕ

<из сб. «Рассказы»>

В первый раз я встретился с Гаршиным на вечере у Я. П. Полонского зимой в 1886 г. У Я.<кова> П.<етровича> были пятницы, пользовавшиеся широкой известностью в литературном мире. Обыкновенно собиралось человек пятнадцать-двадцать, а иногда и гораздо больше. В тот вечер находились тут Н. Н. Страхов, Н. Каразин, г. Златковский, г. Аленицын, Н. Богданов, Г. П. Данилевский, художник-гравер Веревкин, оба Гаршина и другие. Н. Каразин, Всев. Гаршин и два незнакомые мне господина расположились в кабинете хозяина и говорили о соблазнительной картине Сухоровского, выставленной на Невском. Н. Каразин доказывал, что тело выписано у Сухоровского по Тициану, превосходно, но в общем картина слаба. Гаршин возражал ему [1]. Я присел к ним.

Много говорят и говорили о красоте Гаршина, сильно возмущались его портретом, написанным знаменитым Репиным: правда портрета казалась преувеличенной. Тонко поясняли, что особенную красоту лица Гаршина составляет одухотворенность его, неизъяснимая грусть, тихая печаль, изливающаяся из его лучистых очей. Многие даже соглашались, что ничего не видели «прекрасней глаз его и светлого чела»[2].

Все это побуждает меня описать внешность Гаршина ясно, просто, понятно, без прикрас. <...>

Гаршин был среднего роста, плечист, слегка сутуловат и грудь имел почти впалую. Голова у него была большая, темноволосая, с широким затылком, крепкой шеей, с острым книзу лицом, окаймленным редкой бородой, — татарская голова. И действительно, кажется, в семье Гаршиных есть татарская кровь[3]. Цвет лица был бледно-смуглый, румянец красноватый, а не розовый. Глаза у Гаршина были продолговатые, темные, правильно очерченные, восточного типа; густые брови красиво оттеняли их. Тонкий, длинный, почти прямой красивый нос, небольшой подбородок, полные, хорошего рисунка губы дополняли его наружность.

При взгляде на него чувствовалось, что он хорошо сложен, крепок, силен, полон жизни, а между тем <...>. Чувствовалось в нем страдание от болезни, от недуга, хотя от недуга душевного. Жалость, сожаление должен был ощутить всякий искренний и говорящий себе правду человек при взгляде на яркие, лихорадочным блеском сверкающие глаза Гаршина, на его утомленное лицо, усталые руки, усталую грудь.

— Ему трудно жить, — вот что ясно формулировалось после этого осмотра. Глубокий и опытный исследователь, привыкший подмечать психологические тонкости, мог бы сделать тут много наблюдений.

Его удивила бы та мягкость, под покровом вежливости и даже приветливости, та задушевность, почти нежность, с какой обращался Гаршин ко всякому. Сразу чувствовалось, что он задушевный, крайне добрый человек. Даже болезнь не могла ожесточить его. Он страдал, но страдал один, не делая участниками в своих страданиях тех, с кем приходил в соприкосновение, — черта редкая в людях. В Гаршине вообще было много редкого. Сюда надо отнести его чистоту помыслов, его нравственную честность (о гражданской, «физической» честности не может быть и речи), его глубокое уважение ко всему справедливому, благородному, прекрасному.

И теперь он сидел и говорил, что выставлять такие произ-

ведения стыдно и что не дело искусства потакать развращенным вкусам выскочек из толпы. И тот жар, с каким он говорил, и то одушевление, которое охватило его, слишком ясно свидетельствовали, что он говорил и чувствовал искренно.

Лев Толстой однажды сказал мне:

— В писателе три главные элемента: искренность, миросозерцание и внешний талант. Без искренности ничего нельзя сделать, без внешнего таланта также, но лишь миросозерцание устанавливает значение писателя в истории.

И он коснулся подробностей, набрасывая литературные портреты Достоевского, Тургенева, Салтыкова, Гончарова.

Теперь, глядя на Гаршина, я чувствовал, что передо мной писатель искренний. Хотелось мне сойтись с ним ближе, уяснить себе его миросозерцание. <...>

На пятницах у Полонского я встречался с Гаршиным еще несколько раз. По-видимому, большое общество тяготило его, и он являлся сюда только ради хозяина, которого искренне любил. Тут иногда поднимались художественные и философские споры — Гаршин в них редко участвовал.

Но, вступив в разговор, он отстаивал свои мнения смело, горячо и тогда говорил, как власть имеющий. Тогда этот нежный и тонко деликатный человек высказывался резко и не давал пощады противнику, если находил его взгляды и суждения ошибочными — искренность увлекала его. Высказавшись же, смущался, точно наговорил лишнего и, вероятно, сожалел в душе, что погорячился.

Диалектик был Гаршин хороший, нападал страстно, стремительно и, конечно, весьма часто одерживал в прениях верх.

Весной 1886 г. Литературный фонд дал вечер, и Гаршин принял в нем участие. <...> Но как странно он спокоен, прост, почти самоуверен. Ласковая улыбка играет у него на губах, к нему подходят, советуются с ним. Он объясняет. Его объяснения ясны и кратки.

Я недоумеваю. Знакомый литератор шепчет мне:

— Гаршин читает почти на всяком литературном вечере. Он привык. Его любят. Вот посмотрите, как захлопают, когда он выйдет. «Красный цветок» будет читать. Да, да, он часто читает. Он и Плещеев. Почти каждую неделю. <...>

Гаршину хлопали умеренно [4]. Он прочел свой рассказ очень внятно. Этот вечер показал мне, что Гаршин отчасти любил популярность и придавал ей значение. Как потом я убедился,

Гаршин страдал от того, что писал мало. И вот, чтобы хоть как-нибудь пополнить свои литературные беседы с публикой, он никогда не отказывался от публичных чтений. Его привлекательная наружность и прекрасная дикция много способствовали его успехам. <...>

<...> — А какого Вы мнения о Короленко? <обратился Леман к Гаршину — *Г. С.*>.

— Он очень талантливый человек. Правда, он не написал пока ни одной большой вещи, но и того, что написал, достаточно, чтобы составить о нем понятие. Вот Ясинский пишет много <...>. По-моему, небольшие вещи удаются ему лучше. <...> Ясинский странно смотрит на искусство. У него все красота и красота. Пожалуй, любовь и красота, — прибавил с мягкой улыбкой Гаршин; — а вы признаете эту формулу: искусство для искусства? <...> Не все ли это равно: зеркало для зеркала? Цель искусства отражать жизнь, объяснять жить, писатель — учитель и должен быть учителем. Взгляните на Достоевского, Толстого <...>. Знаете ли Вы, что такое Толстой? Это такой ум, такой гений! Не могу передать, как тяжело читать нападки на Толстого. Поверьте, пройдет десять лет — все сочинения Толстого будут напечатаны, все и рукописные! <...> Теперь он работает над драмой из народного быта. Кажется, ее уже разрешили <...>.

Гаршин заговорил о «Посреднике». По его словам, это было прекрасное, полезное предприятие. В заключение он сообщил, что даст туда несколько рассказов.

<...> у брата В.<севолода> М.<ихайловича> устроились литературые среды, и я стал бывать там. Всеволод Гаршин не всегда посещал их. На одном из этих вечеров он произнес горячую речь в защиту драмы Толстого. Евгений Гаршин не разделял взглядов брата [5], не разделяли их и многие. Гаршин огорчался этим. Он любил Толстого не только как великого писателя и человека, он видел в нем наставника, учителя. Характер творчества Толстого, его основная точка зрения на искусство как нельзя более соответствовали взглядам и убеждениям Гаршина. Здесь заключается главная причина преклонения его перед Толстым. Гаршин никогда не мог возвыситься до сознательной критики над Толстым. Великий поэт-мыслитель так оковал силой своего гения слабого, впечатлительного,

чуткого Гаршина, что он навсегда остался под его обаянием. И нет тут ничего удивительного, если взять в соображение восприимчивость Гаршина и мощь Толстого[6]. А 1887 г. был, по-моему, апогеем житейской славы Толстого, если <можно> так выразиться. Перед тем только что прогремела «Смерть Ивана Ильича» в полном собрании сочинений Толстого, разошедшемся с необычайной быстротой, а затем явилась «Власть тьмы»[7]. Глубоко пораженный этими двумя великими произведениями, Гаршин перестал почти работать над чисто художественными, беллетристическими вещами, которые создавал вообще трудно, долго обдумывая, вынашивая их. К этому присоединилось чувство некоторого разочарования в своих силах, разочарования, никогда не покидавшего Гаршина. Рассказ его «Сигнал» не имел успеха[8], и резкая статья «Нового времени» не замедлила указать на это. Тогда Гаршин усиленно принялся трудиться над историческим романом из царствования Петра Великого. Роман был задуман давно, лет шесть назад. Гаршин принялся за обработку собранного и беспрерывно пополняемого им материала[9].

<...> я встретился с ним на вечере у Ясинского. <...> было решено прочесть вслух рассказ Лескова «Грабеж», появившийся в книжке «Недели».

<...> Начались суждения о рассказе Лескова «Грабеж». Гаршину он положительно не нравился[10]. Затем заговорили о двух литературных новинках: книге Дедлова «Путешествие по Италии»[11] и «Степи» Чехова.

Ясинский сказал, что «Путешествие» — ценный вклад в русскую литературу. Гаршин резко возразил ему:

— Неужели Вам нравится эта книга? У автора такое надменное презрение ко всему, я не могу выносить этого. Именно этой холодной, высокомерной презрительности не могу выносить. Возьмите Вы описание Неаполя. Боже, да что это такое! Жулик, жулябия, город жуликов и больше ничего! А взгляд на женщин, а цинизм его? Нет, господа, никогда я не соглашусь, чтобы эта книга была хорошей. И какие неприглядные черты своего характера обнаруживает в ней автор! Неужели Вас прельщает некоторое остроумие и бойкость изложения содержания? Так этого мало, слишком мало!

Затем перешли к «Степи».

На третий или на четвертый день после того я опять его встретил. <...> слишком печальные глаза выдавали его стра-

дания. Отчего происходили они? Неужели только болезнь угнетала его, и будь он здоров, он не мучился бы, не скорбел душой, не плакал, как иногда действительно плакал.

Нет, Гаршин страдал, потому что был рожден для страдания: нежное, чуткое сердце, пламенная чистая душа, глубокое понимание ужасов жизни, вера в человека и беспрерывные каждодневные оскорбления этой веры, желание очеловечить людей и сознание слабости своих сил, неполнота семейной жизни, скорбь о детях, наконец, материальная необеспеченность были для него источником постоянных обильных мучительных терзаний. Болезнь только придавала разные оттенки его страданиям.

Гаршин видел и понимал многое. Уже одно это не могло сообщить ему светлых взглядов на жизнь. Житейская грязь, людское недоброжелательство, зависть, эгоизм, разнузданность страстей поражали его на каждом шагу. И он напрягал все усилия, чтобы смягчить людей для людей же. Измученный, истерзанный, он искал успокоения в семье. Но и тут тяжелые мысли не покидали его. Не мог он помириться, что ему отказано в счастье быть отцом. <...>

Полнейшая зависимость в материальном отношении от случая также глубоко тяготила его. Одну из главных причин, ускоривших развязку его душевной драмы, следует видеть в потере им места в правлении железной дороги. <...>

<...> Итак, Гаршин скончался. <...> Панихида была назначена в 6 часов вечера. Не было сомнений, что на ней будут все, кто будет и на похоронах.

Целый ряд экипажей вытянулся по Бронницкой, около лечебницы «Красного Креста», где скончался Гаршин. Густая толпа виднелась на дворе. Стоявшая отдельно небольшая покойницкая была полна почитателями Гаршина.

Тут находились Альбов, Баранцевич, Мережковский, Минский, Ясинский, Горбунов, Репин и г-жа Евреинова во главе всей редакции «Северного вестника» [12]. Было много курсисток и студентов Горного института. <...>

В кучке молодых литераторов шли оживленные переговоры. Собирались пожертвования на венок от товарищей-писателей. Ясинский и Горбунов уехали заказывать этот венок.

А на другой день хоронили Гаршина. Гроб несли на руках. В церкви, на Волковом кладбище, его убрали венками. Вдова покойного с немой скорбью стояла над телом, и ее бледное ли-

цо, точно высеченное из мрамора, резко выделялось в полумраке, окутывавшем церковь. Репин тогда же с правого клироса сделал карандашом превосходный набросок этой картины. Если не ошибаюсь, он находится в распоряжении инициаторов издания сборника «Красный цветок» Альбова, Лихачева и Баранцевича [13].

На засыпанной могиле говорились речи. Председатель Литературного фонда В. И. Сергеевич выступил первым. За ним последовали Ясинский, Баранцевич, Горбунов, Дрожжин, Минский. Сказал несколько слов и я. <...>

К трем часам могила опустела. Бугор свеженасыпанной глинистой земли — вот все, что напоминало здесь о Гаршине. <...>

Н. Минский

Н. Минский — псевдоним Николая Максимовича Виленкина (1855—1937) — поэта, публициста, переводчика. Литературную деятельность начал с 1876 года стихотворением «Сон славянина», напечатанном в оппозиционном тогда «Новом времени». С 1877 года становится постоянным сотрудником журнала «Вестник Европы» (поэма «На родине»). В 70-е же годы Минский, близкий к радикально-народническим кругам, принял участие в нелегальном «Вестнике Народной Воли» стихотворением «Последняя исповедь». Проникнутые сочувствием к народному горю, стихотворения его были запрещены цензурой (1883). В 1884 году происходит перелом во взглядах писателя, отказавшегося от позиции «печальника» народа и провозгласившего индивидуализм, «самообожествление личности». В декадентской декларации «Старинный спор» («Заря», 1884, № 183) провозглашался разрыв с гражданской демократической поэзией. Результатом новых литературно-эстетических и общественно-политических взглядов Минского явилась его рецензия на стихотворения Надсона («Новь», 1885, № 11, 1 апреля). В 900-е годы Минский — поэт-символист, организатор религиозно-философского общества, позже — редактор и сотрудник газеты «Новая жизнь». Гаршин в течение многих лет был в дружеских отношениях с Минским. Он следил за его литературным развитием («жду его «Мав», не дождусь». — *Гаршин В. М.* Письма, с. 243), за судьбой сочинений («у Минского духовная цензура вырезала из «В. <естника>» Европы» стихотворение «Гефсиманская ночь» <...>.» — *Гаршин В. М.* Письма, с. 327), принимал участие в чтении и обсуждении его произведений («Минский читал мне свою трагедию, <...> мне она очень понравилась»; «А. А. Давыдова зовет нас <...> к себе для слушания драмы Н. М. Минского «Осада Хотина». — *Гаршин В. М.* Письма, с. 304, 307). Как свидетельствует В. А. Фаусек, Гаршин «разошелся и прекратил отношения с Минским» после его рецензии на стихотворения Надсона (наст. изд., с. 82). Об этом же конфликте («недавней ссоре Минского с Гаршиным») С. Я. Надсон писал в мае 1885 года А. Н. Плещееву (*Надсон С. Я.* Проза. Дневники. Письма. СПб., 1912, с. 597).

В воспоминаниях Минского Гаршин представлен как «центральная личность своего поколения», как писатель, отразивший «тревоги и противоречия своего времени». Восторженно отзываясь о его произведениях, Минский не считает Гаршина писателем «мировым», отводя ему место в «средних слоях жизни». Восприятие гаршинского творчества неотделимо в воспоминаниях Минского от его нравственно-психологической характеристики.

Но именно в этой области мемуарист допускает произвольное, весьма субъективное объяснение особенностей творчества писателя. Он, например, ошибочно полагает, что душевная доброта Гаршина мешала ему видеть зло жизни, что раннее творческое оскудение явилось следствием узости жизненного материала, ограниченного лирическим самовыражением «своих сомнений, своих исканий». Наиболее уязвимо понимание Минским идеи необходимости, выразившейся, по его мнению, в жизненных финалах писателей (Байрона, Гете, Лермонтова, Гаршина). Минский недостаточно последователен в объяснении истоков гаршинского творчества: то он видит их во внутреннем мире «себя самого», то в «тревогах и противоречиях» эпохи.

Большой интерес представляют те части воспоминаний, в которых воспроизводится рассказ Гаршина о его пребывании на фронте и сообщается сюжет не осуществленной писателем сказки о фиалке.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГАРШИНЕ ПО ПОВОДУ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЕГО СМЕРТИ

Недавно исполнилась десятая годовщина трагической смерти Всеволода Гаршина. Говорят, на могилу писателя в этот день собралось всего пять или шесть человек его друзей и поклонников. Каюсь, я не был в их числе, хотя причиной тому была не забывчивость. Но мне казалось, что, помимо хождения на могилу, есть другое, лучшее средство почтить память любимого писателя и друга: перечесть заново все его произведения и, пользуясь расстоянием в десять лет, оглянуться на него, охватить одним взглядом все до сих пор разрозненные в памяти черты его как писателя и человека, соединить их <...> в живой образ. Ведь что ни говори, а единственно мудрый и беспристрастный критик — это время.

Признаюсь, не без некоторого опасения приступил я после многих лет к повторному чтению рассказов Гаршина, из которых некоторые я услышал в первый раз от самого автора в те годы молодости, когда сердце так легко расточало симпатию, а язык — похвалу, в особенности тому, что казалось правоверным и по тенденции совпадало с твоими собственными убеждениями. <...>

Но едва я приступил к чтению, как мои опасения исчезли. Искренность и после двадцати лет осталась искренностью, красота — красотою. Правда, в просторной перспективе протекших лет я определеннее, чем прежде, увидел объем и границы таланта Гаршина, но эти границы не только не нарушают цельности его художественного образа, но скорее создают ее, подобно тому, как края рамы, ограничивая картину и отделяя

ее от остального мира, делают ее чем-то замкнутым в себе и законченным. Справедливость требует признать, что Гаршин, при всей своей талантливости, не был писателем мировым. Он не опускался до тех глубин, где рождается неизменно стихийное, и не поднимался до тех высот, где царит неизменно божественное. Умом и сердцем он находился в средних слоях жизни, в области случайных надежд и тревог, притом жил в одну из самых тревожных эпох. Но, отдавшись тревогам и противоречиям своего времени, он воплотил их с такою страстною искренностью, как никто из нас, и сделался центральною, героическою личностью своего поколения. Мне кажется, что среди писателей каждого поколения существует такая центральная личность, такой герой своего времени, и отличается он от других своих собратьев, помимо талантливости, еще главным образом тем, что литературная деятельность и личная жизнь такого писателя удивительно совпадают между собою, как две стороны одного и того же явления.

Мы называем того писателя искренним, который верит в изображаемые им радости и страдания и во время творчества переживает их. Но есть еще другая искренность, более глубокая и стихийная, которая не ограничивается минутами творчества, а захватывает без остатка все силы человека и делает то, что жизнь такого писателя кажется одною из созданных им поэм, и каждая из его поэм кажется повторением его жизни. Не только страдания и борьба, но и смерть такого писателя кажется не случайной, а необходимой, как последняя сцена хорошо задуманной трагедии. Мы не всегда понимаем, но чувствуем, что иначе эти писатели не могли жить и умереть, что умри они другой смертью, не только их личный характер, но даже их творчество осталось бы неоконченным и непонятным. Байрон должен был погибнуть на поле битвы в борьбе за освобождение[1], Гете должен был, дожив до глубокой старости, без боли и без страданий «смежить орлиные очи свои», Лермонтов должен был пасть на бессмысленной дуэли от руки случайного врага, и Гаршин должен был в припадке безумия слететь в пропасть. То мучительное противоречие мысли и совести, которым болело все его поколение, а больше всех сам Гаршин, не могло разрешиться ничем иным, как катастрофою самоубийства. <...>

По внешним своим способностям Гаршин был прирожденным эпиком, по силе внутреннего чувства — вдохновенным лириком, и этою довольно редкою двойственностью темперамента объясняется как особая обаятельность всего им написанно-

го, так равно и краткость его повестей, больше похожих на поэмы в прозе, чем на повествовательные произведения, отсутствие в них эпического спокойствия, неумение писателя рисовать большие объективные картины и отчасти раннее оскудение его таланта. Гаршин обладал большим даром наблюдать и запоминать и в этом отношении может быть поставлен наряду с лучшими нашими писателями. Неудивительно, что он так рано пристрастился ко всему, что требует точности в наблюдении и изображении,— к естественным наукам и к живописи. Помню, по приезде из Болгарии Гаршин говаривал, что мог бы один, без проводника, найти все пройденные в походе дороги и дорожки, которые он запомнил — употребляю его выражение — «до последнего камня на перекрестке». Прочтите любую страницу из его походных воспоминаний — и вы ему поверите. Но зато Гаршин с детства чуждался всякой деятельности, требующей рефлексии и напряжения рассудка. В своей автобиографии он сознается, что математику искренно ненавидел, и хотя она ему не была трудна, но он старался, по возможности, избегать занятий ею. О философии он в одном своем письме отзывается с чисто российскою удалью: «Разве в самом деле удариться в гартмановщину или еще в какую-нибудь ерундищу? Не ударишься ни во что подобное; мозги все-таки так положительно устроены, что Гартман не соблазнит» [2]. Если бы, вместе с положительно устроенными мозгами, Гаршин обладал и положительно устроенным сердцем, он, может быть, преуспевал бы в жизни не хуже других собратьев по журналу, в котором создал себе литературное имя. Но к несчастью для Гаршина сердце его не мирилось ни с чем положительным и жаждало как раз той высшей правды и свободы, которые его уму казались «ерундищей». Позже, запутавшись в сомнениях и противоречиях, Гаршин напрасно прибегал за исцелением к чуждой ему философии, и я никогда не забуду, в каком странном виде я однажды нашел на его столе «Критику чистого разума» Канта [3]. Первые страницы были захватаны, разорваны, исчерканы карандашом по всем направлениям, затем шли несколько десятков страниц со слабо загнутыми краями, перелистанных рассеянной рукою, и, наконец, следовало полчище нетронутых, девственных листов, еще ни разу не разлученных друг с другом. Те пошлые откровения, которые наши доморощенные мыслители выдавали за мудрость жизни, он по совести не мог принять как истину. «Что ты ни разговаривай,— пишет он в письме к другу, рекомендовавшему ему для успокоения совести заняться биологией,— а с легкой руки Писарева

пошедшее мнение о значении естественных наук я мало разделяю» [4].

Заговорив о сердце Гаршина, я не могу не остановиться на беспримерной доброте и скромности этого хрустально чистого человека, составлявших такой резкий контраст с самоуверенной бойкостью и «злобой» наших интеллигентных главарей и кружковских царьков. Что-то солнечно теплое и нежное сквозило во всех словах и движениях Гаршина, и я не был удивлен, когда однажды, рассказывая о своем детстве, он сказал, что первое воспоминание жизни, сохранившееся у него в душе,— это ощущение тепла на руках кормилицы. Можно сказать, что скромность Гаршина, его особая манера держаться в тени и ходить вдоль стен, цепляясь за мебель, мешала многим сразу оценить его как следует. По крайней мере мне лично его скромность долго мешала разглядеть его большую физическую красоту, и я только тогда понял, как Гаршин красив, когда в первый раз увидел его фотографическую карточку. О своем геройском поведении на войне он избегал говорить даже с ближайшими друзьями, и уж не знаю, какой случайности я обязан тем, что однажды, во время дружеской беседы, он почти неожиданно для себя самого тихим извиняющимся голосом рассказал мне об одном своем «подвиге». Дело было в начале Аясларского боя, где Гаршин был ранен в ногу. Он лежал за кустами, невдалеке от большого дерева, росшего среди открытой площадки. У ствола этого дерева прикорнуло около тридцати наших солдат, искавших прикрытия от пуль. Но благодаря открытой местности турецкая батарея заметила их и стала по ним стрелять. Первая граната разорвалась, перелетев через дерево и, должно быть, неприятель заметил свою оплошность и изменил прицел, потому что второй снаряд разорвался, не долетев до дерева на несколько шагов. Солдаты замерли от страха и не двигались. Напрасно Гаршин кричал им изо всей мочи, чтобы они скорее покинули опасное прикрытие, ставшее мишенью: за шумом битвы его голоса не было слышно. Тогда он оставляет кусты, бежит под пулями через открытую площадку и уводит растерявшихся солдат. И только что они добежали до кустов, как третья граната упала у самого дерева, вырыла кругом глубокую яму и обнажила корни. Кажется, именно за этот поступок солдаты хотели присудить Гаршину ротного Георгия, но командир уверил их, что его и без того наградят. Помню, как после рассказа Гаршин, пристыженный, умолк и как его смущение сообщилось и мне. Кончилось тем, что я, смеясь, торжественно поклялся ему никому об этом

«гранатовом дереве» не говорить ни слова. Но удивительно, что он из скромности, кажется, преувеличенной, не поместил этого эпизода даже в «Записках рядового», которые ведутся от имени вымышленного Иванова.

Мне кажется, что одной из причин, рано обесплодивших замечательный талант Гаршина, была его душевная доброта, которая мешала ему видеть зло жизни. Как лирик, он стремился в своих произведениях отразить себя самого, свои сомнения, свои искания. Все почти повести рассказаны от первого лица, многим придан вид дневников <...>. Все это — лирические излияния, развязки ненаписанных драм, последние монологи перед последним ударом. Весь же предшествовавший катастрофе долгий путь колебаний и падений, все то, что составляет силу эпоса, Гаршина почти не интересовало. И когда он создал с десяток таких финальных сцен, из которых в каждой он распинал свое собственное сердце на кресте жалости, любви, отчаяния, Гаршин почти весь высказался и должен был замолкнуть. Взяться за спокойные изображения жанровых картин, тянуть канитель разных любовных коллизий или интеллигентных разговоров, изображать разных негодяев или полунегодяев Гаршин не мог. Не к тому лежало его сердце, да и читатель не того ждал от Гаршина. Зло уродливо и преходяще — зачем его изображать? В повестях Гаршина почти нет злых людей. <...>

Такова первая часть гаршинского гороскопа, созданная его собственною природою. Вторая часть, более мрачная, зависела от эпохи, в которую Гаршину суждено было жить, от смуты в умах, от противоречий господствовавшего тогда миросозерцания. <...> Создалась теория о любви во имя ненависти или о ненависти во имя любви, не знаю, как вернее, что-то возвышенное и нелепое, зажжен был огонь, на котором бесследно сгорело целое поколение со всей его любовью и ненавистью. На человека с такой чуткой совестью, как Гаршин, это противоречие должно было действовать, как медленный и смертельный яд. Он не мог ни отвернуться от тех, кого тогда в стихах принято было называть «борцами», ни пристать к ним, и вот мы видим, что еще юношей он спасся от мучившего многих вопроса, найдя лазейку в военной службе. Отправляясь добровольцем на войну, он не изменял любви к народу, потому что шел делить с ним невзгоды, снимал с себя в собственных глазах упрек в трусости и, что важнее всего, на время освобождался от ответственности в своих поступках, подчиняя свою расслабленную волю

какой-то безымянной и непреклонной воле, ведущей народы на войну.

Но недолго длилось у Гаршина это отрадное чувство свободы. На поле битвы он вскоре должен был убедиться, что любовь к людям привела его к необходимости ненавидеть и убивать людей. В рассказе «Четыре дня», первом, с которым Гаршин выступил в литературе, это давившее всех нас противоречие выражено во всей его непримиримости. С тех пор вся деятельность Гаршина была постоянным повторением одного и того же вопля, но два раза этот вопль сорвался с его уст с особенною силою — в «Ночи» и в «Красном цветке». <...> «Красный цветок» кажется мне надгробной надписью всему нашему поколению.

После этого рассказа Гаршин ничего значительного не написал, да и не мог написать. Говорят, последние годы жизни он был окружен заботами любящих людей. Мы редко виделись с ним в эти годы, но за пять дней до катастрофы случайно встретились на Невском. Он обрюзг, походка его стала еще неувереннее, чем прежде, а в черной бороде резко выделялись несколько серебряных нитей. Мы заговорили о литературных новостях. Гаршин стал горячо хвалить появившуюся недавно перед тем «Степь» Чехова и на какое-то мое замечание грустно сказал:

— Наша, романтиков, песенка спета, и все спасение — в реализме[5]. Возьмем хоть Шекспира и его «быть или не быть?» Разве люди, задумавшие покончить с собою, так философствуют? Да никак они не философствуют, потому что у них в голове туман и слова путаются. Если они еще способны задавать себе вопросы, то разве лишь такой: что лучше? В окно ли прыгнуть или с лестницы броситься?

На этих словах мы расстались, и вскоре я понял, сколько горького смысла было в нашем теоретическом разговоре.

Если слово искреннего и талантливого человека имеет какое-либо значение, то мне кажется, что вся деятельность Гаршина приводит к одному заключению, что не могут люди жить только мыслью о человеческом, что даже для того, чтобы плодотворно любить людей и бороться за их счастье, нужно сперва любить нечто другое — внечеловеческое и вечное. Но, очевидно, новое поколение, заменившее нас, думает не так.

<...> мне невольно вспоминается тема одной сказки, которую Гаршин задумал написать еще в первые годы своей деятельности, но почему-то не осуществил своего замысла. Сказка эта была о том, как однажды Екатерина, гуляя по Летнему

саду раннею весною, увидела в траве нераспустившуюся фиалку и, не желая сорвать и боясь забыть, где она растет, попросила поставить на том месте на несколько времени часового. Вскоре императрица забыла про фиалку, а начальство сада, не зная, в чем дело, распорядилось сменить часового другим, другого третьим и так далее, так в течение ста лет ходили часовые по пустой дорожке, охраняя сами не зная что. Гаршин хотел изобразить зимнюю ночь и вьюгу и мерзнущего часового, который утешает себя мыслью, что он исполняет свой долг и что-то сторожит. А нерасцветшая фиалка, между тем, давно ушла не только из-под ног часового, но даже из Летнего сада. Толкая под землею росток за ростком (Гаршин уверял, что фиалки именно таким образом размножаются), она выбралась на набережную, прошла под ложем Невы и после ста лет очутилась далеко-далеко за городом. <...>

ВСТРЕЧИ С ДЕЯТЕЛЯМИ РЕВОЛЮЦИОННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

И. Я. Павловский

Исаак Яковлевич Павловский (1852—1924) известен был в 70-е годы как один из рядовых деятелей революционного народничества. В связи с «процессом 193-х» он привлекался к допросу по делу «о пропаганде в империи». За участие в демонстрации в апреле 1878 года был выслан из Петербурга в Пинегу, откуда вскоре бежал и эмигрировал за границу. Здесь как журналист и писатель пользовался покровительством И. С. Тургенева, который содействовал опубликованию в 1879 году в парижской газете «*Temps*» очерка Павловского «В одиночном заключении. Впечатления нигилиста» (предисловие Тургенева). В 1882 году по рекомендации Тургенева в «Отечественные записки» была послана повесть Павловского «Политическое дело», отредактированная Салтыковым, но не опубликованная в журнале. Во второй половине 80-х годов И. Павловский стал корреспондентом реакционной газеты «Новое время». С Гаршиным познакомился в 1877 году в одном из петербургских литературно-художественных кружков, куда входила в основном студенческая молодежь, преданная литературе и искусству.

По сообщению Павловского, именно здесь и были впервые прочитаны рассказы Гаршина «Четыре дня» и «Происшествие», покорившие слушателей гуманистической идеей и задушевной искренностью. Воспоминания Павловского интересны воспроизведением атмосферы кружка и той повседневной среды, в которой вращался молодой писатель. В них сообщается о постоянном внимании Гаршина к живописи, о спорах, возникавших по поводу новых полотен («Христос в пустыне» Крамского), о впечатлениях писателя от войны. Павловский раскрывает некоторые особенности творческого процесса Гаршина, указывая на сопереживание как определяющее состояние художника-творца; приводит суждения Тургенева о Гаршине, дополняющие известные по его письмам оценки молодого таланта.

ДЕБЮТЫ В. М. ГАРШИНА

Когда в конце 1877 г. в «Отеч.<ественных> зап.<исках>» появились «Четыре дня», я находился в Петербурге. На кружок молодежи, среди которой я вращался тогда, этот маленький рассказ произвел чрезвычайно сильное впечатление. В Гаршине сразу увидели писателя с большим будущим. Причина такого успеха лежала, конечно, отчасти в том, что в «Че-

тырех днях» проводилась гуманная идея, которая у нас всегда подкупает симпатии читающей публики. Отчасти также успеху содействовало время, когда этот рассказ появился, — в самый разгар русско-турецкой войны. Но все это только отчасти. Главная доля была в красоте формы и задушевной искренности рассказа. Было ясно, что Гаршин не проповедник, выбирающий беллетристическую форму для проведения тех или других идей, а художественный темперамент, чувствующий по-своему и потому пренебрегающий рецептами, по которым в то время писались беллетристические вещи. <...>

Вскоре после появления «Четырех дней» я познакомился с некоторыми из тогдашних друзей Гаршина. Это были три товарища Гаршина по Горному институту, две ученицы Мариинской повивальной школы: одна —совсем молоденькая девушка, другая — замужняя женщина с Кавказа, и семья инженера К.

К. был человек зажиточный; у него часто и запросто собирались студенты и кое-кто из петербургских литераторов, большею частью молодых. Среда эта, по тогдашнему времени, была довольно оригинальна, и в ней прежде всего приятно поражало полное отсутствие радикальных фраз, бывших тогда в моде, и честная терпимость к чужим убеждениям и вкусам. Никто из этих людей не «ходил в народ», не мечтал о переворотах и не навязывал другим своих взглядов. Новопришедший сразу чувствовал себя здесь по себе: он мог слушать, рассказывать, спорить, уверенный, что ему не поставят в вину того или другого мнения, коль скоро оно искренне. Все здесь любили свое дело и занимались им усердно и в то же время сходились на одной общей точке, которая сроднила их: на любви к литературе и к искусству. Инженер, благодушный отец семейства <...>, был литератором в душе; он даже был собственником толстого литературного журнала, который, впрочем, выходил раз в год. Один из студентов Горного института — Кв.[1] <...> с упорным увлечением разрабатывал сделанное им открытие, что интегралы и дифференциалы можно излагать популярно, без формул, так что их может понять всякий, не прошедший даже курса элементарной математики. <...> В то же время он занимался физиологией, писал статьи против спиритизма и переписывался поэтому с проф. Менделеевым[2]. <...> Две барышни-акушерки не могли говорить хладнокровно о <...> медицинских событиях той клиники, где они учились. Третья девушка, статная блондинка, живая, остроум-

ная и большая хохотунья, страстно любила театр и с талантом играла на любительских спектаклях. <...>

И вот, несмотря на это разнообразие в занятиях, все были очень дружны между собою и искренне уважали друг друга. Не говоря громких слов об искусстве, все любили его. В Академии художеств были тогда выставлены картины, предназначенные для отправки в Париж на всемирную выставку. И вся компания бегала туда, рассматривала, восторгалась, обсуждала.

В этой-то среде Гаршин был центром, всеобщим любимцем и баловнем. Повторяли его мнения, рассказывали подробности из его жизни, говорили о его планах и работах, интересовались его здоровьем. Во всех этих отзывах и заботах видна была чисто родственная нежность и независимость в любви. Это было не поклонение, а именно уважение и любовь. В семье инженера, как я сказал уже, бывали другие, даже очень опытные литераторы; но к ним не было той привязанности, которая замечалась по отношению к Гаршину. <...> А что́ такое был тогда Гаршин? 22-летний юноша!

В то время Гаршина не было в Петербурге; он находился, кажется, в Харькове, у своей матери. Однажды утром, в начале февраля 1878 г., в комнату мою вошел, похрамывая, прилично одетый молодой человек, в зимнем пальто и в маленькой барашковой шапочке. Больше десяти лет прошло с тех пор, а я вижу его перед собою точно живым. Помню, меня поразила глубокая грусть, разлитая во всех чертах этого тонкого матового лица, обрамленного легким темно-русым пушком. Особенно печальны были его большие глаза, в которых читалась бесконечная доброта и честность. Левая бровь с легким переломом в середине придавала ему такое выражение, будто он давно и постоянно страдает, точно потерял любимого человека и не может этого забыть.

Голос он имел тихий и приятный. Говорил он спокойно, без жестов, и тем большее впечатление производила его прямая, искренняя речь. Чувствовалось, что его слова были верным отражением того, что он думал, без преувеличения, но и без смягчения. Трудно выразить, как это качество привлекало к нему, располагало к доверию. После нескольких минут разговора казалось, что вы всегда были с ним знакомы и что он также знает вас и все ваши дела. С Гаршиным можно было говорить сразу *всерьез*, отбросивши в сторону банальные фразы, которыми обыкновенно сопровождается первое знакомство.

Помню, я не мог удержаться, чтобы не высказать своего

восторга по поводу «Четырех дней». Он принял эти выражения без притворной скромности, за которой у авторов скрывается большое самомнение, — но и безо всякого интереса. Это нетрудно понять, когда знаешь, что каждый раз, когда Гаршин писал новую вещь, он переживал ее точно болезнь, — до такой степени автор сливался в нем с человеком. Дама-акушерка, о которой я упомянул выше, рассказывала мне по этому поводу следующий эпизод, относящийся к «Происшествию». Гаршин пришел к ней однажды, когда она готовилась к экзамену. Как товарищу, которого достаточно уважаешь, чтобы не стесняться с ним, она сказала ему, что занята и не может с ним болтать. — «Ничего, работайте, я попишу», — ответил Гаршин. Дама продолжала заниматься, а Гаршин, вынувши записную книжку, стал что-то записывать. Прошло некоторое время; г-жа Д., углубленная в занятие, была вдруг пробуждена рыданиями. Плакал Гаршин, описывая страдания Надежды Николаевны ...

Он, как видите, пиша, не сочинял, не забавлялся, а присутствовал при страданиях, которые считал реальными. А Гаршин, при его обнаженных нервах, не мог видеть чужих страданий, чтобы не страдать самому. Каждый человек, страдающий или страдавший, был в его глазах окружен ореолом. У меня на квартире произошел однажды между Гаршиным и одним моим знакомым спор, который рельефно показывает сущность натуры Гаршина. Это был единственный раз в течение моего короткого знакомства с ним, когда я видел его возбужденным и почти раздраженным.

Знакомый мой был юноша очень радикальных убеждений и, как таковой, отчаянный принципоед. Недостаток опыта и непосредственного чувства заполнялся у него холодным размышлением. Хотя он и воображал себя «свободным мыслителем», но жил фразой, в которую верил, как добрый христианин в Евангелие. Поступки свои и чужие он всегда сверял с этой фразой: если выходило согласно, он считал этот поступок хорошим, возвышенным, а нет — подлым.

В присутствии этого-то юноши Гаршин, отвечая на мой вопрос, сказал, что собирается вновь на войну.

— Чтó, гонят? — спросил юноша.

— Нет, не гонят, сам иду.

— Зачем?

Гаршин был удивлен этим неожиданным вопросом.

— Как, зачем? Там русский мужик, о котором вы сейчас говорили, борется и страдает. Я хочу идти к нему на подмогу.

— Ну, это пустяки. Не говоря уже о том, что вы против войны, само по себе безнравственно помогать одерживать победы, которыми воспользуются, чтобы...

И юноша принялся излагать свои радикальные воззрения, бывшие выводом из фразы, составлявшей его credo.

По мере того, как он говорил, Гаршин приходил все в большее и большее негодование. Наконец, он не выдержал, вскочил и в волнении захромал по комнате.

— Нет, позвольте... позвольте... Вы, стало быть, находите безнравственным, что я буду жить жизнью русского солдата и помогать ему в борьбе, где каждый человек полезен? Неужели будет более нравственно сидеть здесь сложа руки, тогда как этот солдат будет умирать за нас!.. Извините я этого не могу допустить...

Спор этот продолжался долго, причем юноша расстался с Гаршиным, считая его человеком с отсталыми убеждениями. Гаршин же ушел взволнованный и печальный [3].

Как человек непосредственного и тонкого чувства, он никогда не мог бы сойтись с принципоедами из тогдашней молодежи, никогда не мог бы ужиться ни с какой кружковщиной. Гаршин был прежде всего артист, и это видно было во всем. Одеваясь, например, очень просто, он в то же время был невольно изящен. Комнатка его (в доме Яковлева, если не ошибаюсь) была чиста и уютна; по некоторым мелочам сразу видна была его любовь к красивому. Мне бросился, например, в глаза его альбом. На листах его были наклеены в порядке и очень красиво снятые с карточек фотографии. Я отмечаю эти мелочи именно потому, что все это отличало Гаршина от тогдашней молодежи. В квартире, кроме него, жили художники. Он с ними был приятель, следил за их работами, писал о них статьи [4].

Некрасивое в искусстве и литературе положительно раздражало нервы Гаршина. Помню его отзыв об одном довольно добродушном писателе, роман которого в то время читался молодежью. Писатель этот, плодовитый по необходимости, был не без таланта, но недостатки, происходившие от спешности его работы, он усиливал еще очень шаблонной тенденцией. Рассказывая мне о своем знакомстве с этим литератором, Гаршин отозвался о нем очень зло, точно бы это был его личный враг, сказавши между прочим: «Он говорит так же тяжело и шаблонно, как пишет». В устах бесконечно доброго Гаршина это звучало несколько жестоко, но в нем чувствовался

протест художника против пошлых приемов в литературе, хотя бы и с хорошими намерениями [5].

Любовь к красивому, к простоте и правдивости составляла в жизни Гаршина, как в его стиле, основные особенности его характера. Живопись и литература интересовали его одинаково страстно. Помню, отправился он однажды на выставку в Академию художеств с некоторыми из товарищей по Горному институту, о которых упомянуто выше. Остановились они перед картиной Крамского «Христос в пустыне», и завязался между ними горячий спор: Гаршин и другой из приятелей утверждали, что Христос выражает то-то (не помню, что́ именно), остальные утверждали другое. Как решить, кто прав, кто виноват? Решили обратиться к самому автору. Но так как никто из компании его не знал лично, то ему отправили письмо с изложением спора. Ответ не замедлил явиться. Но, увы! Крамской откровенно сознался, что сам не знает, кто из них прав. Он *представлял* себе Христа таким, как он изображен на его полотне, и только [6].

Однажды вечером я зашел к одному из студентов Горного института <...>. В комнате был полумрак, небольшая керосиновая лампа бросала из-под картонного абажура желтый свет на стол, за которым Гаршин, в солдатском мундире, читал вслух какую-то книжку. При входе моем студенты (их было трое), лежавшие на кровати и на диване, встрепенулись. Тут я заметил, что они были заспаны.

— Что это, вы спали?

— Был грех. Читал нам Всеволод «Натана Мудрого» [7], да показалось скучновато, и мы «под говор слов его» вздремнули,— ответил хозяин комнаты, добродушно засмеявшись. <...>

Согласитесь, однако, что молодежь, собирающаяся зимою 1878 г. для совместного чтения «Натана Мудрого», хотя бы и засыпающая над ним, нисколько не была похожа на остальную молодежь тогдашнего времени.

Гаршин любил рассказывать о своих военных впечатлениях. Иногда ему случалось подсмеиваться над начальством. Но тут честная натура его обнаруживалась во всей своей красоте. Он не опускал никогда ни малейшей черточки, которая могла представить того или другого военного деятеля в выгодном свете. В его правдивых рассказах, чуждых малейшей тени шовинизма, чувствовалась серьезность и торжественность дела, за которое русское войско проливало свою кровь. В особенности его занимал русский солдат. В одно из моих первых свиданий с Гаршиным я спросил его, над чем он работает. —

«Я пишу мои военные впечатления», — ответил он; — мне бы хотелось представить военный поход с точки зрения солдатской шкуры. Но это очень трудно, не по моим силам.

Гаршин говорил о «Записках рядового Иванова», которые он напечатал только года два спустя.

В марте 1878 г. мне пришлось уехать из Петербурга; с тех пор я с Гаршиным не встречался. В Париже я имел о нем изредка вести от И. С. Тургенева. Гаршин был одним из немногих молодых писателей, которых И.<ван> С.<ергеевич> искренне любил и от которых ждал многого.

— Вот это писатель, — сказал он однажды, говоря о Гаршине, — не другим чета.

— Да, но он чересчур нервен, — возразил присутствовавший при этом один молодой человек.

— А, не говорите! У него слог вполне мастерский; а нервность — это пустяки, пройдет. Ведь он совсем еще молодой. Если он будет здоров, из него выйдет большой, очень большой человек. У него есть главное — он поэт [8].

7 Заказ 3103

Н. С. Русанов

Николай Сергеевич Русанов (псевдоним Н. Кудрин; 1859—1920 гг.) — публицист-народник, член семидесятнической организации «Земля и воля», сотрудник журналов «Русское богатство», «Устои», позже — нелегального «Вестника «Народной воли». В 90-х годах, будучи уже эмигрантом, явился учредителем группы старых народовольцев, в которую входили С. Кравчинский (Степняк), П. А. Кропоткин и др.

С Гаршиным был знаком с конца 70-х годов. Приведенное здесь воспоминание относится в основном к 1880 году и содержит характеристику общественно-политических позиций писателя этих лет. Особое внимание уделяется рассказу о посещении Гаршиным Лорис-Меликова с целью предотвратить казнь покушавшегося на него И. Млодецкого. Русанов справедливо связывает трагедию Гаршина с теми «поистине ужасными условиями», которые пережила русская интеллигенция начала 80-х годов. Эта же мысль, только более развернуто, была сформулирована в статье Г. Успенского «Памяти В. М. Гаршина».

В воспоминании Русанова допущена явная ошибка, связанная с историей взаимоотношений Гаршина и Тургенева. Он неправомерно утверждает, что Гаршин дважды встречался с Тургеневым зимой 1879—1880 года. Между тем из писем последнего к Гаршину (см. примечания 3 к воспоминанию И. Шляпкина и 1 к данному воспоминанию) очевидно, что личное знакомство их так и не состоялось не только в этом году, но и в последующие годы. Такая же фактическая ошибка содержится и в «Воспоминаниях о Всеволоде Гаршине» С. Н. Кривенко («Исторический вестник», 1890, кн. 2, с. 277).

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

<фрагменты>

<...> зимой 1879—1880 г. Тургенев явился в Петербург с твердым намерением ближе познакомиться если не с действующими революционерами, то с радикальной частью печати и, главным образом, с «молодыми литераторами», узнать, что

волнует теперь этих людей. И это намерение он привел в исполнение. <...> Чем были эти свидания с Тургеневым? <...> Мне врезались два из них. Одно, самое первое, было на квартире Глеба Успенского, на окраине Петербурга. <...> Мы, т. е. сам хозяин, с его крупными, чисто русскими чертами <...>, с прерывистой, удивительно образной речью <...>; беллетрист-народник Наумов <...>, публицист-обозреватель С. Н. Кривенко, красивый, плотный брюнет с иисусистым лицом <...>; милый, задушевный Гаршин <...> и еще человек пять-шесть <...>.

Тургенев остался очень заинтересован первым знакомством с нами, и следующее свидание было назначено у одного миллионщика-мецената из купеческого сословия. <...>

На этот раз Тургенев встретился уже с нами, как со старыми друзьями. Он сидел возле Гаршина[1], к изящному таланту которого чувствовал особое влечение. Гаршин чуть не с самого начала вечера и, по обыкновению, вкладывая всю душу в то, что говорил, обратился к Тургеневу от своего лица и от лица «молодого поколения» с вопросом, который в иных устах мог бы показаться совсем неуместным. «Всем нам крайне интересно знать, что нужно делать теперь, по вашему мнению, в России, Иван Сергеевич? Верен ли путь политической борьбы, на который стали революционеры? Или, как прежде, идти в народ?» В эту минуту можно было, кажется, расцеловать Гаршина: так просто, мило и конфузясь и как бы заранее извиняясь за свой очень щекотливый вопрос, он обратился к Тургеневу; но многим из нас стало очень неловко.

Тургенев первую минуту, действительно, несколько смутился, но потом улыбнулся и только развел руками, как бы говоря: «Ну, что с вами поделаешь, большой вы ребенок!» «Я вижу, — начал он после минутного молчания, — что молодые люди по-прежнему заняты вопросом, что делать... Мне кажется, им самим и надо решить его... Стариков упрекают порой, что они перестали понимать задачи молодого поколения <...> Да я и живу теперь в России только наездом и не берусь решать сложные вопросы политики... Так ли надо вести дело, как оно ведется теперь, — не знаю. Но что хождение в народ не удалось, это, кажется, очевидно. Да и могла разве удасться пропаганда отвлеченностей социализма людям, вся жизнь которых состоит из перехода от одной конкретной, осязательной вещи к другой. <...> Если речь, которую вы ведете к мужику, не идет прямо навстречу его конкретным желаниям, он не станет вас слушать...

<...> Наряду с Тургеневым, вероятно по закону контраста, всплывает в моей памяти то скорбное, то улыбающееся, но всегда симпатичное лицо Гаршина. То, поистине, была противоположность Тургеневу. Этот — громадный, седовласый, величавый и, насколько мне казалось, наслаждавшийся действительностью как материалом для художественного творчества <...>. Тот — небольшой, черный, волнующийся, нервный, страстный, любящий и ненавидящий действительность прежде всего ради ее самой, но вслед за тем отвечавший на это первое впечатление художественным воссозданием своей собственной взволнованной души. <...>

Как сейчас помню его красивое, несколько смуглое лицо южанина, с лихорадочным румянцем на щеках, с длинными черными волосами и короткой бородкой; его карие, искристые и вдумчивые глаза, которые оставались печальными даже в то время, когда он смеялся; его нервно подергивающиеся губы; его торопливые движения; и его голос, западавший глубоко вам в сердце своей необычной интонацией, своим певучим переходом от высоких нот к низким, своей странной, я бы сказал, гармоничной надтреснутостью, которая порою производила впечатление рыданий. Познакомился я с ним на редакционном собрании одного журнала. Когда я узнал, что передо мной был автор «Трех дней» и «Одной из многих» [2], я не мог удержаться, чтоб не сказать ему, какую глубокую симпатию я и мои товарищи питаем к его гуманному, изящному таланту. Он встрепенулся, но для него дело было, очевидно, гораздо менее в похвалах, чем в том, что он, художник-человек, производил впечатление на читателя-человека, что его творчество устанавливало, словно электрический ток, симпатии между людьми, которые разделяли его гуманную любовь к человеку вообще, и своей изящной формой затрагивало даже индифферентистов.

Когда мне говорят о тенденциозных писателях и противопоставляют их чистым художникам, мне всегда припоминается Гаршин: уж кто, как не Гаршин, обращал внимание на изящество форм, кто, как не он, дорожил способом выражения, стало быть, чистым искусством, и кто в то же время, как не он, был более тенденциозен в том смысле, что во всякой его вещице была идея, глубокое чувство к людям, отзвук на их страдания? Но вся его тенденциозность заключалась в его чуткой, туго натянутой душе, звучащей, не скажу в унисон, а в сложный аккорд с явлениями жизни, аккорд, не исключавший порой мучительного диссонанса. Его волновали вопросы, которые

волновали лучших людей его времени, и, потрясенный ими, он не мог не звучать в ответ, и звучал, все звучал, пока не порвалась его тонкая организация... Борьба русских социалистов с правительством производила на него страшное впечатление; прекрасные и в художественном смысле фигуры революционеров глубоко потрясали его, а бессмысленная реакция, которая скосила целое поколение лучших русских людей, опрокинула и без того неустойчивое душевное равновесие Гаршина. С этой стороны Гаршина мало знают; я на это и обращу как раз внимание.

Покушение за покушением, исходившие от народовольческой организации, создали такую атмосферу, что люди, и не имевшие никакого касательства к партии, били тоже в эту точку. Так, Млодецкий стрелял в Лорис-Меликова. Весть о покушении глубоко взволновала весь Петербург. За два дня до казни Млодецкого мне пришлось случайно ночевать у Гаршина. Он жил в то время по Садовой, в огромном доме Яковлева, нанимая меблированную комнату вместе с художником Малышевым, тем самым, к рисункам которого «Табак» Гаршин сочинил текст в стихах, начинавшийся так:

Злак благодатный,
Дым ароматный
Ты нам даешь...

Мы уже давно улеглись с художником, а Гаршин все еще был на ногах, нервно бегал по комнате, что-то писал — и рвал и опять писал, пил воду стакан за стаканом, ломал в отчаянии руки, сдерживая рыдания, наконец, наскоро накинул пальто и шапку и выбежал... Мы заснули... Часов в 9 утра вбегает к нам, как сумасшедшая, коридорная женщина и просит нас встать, так как к нам идут частный пристав с околоточным... Спросонья мы не могли ничего понять. «Здесь квартирует г. Гаршин-с?» — осведомился просунувший свой нос в дверь пристав. — «Здесь... А что?» — «Я прислан справиться, точно ли здесь квартира г-на подпоручика Гаршина и жил ли он здесь до последнего времени?» — «Не только жил, а живет и вышел несколько часов тому назад и, может быть, сейчас же вернется». Нам показалось, что на последние наши слова полицейский нос улыбнулся, зная, очевидно, об этом больше нашего. Дверь захлопнулась.

Беспокойство овладело нами. Мы вскочили, наскоро напились чаю и отправились по разным знакомым разыскивать Гаршина. Его никто не видал. Так прошел мучительный день,

наступил другой. Я сидел в редакции старого «Русского богатства». Вдруг является туда Гаршин, нервный больше даже, чем по обыкновению, и страшно сконфуженный. Он бросился, как малое дитя к матери, к своему близкому приятелю С. Н. Кривенко и сейчас же потащил его в отдельную комнату: «Мне надо поговорить с вами, голубчик, непременно надо», — твердил он умоляющим голосом. Минут 10 опустя он выскочил в редакционную комнату, а оттуда в переднюю и вдруг, вернувшись на минуту, обнял своего собеседника. <...>

Вот что, оказалось, сделал внезапно ушедший от нас ночью Гаршин. Когда он узнал, что Млодецкий послезавтра должен быть повешен, он решил сначала написать к Лорис-Меликову письмо, прося в нем помиловать Млодецкого. Но ему все казалось, что у него выходит недостаточно красноречиво, и он рвал лист за листом. Наконец, он предпочел пойти к Лорису, чтобы при личном свидании объяснить тому всю необходимость простить стрелявшего. Он, действительно, явился в 6 часов утра и настойчиво просил дежурного офицера передать его, гаршинскую, визитную карточку спавшему еще в то время всемогущему диктатору. Лорис-Меликов, который любил прикидываться человеком образованным и даже следящим за отечественной литературой, вспомнил, что, действительно, есть такой себе на свете писатель Гаршин, и припомнил, кроме того, что он знал этого Гаршина еще раньше как добровольца во время русско-турецкой войны: Гаршин был даже ранен там и получил, кажется, чин подпоручика за храбрость. Лорис был заинтересован ранним посещением неожиданного просителя и принял его не в урочный час.

Сначала Гаршин пытался горячо доказывать диктатору, как было бы гуманно, тактично и даже полезно в общественном смысле с его стороны помиловать Млодецкого, тем более, что этот покушался именно на Лорис-Меликова, да и покушение не удалось. Но Лорис и тут показал себя тем, чем всегда был: дрянным честолюбцем и шкурным человеком, разыгрывавшим роль самоотверженного государственного деятеля. Он стал прятаться за высшие принципы, за необходимость неукоснительного подавления преступлений, говорил, что будто бы прощение Млодецкого зависит не от него, а от государя. Взволнованный до глубины души, Гаршин вздумал прибегнуть к военной хитрости: «Граф,— крикнул он,— а что вы скажете, если я брошусь на вас и оцарапаю: у меня под каждым ногтем маленький пузырек смертельного яда, малейший укол — и вы мертвы». Конечно, граф отлично видел своего страшного вра-

га, этого симпатичного, едва державшегося на ногах от волнения юношу, и отлично понимал наивность угрозы. Но все-таки не преминул разыграть великого храбреца: «Гаршин, вы были солдатом, а я и теперь, по воле монарха, солдат на посту; как же вам пришло в голову пугать меня смертью; сколько раз мы смотрели ей с вами в глаза». Обескураженный Гаршин и не заметил всего комизма этого актерства, был даже тронут ответом Лориса и вдруг, зарыдав, снова стал умолять азиата-царедворца помиловать Млодецкого, дошел чуть не до обморока; наконец, добился от Меликова обещания хоть на время отложить казнь и снова рассмотреть дело... Как и следовало ожидать, обещание не было исполнено, и Млодецкого вздернули в заранее назначенный срок.

На Гаршина это подействовало ужасно. Он теперь вечно все торопился куда-то, хватал себя за голову, словно стараясь вспомнить что-то, зачастую говорил с каким-то воображаемым собеседником. Весною 80 г. товарищи решили отправить Гаршина куда-нибудь подальше из Питера. <...> Остановились на юге, на родных. Путешествие это, как оказалось, было целой печальной одиссеей. Гаршин приехал домой лишь через два-три месяца после всевозможных приключений совершенно больным душевно. Между прочим, он заехал по дороге в Ясную Поляну к Льву Толстому, а от него пустился по окрестным деревням, купил верховую лошадь и евангелие, надел крестьянский полушубок и останавливался то там, то здесь, читая мужикам евангелие, толкуя больше на тему прощения врагам [3]: читатель поймет связь этого с предыдущим. Начальство переполошилось, но дело скоро было выяснено, и Гаршина отправили к матери, если не ошибаюсь, в Харьков <...>.

К лету 1880 г. его помешательство приняло острую форму. Мне пришлось быть в то время в Орле, куда приехал поразвлечься и Гаршин со своим родственником. Услыхав о моем пребывании там, он рвался увидеть меня, но не застал меня в квартире, после чего куда-то исчез, страшно встревожив своего спутника. Тот принес мне на следующий день записку от Гаршина, и у меня и теперь еще стоит перед глазами этот дрожащий, галопирующий на бумаге почерк, почерк человека, на которого нахлынули события и увлекают его <...>. Всеволод Михайлович поставлял меня в известность, что теперь он не видит иного исхода для России, как в кровавой революции, что центром ее он избрал Орел, что местный генерал, кажется Дараган, на нашей стороне и что сам он идет в народ подготовлять восстание...

Если не ошибаюсь, это душевное состояние Гаршина в 1880 г. было художественно-трагически передано им в написанном года три спустя «Красном цветке»...

<...> все знают печальный конец Гаршина. И в этом конце важная роль принадлежит тем поистине ужасным условиям, которые пережила русская интеллигенция начала 80-х годов, раздавленная, растоптанная на корню диким произволом,— это «поколение, проклятое богом», героизм, борьбу и страдания которого воспевал принадлежавший к нему поэт-каторжник [4].

Е. Г. Шольп

Евгений Густавович Шольп в молодости был близок к народническим кругам и некоторым деятелям «Отечественных записок».

Его воспоминания относятся к 1883 году. Несомненный интерес представляет сообщение автора о дружеских отношениях Гаршина с народническим публицистом С. Н. Кривенко, сотрудничавшим в эти годы в «Отечественных записках», и о непричастности писателя к деятельности революционного народничества. Однако явно несправедливым представляется упрек Гаршину в том, что его «мало занимали» «борьба за общественные идеалы» и «жертвы» этой борьбы. В воспоминаниях Е. Шольпа отражены страстное увлечение Гаршина живописью и его глубокие и тонкие суждения о ней.

ОБРЫВКИ ВОСПОМИНАНИЙ О В. М. ГАРШИНЕ

Ровно тридцать лет назад, весной 1883 года, в Петербурге мне пришлось видеть несколько раз Гаршина у Сергея Николаевича Кривенки. Последний был в то время одним из соредакторов «Отечественных записок», и несмотря на то, что за высылкой Н. К. Михайловского и болезнью М. Е. Салтыкова был завален редакционной работой и подавлен придирками цензуры, все-таки находил время уделять ежедневно 1—2 часа близким, знакомым и учащейся молодежи. В одно из таких посещений, когда шел разговор о только что случившихся каких-то арестах[1] и необходимости помочь, вошел в кабинет к С.<ергею> Н.<иколаевичу> человек в возрасте около тридцати лет, с красивым овалом лица, обрамленным черною бородою с большими, беспокойными, производящими сильное впечатление, глазами. Кривенко назвал нам фамилию гостя после его ухода, так что первые впечатления не преломлялись в сознании через призму представления об известном писателе. Но зато вытащенные через тридцать лет откуда-то со дна души, они, конечно, поблекли и подверглись влиянию времени.

Разговор и при Гаршине продолжался об арестах, особенно волновавших спокойного на вид, но глубокого в переживаниях Кривенку. В.<севолод> М.<ихайлович> не только не принимал никакого участия в беседе о бытовом явлении русской жизни, но как мне, зеленому юноше, всецело захваченному политикой, тогда казалось,— не выражал никакого сочувствия к пострадавшим[2]. Но вскоре Гаршин сам овладел всецело хозяином, мало обращая внимания на двух его юных гостей, и разговор перешел на русских художников, причем Всеволод Михайлович показывал принесенную им с собою большую копию с какого-то портрета, исполненного Репиным. Говорил почти один Гаршин, оживленно, занимательно, перемешивая в своей речи сведения из личной жизни знакомых ему художников с оценкой их произведений. Насколько помню, чаще упоминались имена Репина и Семирадского[3], но что именно о них говорилось — не помню.

Гаршин настолько сам был поглощен темой им же развиваемой беседы и так захватывал внимание, что я, вначале несколько недовольный, что разговор перешел от идеальных стремлений к искусству, интерес к которому в то время в некоторых ригористических политических кружках встречал отрицательное отношение, стал очень внимательно прислушиваться к словам В.<севолода> М.<ихайловича> и как бы мысленно примиряться с ним.

Просидев не больше часу, Гаршин как-то торопливо ушел.

— Это Гаршин, он недавно оправился от психической болезни и теперь служит секретарем на железной дороге,— сказал нам хозяин.

Автор «Четырех дней» и «Художников» (в радикальных кружках молодежи того времени особенно ярко подчеркивался образ гаршинского «глухаря»[4]),— и вдруг каким-то секретарем на железной дороге! Это вызвало какое-то разочарование.

Второй и третий раз у того же Кривенки, жившего тогда за Николаевским вокзалом, кажется на Полтавской улице, мы встречались с В.<севолодом> М.<ихайловичем> уже как знакомые. С. Н. Кривенко уделял тогда часть своего времени не для пропаганды[5], а для беседы с посещавшей его молодежью. С приходом Всеволода Михайловича, который, видимо, был расположен к Кривенко[6], мы все несколько съеживались. Его дух и мысль, видимо, витали в других областях, мало тогда нам доступных. Поглощенные идеями «Писем» Миртова[7], Н. К. Михайловским и идеалами народничества, посещавшие тогда Кривенко чувствовали, что Гаршин — человек иного ду-

ховного склада и при нем как-то смолкали. Оставлял при Всеволоде Михайловиче и Кривенко свою постоянную тему о трудном положении «Отечественных записок» и о висящей над ними грозе [8]. Борьба за общественные идеалы, являвшаяся основным догматом тогдашней радикальной молодежи, и ее жертвы мало, как нам казалось, занимали Гаршина... Он вел разговор на общежитейские темы.

И все-таки сила влияния этой высокоталантливой нервной организации была настолько велика, что и через тридцать лет его черты остаются живыми, тогда как многие умные разговоры на разные общественные темы совершенно заглохли в сознании.

Л. Ф. Пантелеев

Лонгин Федорович Пантелеев (1840—1919) — участник революционного движения 60-х годов, член тайного общества «Земля и воля», крупный общественный деятель, издатель и публицист. Пантелеев — автор воспоминаний, имеющих огромное литературно-историческое значение, представляющих важный источник сведений о литературно-общественном движении 60—80-х годов и о писателях этих десятилетий (Чернышевском, Салтыкове-Щедрине, Гаршине и др.). Воспоминания о Гаршине написаны в связи с 25-летием со дня его смерти. Пантелеев хорошо знал писателя по работе в Комитете Литературного фонда, по переводческой деятельности Гаршина и как человека, с которым приходилось общаться в различных литературных кругах, в том числе в обществе Салтыкова. Хотя воспоминания Пантелеева о Гаршине и написаны позже большинства опубликованных к этому времени мемуаров, в них содержатся некоторые дополнительные сведения о писателе. Гаршин характеризуется как незаурядная, «изящная» личность во внутренних и внешних своих проявлениях, остроумный оратор, свободно владеющий словом, тонкий ценитель искусства (и прежде всего живописи), чуткий к художественной правде. Большой интерес представляют сведения Пантелеева о переводческой деятельности Гаршина. Кроме упоминания об известном факте перевода им «Коломбы» Мериме, мемуарист впервые сообщает о переводе начала «Персидских писем» Монтескье и произведения Андре Лео «Идеал в деревне». Пантелеев пытается определить и общественные позиции Гаршина. Опираясь на беседы с писателем и его друзьями, он справедливо «разводит» Гаршина с революционным движением и сближает с нравственно-этическими идеалами Л. Толстого. Но в отличие от последнего, видевшего панацею от всех зол в проповеди новой морали и религии, Гаршин, по мнению мемуариста, возлагал большие надежды на то, что устранение непонимания между людьми положительно скажется на общественных отношениях.

ПАМЯТИ В. М. ГАРШИНА

Ввиду приближения 25-летия со дня смерти В. М. Гаршина несколько лиц обращалось ко мне с просьбою поделиться с ними моими воспоминаниями о Гаршине. Я всем отвечал одно: хотя я знал Гаршина в течение более чем десяти лет, а в последние три года был даже в довольно близких отношениях,

но чего-нибудь особенно нового в дополнение к биографическим сведениям, давно уже оглашенным, сообщить не имею. Однако пришлось уступить дружескому настоянию редакции «Современного слова».

Прежде всего я позволю себе указать на одну черту покойного В.<севолода> М.<ихайловича>, на которую, кажется, до сих пор не было обращено внимания. Гаршин был прежде всего поразительно изящная личность с головы до ног, во всех ее как внешних, так и внутренних проявлениях. При красивом и выразительном лице, он был пропорционально сложен, а его легкая поступь, естественная грация всех движений придавали ему какой-то аристократический отпечаток человека, скорее родившегося под классическим небом Италии, чем в Бахмутском уезде. Гаршин, разумеется, не заказывал себе костюмов у первых портных и дальше соблюдения опрятности его личные заботы об одежде не шли, а между тем всякий костюм выглядел на нем, как будто был сработан первым портным. Гаршин, сколько мне известно, не особенно обучался танцам; но я, как сейчас, вижу его на детских «балах» под Новый год у А. Я. Герда, где устраивались незатейливые танцы в три-четыре пары. Тут Гаршин положительно приводил всех в восторг, и больших, и малых; он не только с поразительной легкостью проделывал все обязательные па и фигуры, но и постоянно импровизировал свои собственные, точно был прирожденный балетмейстер, но без неприятного отпечатка профессиональной дрессировки. Судя по очень немногим, до известной степени публичным речам Гаршина, можно все-таки сказать, что он вполне свободно владел словом и был остроумный оратор. В обществе в обыкновенной беседе он не поражал шаблонной привычкой говорить обо всем, хотя и обладал самыми разнообразными сведениями, часто весьма специальными; но его разговор, в котором сказывалась тонкая наблюдательность, всегда был очень интересен, а его меткие замечания и характеристики, притом высказываемые без малейшего подчеркивания, привлекали сосредоточенное внимание слушателей; особенно пленяло всех то добродушие, которое оттеняло его отрицательные суждения. Гаршин, например, далеко не разделял всех взглядов В. В. Стасова, но относился к нему с сыновней любовью, что и скрашивало его нередкие указания на забавные промахи В.<ладимира> В.<асильевича>.

Известны близкие отношения Гаршина с художественными кругами, особенно с передвижниками; с некоторыми из них, например, с Н. А. Ярошенко, он был в самых дружеских отно-

шениях: их сближало не только одинаковое понимание задач искусства, но и сродство душевных настроений. В своих статьях о художественных выставках[1] Гаршин не гремел, как Стасов, одних беспощадно казнивший, других подымавший выше облака ходячего; в них не было и академической отделки присяжного критика «Голоса», покойного Матушинского. И тем не менее к художественным суждениям Гаршина относились с полным вниманием, так как видели в них отражение души, необыкновенно чуткой к восприятию художественной правды. Даже случайно брошенный взгляд открывал Гаршину тайники человеческой души. Припоминаю такой разговор в одну из моих сред[2]. Почему-то зашла речь об А. Толстом[3] и кое-кто заметил, что у него было грубое, неприятное лицо. Гаршин на это возразил:

— Да, так могло показаться с первого взгляда; но стоило пристальнее всмотреться, и впечатление получалось совсем другое.

— А вы его знали?

— Нет, но я видел его бюст у Льва Николаевича.

Гаршин был в Ясной Поляне самое короткое время, всего несколько часов, притом в состоянии крайне острого душевного недуга и возбуждения, вызванного им, и тем не менее подметил тонкую разницу между внешней оболочкой человека и его внутренним содержанием. Когда какое-нибудь художественное произведение привлекало на себя внимание Гаршина, от его глаза не ускользали даже совсем третьестепенные детали. Раз на выставке передвижников я сошелся с В.<севолодом> М.<ихайловичем> у картины Поленова «Грешница». Я высказал несколько замечаний по поводу излишней вырисовки храма. «Да, вы, может быть, и правы; но посмотрите на этого ослика, ведь он совсем живой, так и хочется вскочить на него»,— чуть не с детским восторгом проговорил В.<севолод> М.<ихайлович>.

Позволяю себе напомнить еще одну черту Гаршина. Будучи несомненно натурой больной, он, однако, не проявлял сколько-нибудь заметных симпатий к тем направлениям в литературе, где сказывалось или затяжное нытье, или не вполне здоровое направление; он считал это явление скоропреходящим, не верил в его будущность.

Известно, что Гаршин обладал совершенно исключительной памятью. Недавно один критик упрекал его, что совсем с ненужной обстоятельностью он, как бухгалтер, часто приводит цифры (например, № винтовки), часы и т. п.[4]. Эти мелочи луч-

ше всего свидетельствуют, что описываемый предмет или явление целиком взяты из действительности; самое мимолетное впечатление прочно закреплялось в его памяти. Не будучи особенным поклонником Фофанова, он, однако, всего его знал наизусть, потому что раз прочел [5].

Эта память была и большим несчастием для Гаршина, ведь он помнил все до мельчайших подробностей, что с ним происходило в болезненные периоды!

В 1887 г. я задумал издать «Персидские письма» Монтескье [6] и как-то сообщил В.<севолоду> М.<ихайловичу> о своем намерении; тот высказал живейшее сочувствие.

Когда я спросил его: «А вы взялись бы перевести их?» — «С удовольствием» (хотя он тогда совсем не нуждался в переводной работе). Я передал ему оригинал. Вскоре В.<севолод> М.<ихайлович> при встрече сказал мне: «Я перечитал Монтескье и даже начал переводить, эта работа очень увлекает меня».

Но прошло очень немного времени, и В.<севолод> М.<ихайлович> заболел.

Изредка я видал его, и он всякий раз извинялся, что перевод остановился, даже предлагал передать кому-нибудь другому. Я успокаивал В.<севолода> М.<ихайлови>ча тем, что ведь это дело не спешное. В начале марта 1888 г. он, как известно, вдруг почувствовал себя хорошо и стал спешно собираться на Кавказ; он очень благодарил меня, что я оставил за ним перевод «Персидских писем». «Я только их и беру с собою, ничего другого не думаю делать в Кисловодске». Но болезненное состояние скоро вернулось; уже 19 марта он писал мне: «Я совсем болен», а 24 числа его не стало.

Таким образом, перевод начала «Персидских писем» (11 писем) — он у меня сохранился — кажется, надо считать последней литературной работой В.<севолода> М.<ихайлови>ча [7].

Покойная Магд.<алина> Мих.<айловна> Латкина, очень близко знавшая Гаршина, на мой вопрос, занимался ли В. <севолод> М. <ихайлови>ч переводной работой, дала мне такой ответ: «Всеволод Михайлович перевел в сотрудничестве с своей двоюродной сестрой Тат.<ьяной> Ник.<олаевной> Акимовой повесть Мериме «Коломба»; она была напечатана в 1882 или 1883 г. в журнале «Иностранной литературы», который издавал П. И. Вейнберг [8]. И еще: помнится, В.<севолод> М.< ихайлови>ч переводил «L'idèal au village» * Андре Лео, но была ли работа окончена и напечатана, не знаю» [9].

---

* «L'idéal au village» (*фр.*) — «Идеал в деревне».

В кругу близких друзей В.<севолода> М.<ихайловича> хорошо известно было, что он считал наследницей своих литературных прав свою жену Надежду Михайловну (урожденную Золотилову), но завещания не успел сделать. Потому после его смерти законными наследниками явились: вдова и два брата, Евгений и Георгий Михайловичи. Между наследниками возникли несогласия, которые и закончились следующим образом: Надежда Михайловна и Евгений Михайлович безвозмездно передали принадлежавшие им права в собственность Литературного фонда, а Георгий Михайлович продал свою долю Я. Г. Гуревичу, который и принес ее в дар Литературному фонду.

Вся чистая прибыль от издания сочинений Гаршина записывается в капитал его имени; он на 1 января 1913 г. составил 55714 рублей.

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ «НОВОЕ О ГАРШИНЕ»

(Письмо в редакцию)

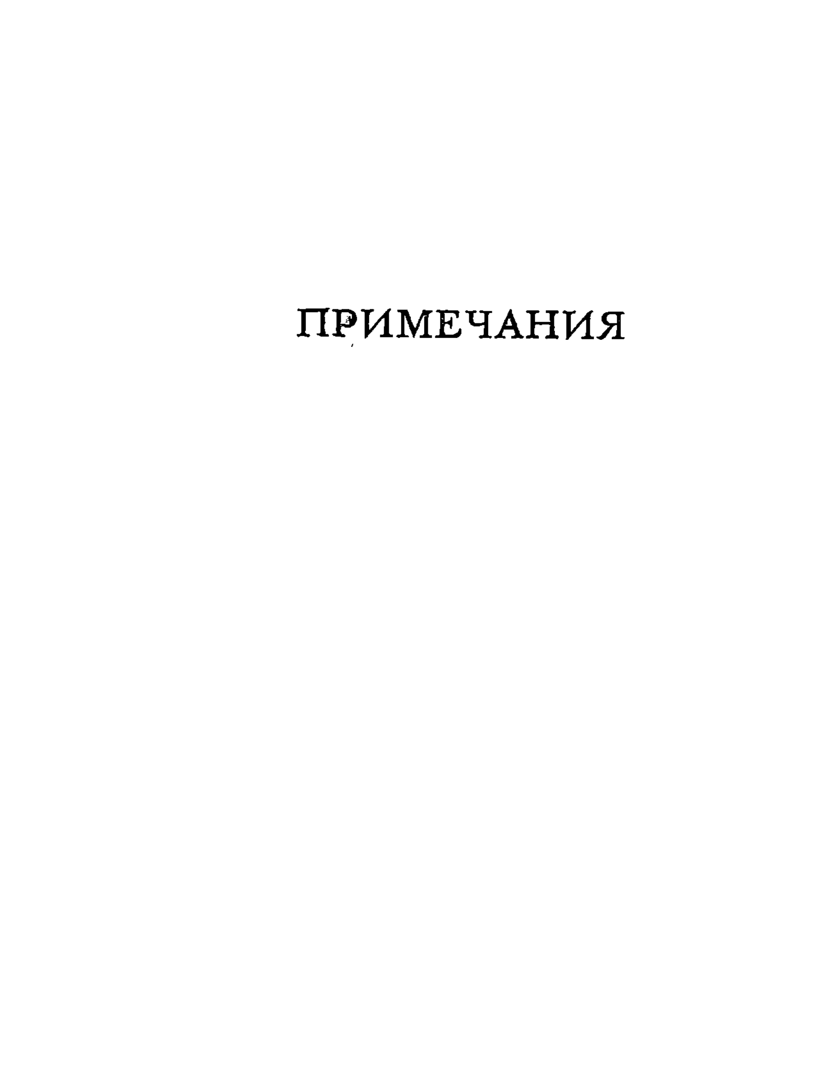
В майском номере «Голоса минувшего» в статье «Новое о Гаршине»[1] в примечании в числе материалов указывается и моя статья «Памяти Гаршина». Случайно в ней оказался пропуск (он был восстановлен на литературном чтении в память Гаршина 8 мая), который и позволяю себе сообщить редакции «Голоса минувшего». Вот этот пропуск.

«В каком лагере стоял Гаршин? На основании свидетельств самых близких к нему людей я могу с точностью утверждать, что никакого участия в тогдашнем революционном движении он не принимал. Это происходило не от индифферентизма, а коренилось в особенностях его духовной природы. Гаршин глубоко страдал от нестроения нашей жизни, как страдал бы в любой стране с самыми совершенными формами общественности. Но ни приемы борьбы, с одной стороны, ни самозащита, с другой, не казались ему способными решить проблему гармонизации общественных отношений. Тут он сближался с Л. Н. Толстым; только не в проповеди новой морали видел панацею, а в устранении великого всеобъемлющего непонимания людьми своих взаимных отношений. Иногда свою мысль, вернее сказать — чувство, он высказывал с резкой определенностью. «Поймите же,— писал он раз А. Я. Герду,— все болезни существуют от одной причины, которая будет существовать всегда, пока существует невежество». Тут под словом «невежество»

надо понимать не одну противоположность школьному знанию. Припоминая некоторые беседы с Гаршиным, насколько понимаю, его основная мысль была такова: действительное знание, органически связывающееся с таким перевоспитанием душевных инстинктов человека, что в силу этого само собой должно установиться взаимное понимание и признание за каждым права жить по его усмотрению, не препятствуя и другим проявлять свою личность во всей полноте ее содержания.

Как достигнуть такого грандиозного синтеза, Гаршин нигде не указал; да сомнительно, чтоб и мог это сделать, потому что вероятный результат долгих веков общественного развития принимался за средство уврачевания».

P. S. К сведению г. Дурылина [2]: по наведенным справкам у вдовы Н. М. Гаршиной оказывается, что ей решительно неизвестно, чтоб Гаршин в болезненном состоянии уничтожил какие-нибудь свои рукописи [3].



ПРИМЕЧАНИЯ

СРЕДИ РОДНЫХ, ДРУЗЕЙ, ЗНАКОМЫХ

Е. М. Гаршин

Печатаются (с незначительными сокращениями) по текстам: «В. М. Гаршин. Воспоминания» — журнал «Родник» (1888, кн. 6, с. 559—569); «Литературные беседы» — газета «Биржевые ведомости» (1888, № 91, 1 апреля), «Литературный дебют Всеволода Гаршина» — журнал «Русская мысль» (1913, кн. V, с. 105—111); «Как писался «Рядовой Иванов» — «Солнце России» (1913, № 13, 23 марта).

В. М. ГАРШИН. ВОСПОМИНАНИЯ

[1] Имеется в виду Н. М. Минский-Виленкин и его стихотворение «Над могилой Гаршина».

[2] Речь идет о Дмитрии Степановиче и Николае Степановиче Акимовых, участниках Севастопольской кампании 1854—1855 годов.

[3] Мать В. М. Гаршина с 1860 года стала гражданской женой П. В. Завадского, воспитателя старших братьев будущего писателя и члена Харьковского революционного кружка Я. Н. Бекмана и М. Д. Муравского. В качестве сосланного Завадский жил в Петрозаводске (Олонецкой губ.) в 1862 году и вновь после ареста — с 1863 года.

[4] Журнал «Подснежник» (1858—1862) издавался под редакцией сотрудника «Современника» В. Н. Майкова при участии Некрасова, Тургенева и Гончарова. В нем печатались произведения Григоровича, Марко Вовчка, Диккенса, Вальтера Скотта, сказки А. Афанасьева и др. «Журнал для детей» (1851—1865), издававшийся М. Б. Чистяковым, отличался религиозно-нравственной направленностью и привлекал внимание Е. С. Гаршиной, по-видимому, научно-популярными статьями по естествознанию, редактируемыми писателем-натуралистом А. Е. Разиным.

[5] Речь идет о В. Н. Афанасьеве, в семье которого В. Гаршин прожил несколько лет в период учения в гимназии.

[6] Справедливость этого свидетельства подтверждается многочисленными письмами Гаршина с фронта (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 116—143).

[7] 14 июля 1877 года произошло сражение у Есерджи, в котором принимал участие В. Гаршин.

[8] В официальной «Истории 138 Болховского полка» об этом эпизоде

сообщается следующее: «Через 4 дня после Есерджинского боя 2-й батальон нашего полка послан был хоронить убитых. Окончив работу, батальон двинулся уже обратно и, проходя цепью через кусты, случайно открыл в густой чаще раненого <...> Василия Арсеньева. Несчастный был ранен в обе ноги и беспомощно пролежал четверо суток» (Краткая история 138-го Болховского полка. Рязань, 1892, с. 32). Об этом же эпизоде Гаршин сообщает в письме к матери от 21 июля 1877 года (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 131).

[9] Сражение при Аясларе произошло 11 августа 1877 года. Впечатления от этого сражения легли в основу «боевых картинок» Гаршина «Аясларское дело».

[10] Лазарет находился в Водице. Через несколько дней Гаршин был переведен в госпиталь в Беле, где пробыл до конца августа 1877 года.

[11] Имеются в виду М. Е. Малышев и И. Е. Крачковский.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ ВСЕВОЛОДА ГАРШИНА

[1] В 1874 году Гаршиным было написано стихотворение «На первой выставке картин Верещагина». Более ранние поэтические опыты не дошли до нас. К 1876 году относятся его стихотворения: «Нет, не дана мне власть над вами <...>», «Мне жалко вас, родимые места <...>», «Пленница», «Свеча», «Друзья, мы собрались перед разлукой» (см. Полн. собр. соч. В. М. Гаршина. СПб., 1910, с. 397—400).

[2] «Нечто написанное» — вероятно, первая редакция «Подлинной истории Энского земского собрания», которую Гаршин собирался отнести к издателю А. Вольскому. Фамилию этого издателя он называет в цитируемом Евг. Гаршиным письме от 15 января 1875 года (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 29).

[3] См.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 47.

[4] В журналах конца 60-х годов широко обсуждался земский вопрос. В «Отечественных записках» теме земства было посвящено «Письмо осьмое» из «Писем о провинции» Салтыкова-Щедрина (1869, № 8), в котором он полемизировал с дворянскими публицистами — участниками земской деятельности. См. также статьи о земстве в разделе «Современное обозрение» («Отечественные записки», 1869, № 1, с. 141—155; № 10, с. 328—345 и мн. др.).

[5] О литературном обществе, собиравшемся в доме Е. С. Гаршиной, см. в воспоминании В. П. Соколова, (с. 100—102 наст. изд.).

[6] «Азбука социальных наук» (1871) Флеровского — книга русского социолога и публициста, революционного народника В. В. Берви. Пользовалась огромной популярностью в прогрессивных демократических кругах, уничтожена правительством. В одном из писем 1872 года В. М. Гаршин сообщал: «<...> теперь читаю «Азбуку социальных наук» Флеровского, прелесть что такое!» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 424).

[7] Об отношении Гаршина к Диккенсу см. также воспоминание В. Фаусека, с. 71 наст. изд.

[8] Далее в тексте воспоминания следуют выдержки из писем Вс. Гаршина от 5, 12, 15, 22, 26 марта, 14, 21 апреля 1876 года, в которых он сообщал, что очерк будет напечатан в «Молве», редактируемой А. А. Жемчужниковым, делился новыми литературными замыслами, радостью в связи с опубликованием «Подлинной истории Энского земского собрания» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 71—76, 80, 82 и др.).

[9] Р. А. — Раиса Александрова.

[10] См. об этом примечание 8 к воспоминанию Е. Гаршина «Литературные беседы».

[11] Ошибка памяти: рассказ Гаршина «Подлинная история Энского земского собрания» был напечатан в «Молве» (1876, № 15, 11 апреля).

[12] См.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 90—91. В этом письме он сообщает: «Новое время» не напечатало моих стихов. Я думаю, что просто за отсутствием хороших качеств, а другие <...> говорят, что их нельзя поместить за подчеркнутый стих» (имеется в виду строка: Мы не идем по прихоти владыки страдать и умирать <...>).

КАК ПИСАЛСЯ «РЯДОВОЙ ИВАНОВ»

[1] Впечатления В. Гаршина от пребывания в Спасском-Лутовинове изложены им в письмах к Н. М. Золотиловой от 3 и 20 августа 1882 года (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 272—276).

[2] Е. М. Гаршиным были опубликованы: «Воспоминания о И. С. Тургеневе» — в «Историческом вестнике» (1883, т. 11, с. 378—398) и «Имение И. С. Тургенева» — в «Ниве» (1883, № 42, с. 1003—1011).

[3] О жизни Гаршина в Ефимовке см. воспоминания В. С. Акимова (наст. изд.).

[4] В первую книжку рассказов Гаршина (*Гаршин Всеволод.* Рассказы. СПб., 1882, типогр. А. М. Котомина и К°) вошли следующие произведения: «Четыре дня», «Происшествие», «Трус», «Встреча», «Художники», «Ночь».

[5] См.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 285. Далее приводятся выдержки из письма Гаршина к матери от 3 сентября 1882 года, в котором он сообщает о ходе работы над рассказом «Из воспоминаний рядового Иванова» (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 282).

[6] Художественной зарисовке царского смотра в Плоэшти предшествовало письмо Гаршина к матери от 1 июня 1877 года, в котором уже обозначилось его сочувственное отношение к Александру II: «В пыли и в поту пришли мы в Плоэшты, усталые, грязные. Но когда войска стали подходить к тому месту, где на сером коне стоял г<осуда>-рь, солдат нельзя было узнать, так они воодушевились. <...> Шли мимо него бодро, быстро, почти бегом. Он сильно изменился, постарел, побледнел. На его добром лице было так много грусти, что все солдаты заметили это и говорили: «Жалеет он нас! Видно, и у него воля не своя». Вообще в царя они влюблены. Вечером он приехал на бивак, чтобы еще раз посмотреть нас» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 122). В связи с работой над V главой повести Гаршин делился своими впечатлениями от созданной им картины царского смотра (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 277). Об отношении Гаршина к Александру II см. также воспоминания А. Васильева и примечания к ним, с. 95 и 224 наст. изд.

[7] В письме к Е. М. Гаршину от 14 сентября 1882 года писатель действительно выражал сомнение относительно пригодности рассказа для «Отечественных записок»: «Пишу последнюю главку. Плохо, очень плохо вышла у меня эта штучка; серьезно думаю, что М. Е. <Салтыков> не возьмет» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 285).

[8] Гатчина — пригородная царская резиденция.

[9] Свидетельств о вмешательстве Щедрина в текст рассказов Гаршина не сохранилось. Известно только, что опасения Гаршина в нецензурно-

сти рассказа «Трус» («Боюсь, что не пропустят, т. е. не Салтыков, а цензура». — *Гаршин В. М.* Письма, с. 169) оправдались. В письме Гаршину от 26 ноября 1878 года Салтыков сообщал: «Я прочитал Вашу вещь, уважаемый Всеволод Михайлович, и она мне понравилась. Но печатать ее в этом виде, при нынешних условиях, решительно нельзя. Поэтому не будете ли Вы так любезны зайти ко мне переговорить об этом предмете. *М. Е. Салтыков-Щедрин.* Собр. сочинений. Т. 19, кн. 1. М., «Худож. лит.». 1976, с. 89.

[10] См.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 247.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ БЕСЕДЫ

[1] В письме от 14 июня 1880 года Тургенев писал Гаршину: «Каждый стареющий писатель, искренне любящий свое дело, радуется, когда он открывает себе наследников: Вы из их числа» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-ми тт. Письма. Т. 12, кн. 2 (1879—1880). Л., «Наука», 1967, с. 273—274.

[2] Говоря о героях-«идеалистах» у Гаршина, автор воспоминания имеет в виду обращение писателя к романтической личности, внутренне сильной, противостоящей обществу, возвышающейся над ним, посвящающей себя борьбе со злом жизни и чаще всего гибнущей в неравной схватке с ним.

[3] Город Старобельск Харьковской губернии.

[4] Работая над очерком «Подлинная история...», Гаршин вначале намеревался напечатать его в «Петербургском листке», но после его окончания изменил свое решение: «<...> я решительно не хочу тащить его в «Листок»; понесу на суд к А. С. Суворину» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 53).

[5] А. С. Суворин в конце 1875 года вел воскресные фельетоны в газете «Биржевые ведомости» В. А. Полетики, закрытой в 1879 году.

[6] В письме к Р. В. Александровой от 27 октября 1875 года Гаршин сообщал о своем визите к Суворину: «<...> сегодня снес свое маленькое произведение к А. С. Суворину (Незнакомец). Принял он меня так хорошо и тепло, что я от него в восторге» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 56). «Начинания мои он похвалил, — делился он с матерью, — сказал, что написано «литературно», живо и интересно» (там же, с. 58). Очевидно, Суворин вначале рекомендовал напечатать очерк в «Неделе» («Советует снести в «Неделю», там, мол, наверно напечатают», — сообщал Гаршин в этом же письме). Но в связи с приостановкой «Недели» на три месяца Суворин, видимо, предложил опубликовать рассказ в газете «Молва», издававшейся А. А. Жемчужниковым. «Подлинная история Энского земского собрания» появилась в «Молве» (1876, 11 апреля, № 15).

[7] С 1877 года А. С. Суворин возглавил газету «Новое время», в которой очень скоро стал проповедовать реакционно-славянофильские и монархические идеи.

[8] «<...> летом завалю «Молву» очерками Старобельской жизни, — писал Гаршин 5 марта 1876 года, — <...> напишу «Историю прогимназии», «Повесть о том, как поссорились Ст. Дм. с А. А.», «Интенсивная культура» (Кончаловский), «История N обители». План для этих очерков у меня составлен. Старобельск дает обильный материал» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 70—71).

[9] В 1877 году в газете «Новости» был опубликован ряд статей Гаршина о живописи. Автор воспоминаний, по-видимому, имеет в виду

его разбор: «Новая картина Семирадского «Светочи христианства» («Новости» 1877, № 72, 16 марта).

[10] Речь идет о Чехове, рассказ которого «Степь» вызвал восторженный отзыв Гаршина.

А. П. Налимов

К ВОСПОМИНАНИЯМ О ВСЕВОЛОДЕ ГАРШИНЕ

Печатается (с незначительными сокращениями) по тексту первой публикации в журнале «Образование» (1898, № 4, с. 51—53).

[1] В. П. Г. — Василий Петрович Геннинг.

[2] Имеется в виду юношеский рассказ Гаршина «Смерть», впервые приведенный в сборнике «Памяти В. М. Гаршина» с редакционным замечанием: «По-видимому, с этого времени В. М. серьезно задумал сделаться писателем». Об этом сочинении Гаршин писал матери 5 мая 1872 года: «Было у нас еще одно «сочинение», классное; у меня лучшее в классе, Василий Петрович хотя и поставил мне больше, чем всем другим, но все-таки не 5, а 4 1/2 (*Гаршин В. М.* Письма, с. 430).

[3] Это юношеское сочинение заключает весьма характерную и для зрелого Гаршина мысль о верности идеалам, добытым ценой борьбы и утверждаемым даже самой смертью. Его герой умер, «не отступив от того, за что он стоял перед самим собой всю жизнь, что досталось ему после тяжелой борьбы» (Памяти В. М. Гаршина. СПб., 1889, с. 9).

[4] Далее в тексте воспоминания приводится опускаемое нами письмо Вс. Гаршина А. Налимову от 2 июля 1873 года, характеризующее его настроение и интересы тех лет (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 440).

М. Е. Малышев

О ВСЕВОЛОДЕ ГАРШИНЕ

Печатается по тексту первой публикации в художественно-литературном сборнике «Памяти В. М. Гаршина» (СПб., 1889, с. 124—129).

[1] В письме к матери от 23 августа 1877 года Гаршин сообщал: «Третьего дня я был поражен и обрадован внезапным появлением Миши Малышева. <...> Очень мне было приятно поболтать часок с ним» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 142).

[2] См. примечание 8 к воспоминанию Е. М. Гаршина «Гаршин. Воспоминания».

[3] «Солдаты с нами (особенно со мною) в самых дружеских отношениях, — писал Гаршин 29 июля 1877 года. — Не скрою, что это льстит моему самолюбию, тем более что расположения солдат не добиваюсь никакими «подкупательными» средствами, кроме разве писанья писем. Между ними есть несколько истинно хороших людей» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 133).

[4] Журнал «Новь» (Иллюстрированный двухнедельный Вестник современной жизни, литературы и прикладных знаний) начал выходить с но-

ября 1884 года. В письме к матери от 29 апреля 1884 года Гаршин сообщал: «Еще до падения «О.З.» являлся ко мне Вольф (Александр Маврикиевич) — директор высочайше утвержденного товарищества М. О. Вольф и К° <...>. С осени будет издавать журнал — приглашал писать и, несмотря на все мои отказы, приставал с полчаса. <...> Я сказал ему, что обещать теперь не могу, пишу мало, а до осени времени много» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 319—320).

[5] Имеется в виду визит Гаршина к М. Т. Лорис-Меликову в связи с покушением на него И. О. Млодецкого.

[6] Речь идет о разрыве Гаршина с матерью и братом. См. об этом воспоминания И. Е. Репина.

В. П. Сахаров

ВОСПОМИНАНИЯ О В. М. ГАРШИНЕ

Печатаются (с незначительными сокращениями) по тексту газеты «Русская молва» (1913, № 102, 24 марта). Публикация К. Михеева.

В. А. Фаусек

ПАМЯТИ ВСЕВОЛОДА МИХАЙЛОВИЧА ГАРШИНА

Печатается по тексту художественно-литературного сборника «Памяти В. М. Гаршина» (СПб., 1889, с. 77—123).

[1] 11 апреля 1876 года в газете «Молва» был опубликован первый очерк В. М. Гаршина «Подлинная история Энского земского собрания».

[2] Об этом же интересе к естествознанию рассказывал в своих воспоминаниях брат Виктора Андреевича Фаусека — Вячеслав Андреевич (см.: *Фаусек Вячеслав.* Из воспоминаний о В. М. Гаршине. — «Современный мир», 1913, кн. 3, с. 58).

[3] По-видимому, Павлов, товарищ Гаршина по Реальному училищу и Горному институту. О нем Гаршин упоминает в письмах к матери от 24 марта и 11 октября 1875 года (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 39, 45).

[4] 12 апреля 1877 года Александром II был подписан манифест о начале войны с Турцией.

[5] О харьковском периоде жизни Гаршина см. «Воспоминания о В. М. Гаршине» А. В. де Лазари («Русская мысль», 1917, кн. 1, с. 45—52).

[6] По свидетельству М. Малышева в Беле, в госпитале, он услышал от Гаршина эпизод, послуживший темой для его рассказа «Четыре дня» (см. с. 43 наст. изд.).

[7] Рассказ «Четыре дня» был опубликован в октябрьском номере «Отечественных записок» за 1877 год.

[8] К 1879 году Гаршин — автор рассказов «Происшествие» («Отечественные записки», 1878, № 3), «Трус» («Отечественные записки», 1879, № 3), «Встреча» (там же, 1879, № 4).

[9] Рассказ «Художники» опубликован в сентябрьском номере «Отечественных записок» за 1879 год.

[10] Статья Г. И. Успенского «Смерть В. М. Гаршина» опубликована в

«Русских ведомостях» (1888, № 101, 20 апреля). Переработана им для собрания сочинений.

[11] Пропуски при публикации письма в 1889 году в сборнике «Памяти Гаршина», где напечатано воспоминание В. Фаусека, по-видимому, объяснялись цензурными условиями. «Под «трагическим элементом» следует <...> разуметь бытовые осложнения, обусловленные полицейским террором 1879 г.» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 472). Об этой же поездке в Амвросиевку и о «торжественной минуте» (обыске), пережитой у Дорфманов, Гаршин сообщает в письме к матери от 23 июня 1879 года (*Гаршин В. М.* Письма, с. 181). Далее в тексте воспоминаний приводится опущенное нами продолжение письма (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 184—185).

[12] Гаршину импонировало грустное настроение стихотворения М. Ю. Лермонтова «Не смейся над моей пророческой тоскою...» (1837), написанного, вероятно, в связи с преследованием его автора за «Смерть поэта».

[13] А. Ф. Т. — видимо, Александра Федоровна Т., старобельская знакомая Гаршина, о которой он несколько раз упоминает в своих письмах к матери 70-х годов.

[14] В публицистических сочинениях «Исповедь» (1879—1882) и «В чем моя вера» (1884) Толстой изложил свое новое социально-этическое и философско-религиозное учение. Отрекшись от жизни своего класса («Жизнь моя есть бессмыслица и зло»), он пришел к убеждению в необходимости «трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым». «<...> чтобы понять жизнь, — писал Толстой в «Исповеди», — я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь» (*Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. (юбил. изд.). Т. 23, М.-Л., 1957, с. 47). Некоторые из этих идей мысль о важности собственного труда, избавляющего от обязанности работать на себя других) и были, по-видимому, предвосхищены Гаршиным.

[15] Инициаторами издания «Обзоры детской литературы» были А. Я. Герд, педагог-натуралист, либеральный общественный деятель, автор ряда пособий по естествознанию, и В. М. Гаршин. При участии Герда и Гаршина было осуществлено два выпуска «Обзора», посвященных детским книгам 1883 и 1884 годов. В этом издании сотрудничали также Я. В. Абрамов, Н. М. Герд, Н. С. Дрентельн, А. В. Дудышкина, С. И. Дьячкова, М. В. Керножицкая, М. М. Латкина, О. Х. Павлович, А. В. Пешехонов, В. А. Фаусек, С. А. Яковлева и др. Об участии Гаршина в «разборах» произведений детской литературы см. его письмо В. Г. Черткову 1885 года (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 361).

[16] Сентин — псевдоним французского писателя Бонифаса Жозефа Ксавье (1798—1865), романы которого «Малютка», «Изувеченный», «Фаворитка Людовика 13-го», «Одиночество Жана Фернандо, или настоящий Робинзон Крузо» были переведены на русский язык.

[17] Рецензия Гаршина на книгу Сентина неизвестна.

[18] Сведения об основных фактах, относящихся к посещению Гаршина Лорис-Меликова и его выступлению в защиту И. О. Млодецкого, см. в «Записках биографа» С. Н. Дурылина («Звенья». T.V. «Académia», 1935). Воспоминания об этом драматическом эпизоде содержатся в мемуарах М. Е. Малышева, Н. С. Русанова и др. (с. 45, 198—199 наст. изд.), в «Пояснениях Н. М. Гаршиной к письмам 1880—1882 гг.» (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 526) и в статье Г. И. Успенского «Смерть В. М. Гаршина».

[19] Цитируется письмо В. М. Гаршина от октября 1881 года (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 222—223).

[20] С начала 1883 года Гаршин поступил на службу секретарем Об-

щего съезда представителей русских железных дорог, о чем сообщал матери в одном из писем этого времени (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 291).

[21] Об участии Гаршина в разработке частного проекта транспортного усовершенствования см. также воспоминания А. Т. Васильева «В. М. Гаршин на службе» (с. 94 наст. изд.).

[22] Гаршиным было написано семь статей о художественных выставках.

[23] В журнале «Северный вестник» в 1886 году (№№ 6—9) печатался роман М. Серао «Фантазия» (в переводе с. итальянского). На русский язык были переведены также «Прощай, любовь!» (1890), «При закате солнца» (1900) и мн. др.

[24] См., например, письмо С. Надсону от конца января 1886 года, в котором в шутливо-иронических тонах рассказывается о некоторых участниках юбилея А. Н. Плещеева (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 364—366).

[25] Об этом разрыве Гаршин сообщал в письме к В. М. Латкину от 1 мая 1885 года (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 356). В рецензии Н. М. Минского на «Стихотворения С. Я. Надсона» Гаршина возмутила, по-видимому, интерпретация стихотворения С. Я. Надсона «Цветы». «<...> в нем, — писал рецензент, — поэт не только говорит, что ему грустно, что его терзают сомнения, безнадежное отчаяние, воспоминания, страх, раскаяние, — но вместе с тем указывает и на ближайшую реальную причину, породившую в его сердце этих фурий. <...> Он, как пролетарий, смотрит на безумную роскошь века с злобной завистью» («Новь», 1885, № 11, 1 апреля, с. 488).

[26] «Читали вы Короленка? — спрашивал Гаршин С. Я. Надсона. — Напишите мне о нем что-нибудь. Я ставлю его ужасно высоко и люблю нежно его творчество. Это — еще одна розовая полоска на небе. <...>» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 375). Об отношении Гаршина к Чехову см. воспоминания В. И. Бибикова и Ф. Ф. Фидлера (с. 158 и 143 наст. изд.).

[27] В письмах Гаршин неоднократно цитировал Пушкина и Лермонтова, ссылался на них как на самые крупные поэтические явления (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 68, 71, 111, 148, 228 и др.). В автобиографии он назвал произведения Пушкина и Лермонтова в числе первых своих книг для чтения (там же, с. 13).

[28] В письме к В. М. Латкину от 20 февраля 1885 года Гаршин сообщал: «Я чувствую настоятельную потребность говорить с ним <Л. Толстым.— *Г. С.*>. Мне кажется, что у меня есть сказать ему кое-что. Его последняя вещь <вероятно, «В чем моя вера». — *Г. С.*> ужасна. Страшно и жалко становится человека, который до всего доходит «собственным умом». Возражая брату, обвинявшему его в безусловном поклонении Толстому, Гаршин совершенно определенно заявил: «Очень любя Черткова, я в теоретических рассуждениях ни в чем с ними с Т.<олстым> не схожусь. Многое в их речах мне прямо ненавистно (отношение к науке, напр.); если ты этого не знал, можешь спросить у Черткова при случае: он скажет тебе, что меня «ихним» считать невозможно». В письме В. Г. Черткову 1886—1887 гг. находим еще одно характерное замечание Гаршина: «<...> многое, признаюсь откровенно, мне чуждо и даже больше, ненавистно <в произведениях Толстого второй половины 80-х годов. — *Г. С.*>. А многое, большая часть, так близко <...>» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 353, 391, 397—398). Об увлечении Гаршиным некоторыми идеями толстовства, в частности, теорией нравственного самоусовершенствования, самоотречения и прощения обид свидетельствует его письмо к графу М. Т. Лорис-Меликову от 21 февраля 1880 года: «<...> не виселицами и не каторгами, не кинжалами, револьверами и динамитом изменяются идеи, ложные и истинные, но примерами нравственного самоотречения.

Простите, — взывал Гаршин, — человека, убивавшего Вас! Этим вы <...> положите начало казни идеи, его пославшей на смерть и убийство, этим же Вы совершенно убьете нравственную силу людей, вложивших в его руку револьвер». (*Гаршин В. М.* Письма, с. 207). Близкие к этим настроениям мотивы слышны в гаршинских произведениях «Сказка о жабе и розе» (1884), «Сказание о гордом Аггее» (1886), «Сигнал» (1887). О взаимоотношениях Гаршина и Толстого см. также примечания к «Письмам» Гаршина (с. 480, 507—508, 517, 520—521); монографии Г. А. Бялого «Гаршин и литературная борьба 80-х годов» (М.-Л., Изд-во АН СССР, 1937, с. 118—149) и «Всеволод Михайлович Гаршин» (Л., «Просвещение», 1969, с. 98—108).

[29] «Посредник» — издательство, созданное по инициативе публициста и переводчика В. Г. Черткова, последователя учения Л. Толстого, популяризатора его идей. В изданиях «Посредника» вышли такие рассказы Гаршина, как «Четыре дня», «Медведи», «Сигнал». «Сказание о гордом Аггее», предназначавшееся для этого же издания, было запрещено цензурой. Об отношениях Гаршина и Черткова см. его «Воспоминание о Гаршине» и примечания к нему, записку Черткова к Гаршину (*Гаршин В. М.* Письма, с. 520—521), а также письма писателя (там же, с. 361, 377, 397 и др.).

[30] Гаршин читал пьесу Л. Толстого еще в корректуре (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 377, 378). Об отношении писателя к этому произведению см. также воспоминания В. Бибикова (наст. изд., с. 152). Гаршин, однако, подчеркивал, что «защищать драму Толстого и признавать его благоглупости и особенно «непротивление» — две вещи совершенно разные» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 391).

[31] 20 февраля 1885 года Гаршин писал В. М. Латкину: «Ездил в Москву; повидаться с Львом Николаевичем Толстым не удалось. Толстой уехал в деревню <...>» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 353).

[32] Гаршин посетил Л. Толстого весной 1880 года. И. Л. Толстой воспроизводит беседу между Гаршиным и Львом Николаевичем, из которой можно заключить, что Л. Толстой к этому времени был знаком с рассказом Гаршина «Четыре дня» (см. с. 131 наст. изд.).

[33] 14 июня 1880 года Тургенев писал Гаршину: «Ваше последнее произведение (к сожалению, неоконченное) «Война и люди» <у Гаршина — «Люди и война». — *Г. С.*> окончательно утвердило за вами, в моем мнении, первое место между начинающими молодыми писателями. Это же мнение разделяет и гр. Л. Н. Толстой, которому я давал прочесть «Войну и людей» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 12, кн. 2. Л., «Наука», 1967, с. 273—274).

Г. А. Русанов вспоминает свой разговор с Толстым о Гаршине, состоявшийся 24—25 августа 1883 года в Ясной Поляне:

— А читали Вы Гаршина? — вдруг с большим оживлением спросил Толстой.

— Да, читал.

— Это прелесть, прелесть! Тургенев первый указал мне на него. Вот прочтите, — сказал он мне, увидав у меня книжку журнала. — И действительно, прелесть. Видишь книжку «Устоев» (кажется, уже прекратились), просматриваешь оглавление и там, вместе с другими, какими-нибудь Федоровыми, Сидоровыми, Карониными и пр. и пр., значится наравне и Гаршин с своим рассказом <«То, чего не было». — *Г. С.*>. Так и чуется, — оживленно говорил Толстой, — что редактор и не подозревает, что Гаршин и эти другие — совсем не одно и то же. Он положительно выделился,

сразу выделился. Вы читали его?.. А его «Художников»? Прелесть! А «Ночь»?..

— В его военных рассказах, — сказал я,— чувствуется ваше влияние. Вот, например, в последнем рассказе (не помню заглавия) <«Из воспоминаний рядового Иванова».— *Г. С.*>, помещенном в «Отечественных записках», есть несколько мест, напоминающих подобные же у вас. — При этом я указал на некоторые из этих мест.

— Ну, что же, это ничего не значит, — заступнически возражал Толстой.

— А описание смотра наших войск, который был сделан Александром Николаевичем в Яссах или Бухаресте, — не помню?.. — продолжал я.

— Да, да, — перебил меня Толстой, — помню: это описание, действительно, меня неприятно поразило, оно напомнило мне...

— Смотр накануне Аустерлица из «Войны и мира».

— Да. Но у меня описаны там ощущения Ростова, лица, к которому автор относится объективно, а у Гаршина о них говорится, как об ощущениях самого автора, точно эти ощущения присущи всем.

— «Четыре дня» также отчасти навеяны вашими сочинениями.

— Может быть, но у Гаршина есть и свое, собственное («Денщик и офицер») <...>. (Толстовский ежегодник. М., 1912, с. 71—72).

[34] Цитируемое Фаусеком письмо относится к концу 1881 или началу 1882 г. (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 396).

[35] О влиянии андерсеновских сказок («Гречиха», «Последний сон старого дуба», «Маргаритка» и др.) на сказочные миниатюры Гаршина см.: *Бялый Г. А.* Гаршин и литературная борьба 80-х годов. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1937, с. 113—118. *Его же.* Всеволод Михайлович Гаршин. Л., «Просвещение», 1969, с. 60—61, 81—82 и др.

[36] Я. П. Полонский с 80-х годов систематически устраивал на своей квартире вечера («пятницы»), которые посещались писателями, художниками, музыкантами, артистами. Здесь часто бывал и Гаршин.

[37] Об отношениях Гаршина и Репина см. вступительную заметку к воспоминаниям художника о писателе.

[38] Картина художника-передвижника Н. А. Ярошенко «Кочегар» (1879) была использована в сюжете рассказа Гаршина «Художники».

[39] По-видимому, речь идет о трудах немецкого ботаника А. Любена, послуживших источником «Руководства к систематическому изучению ботаники для школ и самообучения» А. Бекетова (СПб., 1868), работах немецкого популяризатора естествознания Гартвинга «Тропический мир в очерках животной и растительной жизни» (перевод С. Усова, изд-е 2, М., 1873), «Воздух и его жизнь» (изд-е 2. М., 1875), сочинениях Ч. Дарвина «Происхождение видов» (СПб., 1868) и Г. Спенсера «Основания биологии» (СПб., 1870) и др.

[40] Статья К. А. Тимирязева «Опровергнут ли дарвинизм?» («Русская мысль», 1887, № 5—6), посвященная критическому разбору книги Н. Я. Данилевского «Дарвинизм» (СПб., 1885).

[41] Речь идет о статье И. М. Тарновского «Об источниках распространения сифилиса» («Врач», 1887, № 18, 30 апреля).

[42] См.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 334.

[43] Еще в 1884 году Гаршин, занявшись пристальным изучением истории, намеревался «написать что-нибудь историческое, <...> историческую повесть или роман» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 309). В письме Фаусеку от 15 июня 1887 года он сообщал: «Занимаюсь я преимущественно Петровщиной» (там же, с. 392). По свидетельству В. Г. Черткова, «Гаршин собирался писать для «образованных» людей повесть из эпохи Петра I»

(Письма А. И. Эртеля. М., 1909, с. 405). См. также об этом в воспоминаниях В. Бибикова и В. Соколова (с. 152, 110—111 наст. изд.).

[44] Имеется в виду картина Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1871).

[45] В опущенной здесь части письма от 15 июня 1887 года сообщается о планах летнего отдыха, о жизни в семье родных его жены и о работе.

[46] Речь идет о статье А. Н. Пыпина «Новый вопрос о Петре Великом» (По поводу книги В. Гольцева «Законодательство и нравы в России XVIII века»). — «Вестник Европы», 1886, кн. V, с. 317—350.

[47] Содержание этого рассказа Фаусек передает ниже.

[48] А. М. Скабичевский в статье «Наши новые беллетристические силы» («Новости», 1887, № 84, 28 марта) дал уничтожающий разбор повести Гаршина «Надежда Николаевна», обвинив ее автора в «возрождении некоторых свойств давно уже отжившего <...> романтизма». Об отношении Гаршина к этой рецензии см. его письмо к В. М. Латкину от 1 мая 1885 года (с. 228 наст. изд., примеч. 29).

[49] Об отношении Гаршина к рассказу Чехова «Степь» см. также воспоминания Ф. Фидлера, В. Бибикова, Н. Минского с. 143, 159, 183 наст. изд.).

[50] Ю. И. — Юлия Ивановна, жена Виктора Андреевича Фаусека.

[51] См.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 394.

В. С. Акимов

ВСЕВОЛОД ГАРШИН И ЕГО ПРЕБЫВАНИЕ В ЕФИМОВКЕ. 1880—1882

Печатается по тексту сборника «Красный цветок» (СПб., 1889, с. 10—16).

[1] «Веста» — пароход, приобретенный морским ведомством русского Общего пароходства во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и приспособленный для военных действий против турок на Черном море. В. Акимов имеет в виду, по-видимому, столкновение «Весты» с турецким броненосцем «Фехти Буленд» 11 июля 1877 года, в результате которого были укреплены позиции русских на море.

[2] «Мир Божий» А. Е. Разина — одна из самых популярных, многократно переиздававшихся естественнонаучных книг для детей.

[3] В письмах к матери от 20 ноября, 9 и 22 декабря 1881 года, 3 и 15 января 1882 года Гаршин сообщал о ходе работы над переводом новеллы Мериме «Коломба» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 227, 230, 235, 237). 24 января 1882 года он написал: «Эту «Коломбу», наконец, я кончил и теперь понемножку переписываю» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 240).

[4] Гаршинский перевод новеллы Мериме «Коломба» был напечатан в журнале «Изящная литература» (1883, № 10, с 1—151).

[5] В письме Н. М. Минскому от 10 декабря 1881 года Гаршин сообщал: «Мой дядя мировой судья, и я месяца два сидел у него в камере, помогал протоколы писать. Ну и мужика, этого самого «народа» увидел» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 231).

[6] Александр II был убит 1 марта 1881 года народовольцем Гриневицким. А уже 19 мая Гаршин писал матери: «Здесь <в Ефимовке. — *Г. С.*>

неспокойно. Вокруг везде мужики уверены, что на днях будет указ о разделе помещичьей земли. Уже и плуги приготовили проводить борозды»; «рабочие <наемные крестьяне.— *Г. С.*> <...> постоянно бунтуют и уходят, забрав деньги вперед» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 219, 220).

[7] Речь идет о сказке Гаршина «То, чего не было» («Устои», 1882, № 3—4, с. 266—270). Рецензент либерального «Голоса» Арс. Введенский писал, что «сказка эта — совершенно сырое, необделанное произведение» («Голос», 1883, № 133, 20 мая). Демократическая народническая критика восприняла это произведение как широкое и сложное отражение русской действительности 80-х годов: «<...> все, что составляет для всего общества насущнейшую заботу переживаемого им времени, — все стремится Гаршин затронуть, поставить на свое место, указать связь между всею цепью явлений текущей действительности» (*Успенский Г. И.* Полн. собр. соч. Т. 11. Изд-во АН СССР, 1952, с. 477).

А. Т. Васильев

ГАРШИН НА СЛУЖБЕ

Печатается (с небольшими сокращениями) по тексту издания: Полное собр. соч. В. М. Гаршина. СПб., 1910 (Прилож. к журналу «Нива»), с. 63—66. Впервые — в сборнике «Красный цветок» (СПб., 1889. с. 24—29).

[1] О получении В. М. Гаршиным премии за разработку приспособления для перевозки хлеба см. также воспоминания В. А. Фаусека (с. 66 наст. изд.).

[2] Оценки Гаршиным реформы 1861 года совпадали с теми ее характеристиками, которые принадлежали почти всем передовым литературно-общественным деятелям кануна «освобождения». Но в отличие, например, от Герцена, Чернышевского или Салтыкова-Щедрина, рано распознавших грабительскую сущность крестьянской реформы, Гаршин, человек иной эпохи и иного мировосприятия, видимо, на всю жизнь сохранил восторженное отношение к освобождению народа от рабства. Почти столь же благоговейным было отношение Гаршина и к царю Александру II, в котором он видел воплощение «доброты» и справедливости, источник вдохновения для воюющих солдат (см. его письма Е. С. Гаршиной от 1 и 21 июня 1877 года, Н. М. Золотиловой от 26 августа 1882 года и др. — *Гаршин В. М.* Письма, с. 122, 127, 277). Идеализированную зарисовку облика и поведения царя Гаршин дал и в рассказе «Воспоминания рядового Иванова» (1882). В письме Н. М. Золотиловой (26 августа 1882 года) он сообщает: «<...> писал я в своем теперешнем рассказе о том, как он смотрел нас в Плоэшти. Писал и глубоко взволновался: вылилась довольно страшная страничка. Нет там ни хвалы, ни клеветы, но чувство выразилось оригинально и, кажется, сильно» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 277).

[3] Имеется в виду циркуляр «О сокращении числа учеников в гимназиях и прогимназиях и изменении состава оных» (см.: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 10. СПб., 1894, с. 880—883).

[4] Упомянутое мемуаристом нравственно-психологическое состояние Гаршина подтверждается его письмами этих лет. См., например, письма В. М. Латкину от 29 сентября, 11 декабря 1885 года и др. (*Гаршин В. М.* Письма, с. 358, 360).

В. П. Соколов

ГАРШИНЫ

Печатается (с сокращениями) по тексту журнала «Исторический вестник», 1916, кн. 4 и 5, с. 130—158, 399—426.

[1] Е. С. Гаршина как гражданская жена П. В. Завадского, деятеля харьковского революционного кружка Я. Н. Бекмана и М. Д. Муравского, с 1863 года состояла под секретным надзором полиции. В 1866 году «политически неблагонадежная» Гаршина подверглась обыску в связи с делом Д. В. Каракозова (См.: Деятели революционного движения в России. Биобиблиографический словарь. Сост. А. А. Шилов и М. Г. Карнаухова. Т. I, ч. 2. М., 1928, с. 75). До 70-х годов была в приятельских отношениях с членами Слепцовской коммуны А. Г. Маркеловой и Е. А. Макуловой. В 1871 году уже предостерегала Вс. Гаршина от «влияния» на него «Маркеловой, Макуловой и К°» и советовала ему «выкинуть из головы мысль о перестрое современного общества» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 421).

[2] Имеется в виду Н. А. Ярошенко — живописец-передвижник, жанрист с ярко выраженной социальной тематикой («Кочегар», «Заключенный», «Студенты» и др.).

[3] По-видимому, это рассказ И. И. Ясинского (псевдоним — Максим Белинский) «Старый сад» («Отечественные записки», 1883, № 3, с. 241—282) или очерк из жизни украинских помещиков «Катря» («Отечественные записки», 1883, № 4, с. 533—564). Отзыв Гаршина неизвестен. В письмах 1881—1882 гг. содержится отрицательная реакция писателя на повесть М. Белинского «Тайна Оленьки» («Новое обозрение», 1881, кн. 1, с. 19—48).

[4] В 1878—1883 годах Н. Я. Николадзе издавал в Тифлисе либеральную газету «Обзор», закрытую правительством.

[5] В 1883 году в «Отечественных записках» были напечатаны повесть «Из воспоминаний рядового Иванова» (№ 1, с. 135—176), рассказы «Красный цветок» (№ 10, с. 297—310) и «Медведи» (№ 11, с. 199—213). В этом же году появился гаршинский перевод новеллы Мериме «Коломба» («Изящная литература», 1883, № 10, гл. I—XXI, с. 1—151), сказок Уйда (псевдоним Луизы де ла Раме) «Честолюбивая роза» и «Нюренбергская печь» для сборника «Сказки для детей, Уйда» (СПб., 1883), Кармен Сильвы «Замок ведьмы», «Чахлау» для сборника «Царство сказок» (СПб., 1883).

[6] «Получил место секретаря Съезда Железных дорог, — писал Гаршин в 1883 году.— Занятия с 11 до 2—3; жалованья 1200» <руб. в год.— *Г. С.*> (*Гаршин В. М.* Письма, с. 291).

[7] Речь идет о сотрудничестве Гаршина в «Отечественных записках», редактором которых был М. Е. Салтыков-Щедрин.

[8] В 1882—1883 годах В. Ф. Корш был редактором «Заграничного вестника». Перевод «Коломбы» П. Мериме появился не в «Заграничном

вестнике», а в «Изящной литературе» (см. примечание 5 к воспоминанию В. П. Соколова, наст. изд.).

[9] Речь идет о первой книжке сочинений В. М. Гаршина «Рассказы» (СПб., 1882).

[10] Рассказ «Медведи» (1883) лишен сентиментальной окраски. В нем доминирует сатирический пафос, перебиваемый трагическим и романтическим настроением (см.: *Бялый Г. А.* В. М. Гаршин. Л., «Просвещение», 1969, с. 71—75).

[11] Достоевский не был любимым писателем Гаршина. К нему он относился сложно, не принимая его культ страдания, болезненного психологического состояния (*Гаршин В. М.* Письма, с. 156, 304). Гаршин полагал, что у Достоевского нет «ясности и точности анализа» (там же, с. 177), а в его письмах, «кроме прежних черт», он обнаружил «невыносимую хлестаковщину» (там же, с. 304—305). Достоевского Гаршин ставил неизмеримо ниже Салтыкова-Щедрина («За <...>«Иудушку» я отдам трех Достоевских со всеми потрохами».— Там же, с. 178).

[12] Евгений Львович Марков — писатель демократического лагеря, сотрудник «Отечественных записок», «Дела», «Вестника Европы», автор романа «Черноземные поля» (1876), посвященного нравственной деградации дворянства, мемуарной повести «Барчуки» и др.

[13] Об отношении Гаршина к Л. Толстому см. воспоминание В. А. Фаусека и примечание 28 к этому воспоминанию. В Толстом Гаршина привлекало не изображение дворянской жизни, к которой он был равнодушен, а живописание человеческих судеб вообще. «Предметом безусловного поклонения» Гаршина был «художественный материал», «поэзия» Толстого и некоторые нравственные идеи (В. А. Фаусек). Социологические размышления В. П. Соколова лишены оснований: происхождение Гаршина из старинного дворянского рода не наложило отпечатка на его литературные вкусы и общественные позиции.

[14] Речь, по-видимому, идет о рассказе «Красный цветок» (1883). «Тороплюсь кончать рассказ <...>,— писал Гаршин 22 июня 1883 года.— На службе у меня затишье, придешь <...> и сидишь часа два-три за газетами или пишешь рассказ <...>»; «выходит нечто фантастическое, хотя на самом-то деле строго реальное» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 296, 297).

[15] Имя Гаршина не значилось в списке сотрудников народнического журнала «Устои», организованного С. Н. Кривенко, Н. С. Русановым и С. А. Венгеровым после закрытия в 1881 году журнала «Русское богатство» (см.: Объявление об издании в 1882 году ж. «Устои».— «Устои», 1882, № 3—4, с. 1—2). В «Устоях» была напечатана сказка Гаршина «То, чего не было» (1882, № 3—4, с. 266—270).

[16] «Отечественные записки» были запрещены постановлением особого совещания четырех министров, мотивировавшего ликвидацию журнала тем, что «в редакции «Отечественных записок» группировались лица, состоящие в близкой связи с революционной организацией», что этот орган «открывает свои страницы распространению вредных идей» и что, наконец, «статьи самого ответственного редактора <М. Е. Салтыкова-Щедрина.— *Г. С.*>, которые по цензурным условиям не могли быть напечатаны в журнале, появлялись в подпольных изданиях у нас и за границей» («Правительственный вестник», 1884, № 87, 20 апреля).

[17] Удав, Дыба, граф Твэрдоонто — сатирические персонажи цикла щедринских очерков «За рубежом» (1880—1881), вершители и проводники политики царского самодержавия (см.: *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч. в 20-ти тт. Т. 14. М., «Худож. литература», 1972, с. 12—13, 85—86).

[18] В письме к П. В. Анненкову от 3 мая 1884 года Салтыков-Щедрин

жаловался: «Прежде, бывало, живот у меня заболит — с разных сторон телеграммы шлют: живите на радость нам! а нынче вон <...> какой переворот! — и хоть бы одна либеральная свинья выразила сочувствие! Даже из литераторов — ни один не отозвался» (*Щедрин Н. (Салтыков М. Е.).* Полн. собр. соч. Т. XX. кн. 3. М., 1937, с. 44).

[19] Имеется в виду «Пошехонская старина» Салтыкова-Щедрина («Вестник Европы», 1887—1889), лишенная тех мягких тонов и примирительных настроений, о которых пишет автор воспоминаний.

[20] В письме к матери от 21 апреля 1884 года Гаршин писал: «<...> я не могу сказать, чтобы я вполне принадлежал душой «О.<течественным> запискам», но все-таки точно будто любимый человек умер. Как-то дико будет теперь видеть свои рассказы не под привычной желтой обложкой» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 319).

[21] В письме к Е. С. Гаршиной от 29 апреля 1884 года Гаршин сообщал: «В понедельник я ходил в редакцию «О.<течественных> з<аписок>» — в последний раз! Точно хоронили мертвеца. Не расходились долго, хотя и разговоров никаких не было, а просто как-то не хотелось уходить. Странное совпадение: как раз в это время на Преображенской площади училась артиллерия, два орудия, и во время учения все целили прямо в окна. Точно нарочно!» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 319).

[22] «Приезжал из Москвы Бахметьев приглашать всех уцелевших сотрудников «О.<течественных> з.<аписок>» в «Русскую мысль». И у меня был. Мне, по правде сказать, хотелось бы печататься — если я что-нибудь еще напишу — в «В.<естнике> Евр.<опы>», но так как у меня не было никаких оснований отказать Бахметьеву, то я согласился» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 320). В письме от 29 апреля 1884 года Гаршин сообщал о намерении А. М. Вольфа привлечь его к сотрудничеству в организуемом им журнале «Новь» и об отказе принять в нем участие (там же, с. 319—320).

[23] Рекомендуя М. М. Стасюлевичу привлечь в «Вестник Европы» Н. Д. Хвощинскую-Зайончковскую, Салтыков-Щедрин писал 6 января 1885 года: «<...> Есть и еще один писатель, который пишет не много, но хорошо. Это — Гаршин. Не в качестве вмешательства, но просто в виде благожелательного мнения я думал бы, что ежели бы вы или Александр Николаевич Пыпин написали ему пригласительное письмо, то он примкнул бы к «В. <естнику> Е. <вропы>» (*Щедрин Н. (Салтыков М. Е.).* Полн. собр. соч. в 20-ти т. Т. XX, кн. 3. М., 1937, с. 125).

[24] В 1887 году в журнале «Вестник Европы» (кн. 7 и 8) был напечатан роман П. А. Валуева «Черный бор», литературные достоинства которого очень невелики.

[25] Герои повести «Надежда Николаевна» читают опубликованный (в сокращении) в «Вестнике Европы» роман Гей «Она думала, что это не так» — «длинную», «обстоятельную» и «назидательную» историю «о каком-то мистере Скрипле и мисс Гордон», «выдуманную госпожою Гей» (*Гаршин В. М.* Полн. собр. соч. СПб., 1910, с. 295).

[26] Встреча Гаршина с Л. Толстым зимой 1884 года не состоялась, о чем свидетельствует письмо Гаршина к матери от 4 февраля 1884 года: «От Фаусека получил очень милое письмо из М<оск>вы; был он там у Льва Ник. Т.<олстого> и описывает свиданье. Меня очень тронуло, что Т.<олстой> меня помнит. <...>» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 310). Известно, что первая и единственная встреча Гаршина с Толстым произошла весной 1880 года (см. воспоминания И. Толстого. с. 130—131 наст. изд., а также письмо Гаршина к матери от 18 марта 1880 года.— *Гаршин В. М.* Письма, с. 212).

[27] Повесть Гаршина «Надежда Николаевна» была опубликована в журнале «Русская мысль» (1885, кн. II (февраль), с. 347—368 и кн. III (март), с. 224—261).

[28] Гаршина сопровождал в этом посещении Н. А. Демчинский — см. его воспоминания «Сладкие грезы», с. 133—134 наст. изд.

[29] Повесть «Надежда Николаевна» была названа А. М. Скабичевским «романтической и мелодраматической чепухой», воскрешающей 30-е годы («Новости», 1885, 25 марта, № 87). Гаршин остро реагировал на эту статью критика. В письме В. М. Латкину от 1 мая 1885 года он писал: «Я чувствую, что заслужил за нее <повесть «Надежда Николаевна».— *Г. С.*> многие и многие упреки. Конечно, не с той стороны, с которой выругала критика. А это было целое гонение. Я рад только, что успел притерпеться, и разные слова, вроде «чепухи» и т. п., изрыгаемые Скабичевским и К°, меня очень мало задевают» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 356).

[30] С. А. Юрьев был редактором-издателем «Русской мысли» с 1880 по 1885 г.

[31] См. примечание 43 к воспоминаниям В. А. Фаусека.

[32] «Думаю съездить в Царское к Пыпину: я прочел недавно его статью о Петре (о мнениях о нем) в «В.<естнике> Е.<вропы>» и очень захотелось поговорить с ним» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 392).

[33] См. воспоминания В. А. Фаусека (с. 81—82).

[34] В. П. Буренин, возглавляя литературно-критический отдел газеты «Новое время», печатал здесь еженедельные фельетоны «Критические очерки». В письме Л. В. Ф. от 22 декабря 1886 года Надсон с возмущением писал: «Вот уже больше месяца, как на меня Буренин выливает целые лохани грязи в «Новом времени». <...> он глумится над моей личностью, над моими отношениями к близким мне людям, над посвящением моей книги <«Посвящается Н. М. Д.-ой».— *Г. С.*> Он взводит на меня самые нелепые и неправдоподобные клеветы, делает для меня из литературной полемики дело чести» (*Надсон С. Я.* Полн. собр. соч. Т. 1. Пг., 1917, с. 574). Буренин, в частности, назвал поэта «недугующим паразитом, представляющимся больным, калекой, умирающим, чтобы жить на счет частной благотворительности» (там же, с. XLIV, биогр. очерк М. Ватсон).

[35] См. об этом воспоминание В. А. Фаусека (с. 69—70 наст. изд.).

[36] См.: *Андреев Н. П.* Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л., 1929, № 952.

[37] «Сказание о гордом Аггее» должно было появиться в издательстве «Посредник».

[38] На юбилее Я. П. Полонского (10 апреля 1887 года) министр финансов И. А. Вышнеградский выступил с приветствием.

[39] В конце 1884 года В. Гаршин был принят в члены Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (неофициальное название — Литературный фонд). С 1886 года он работал в качестве члена комитета общества. В этом же году Гаршин принял участие в устройстве вечера Литературного фонда в память А. Н. Островского. О его деятельности в Обществе см. письма к В. А. Манассеину от 3 февраля 1886 года, Н. С. Таганцеву от 23 февраля, 14 марта, 31 октября, 3 ноября 1886 года, Г. И. Успенскому от 8 октября 1886 года, Н. А. Лейкину от 12 октября 1886 года, Д. Ф. Кобеко от 31 января 1887 года, Л. Ф. Пантелееву от 25 февраля 1887 года и др. (*Гаршин В. М.* Письма, с. 366—368, 371—376, 377—380).

[40] Речь идет о герое рассказа «Воспоминания рядового Иванова», командире стрелковой роты Венцеле, отличавшемся не столько педантичностью, сколько жестокостью в обращении с солдатами.

[41] Дьяков Александр Александрович (1841—1895, псевд.— Незлобин, Житель) — писатель и фельетонист «Нового времени». Отдельными изданиями вышли его произведения «На отдых» (1885), «Сусальные звезды» (1886, «Картинки и эпизоды» (1888). В письме к Г. З. Елисееву от 15 июля 1884 года Щедрин резко отозвался о Дьякове: «Вы читаете «Нов<ое> время» — ведь стошнить может от фельетонов <...> «Жителя» (Незлобина) <...>. Точно нюхаешь портки чичиковского Петрушки» (*Щедрин Н.* (*Салтыков М. Е.*). Полн. собр. соч. Т. XX, кн. 3. М., 1937. с. 74—75).

[42] «Сигнал» (1887), опубликованный в издании «Посредник», написан в духе толстовских народных рассказов. В нем, с одной стороны, звучит гаршинский мотив героизма и самопожертвования, с другой — толстовская идея покаяния и самоусовершенствования. Рассказ не был адресован «технической молодежи».

[43] Речь идет об А. П. Чехове. См. также с. 83—84 наст. изд.

[44] «Читали вы Короленка? — спрашивал Гаршин С. Я. Надсона. — <...> Я ставлю его ужасно высоко и люблю нежно его творчество. Это — еще одна розовая полоска на небе; взойдет солнце, еще нам неизвестное, и всякие натурализмы, боборыкизмы и прочая чепуха сгинет» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 375). Очевидно, что новое направление в русской литературе Гаршин связывал с именами Чехова (см. примечание 43) и Короленко, писателей, не имеющих никакого отношения к «будничнообывательскому периоду» в развитии литературы.

[45] Всеволод Михайлович и Евгений Михайлович Гаршины были женаты на родных сестрах.

[46] Имеется в виду аллегорический рассказ Гаршина «Сказка о жабе и розе». В. А. Фаусек в воспоминаниях о Гаршине, опубликованных впервые в сборнике «Памяти В. М. Гаршина» (СПб., 1889), а затем в Полном собрании сочинений В. М. Гаршина (СПб., 1910) сообщает сведения «о происхождении его сказки про жабу и розу» (см. с. 71 наст. изд.).

[47] По-видимому, Василий Петрович Геннинг, преподаватель русского языка в гимназии, где учился Гаршин.

[48] В. П. Соколов в этих своих утверждениях исходил, вероятно, из опубликованных к этому времени воспоминаний В. А. Фаусека (см. с. 57 наст. изд.) и биографии В. М. Гаршина, составленной Я. В. Абрамовым (Памяти В. М. Гаршина. Художественно-литерат. сборник. СПб., 1889).

И. Е. Репин

В. М. ГАРШИН

<Из книги «Далекое близкое»>

Печатается по тексту издания: *Репин И.* Далекое близкое. Изд. 7. М., «Искусство», 1964, с. 360—363. Первая публикация: Мои встречи с В. М. Гаршиным.— «Солнце России», 1913, № 13, 23 марта, с. 10—11.

[1] Зал Павловой — Концертно-театральный зал на бывш. Троицкой улице.

[2] В 1883 году Репин нарисовал с Гаршина этюд (в профиль), с которого затем писал царевича Ивана в картине «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 г.», хранящейся в Третьяковской галерее. К 1884 году относится большой портрет Гаршина.

[3] См. примечание 20 к воспоминанию В. Фаусека. Служба, по словам

Гаршина, приносила ему «пользу со стороны, так сказать, психогигиенической» (*Гаршин В. М.* Письма. с. 297).

[4] «Книга пророка Аггея». — Библия, или книги священного писания Ветхого и Нового завета. Изд-е 9. СПб., 1910, с. 1103—1105.

[5] Речь идет о работе над картиной «Иван Грозный и сын его Иван».

[6] Встречи происходили на квартире друга Гаршина художника М. Малышева.

[7] По словам В. А. Фаусека, Гаршин «познакомился с рассказами г-на Чехова с тех пор, как они стали появляться в «Новом времени», и высоко оценил его талант» (с. 84 наст. изд.).

[8] В письме Репина к С. Дурылину (1906) содержится более подробное описание драматического эпизода разрыва Гаршина с матерью:

— Что такое? Что с вами, дорогой Всеволод Михайлович?

— ...если бы вы знали... С таким... с таким... в таком... (слезы) состоянии души нельзя найти спокойствия...

— Пойдемте потихоньку, — успокаиваю я, беру его под руку, — расскажите, ради бога, вам будет легче...

— Ах, боже... с мамашей я имел объяснение вчера...; нет, не могу... Ах, как тяжело!.. И говорить об этом... неловко.

— А Вера Михайловна <сестра жены Гаршина. — *Г. С.*> все еще у вас гостит?

— Да вот все из-за нее. С тех пор как она, тогда ночью, приехала к нам, брат Женя и не подумал побывать у нас, помириться, наконец, как-нибудь устроиться: ведь она же — его жена, которую он так обожал до брака и так желал; и особенно мамаша. Ведь мамаша души не чаяла в Верочке. Плакалась день и ночь, что родным двум братьям нельзя жениться на родных сестрах... Если бы вы знали, каких хлопот нам это стоило: и Евгению Михайловичу, и мне, и Надежде Михайловне. Особенно Надежде Михайловне. Знаете, ведь она с характером: за что возьмется, так уж добьется. И вот, с того самого момента, как Верочка переехала жить к Жене с мамашей, — мамаша ее вдруг возненавидела: да ведь как! И представьте, прошло уже три недели... Евгений Михайлович ведь не мальчик, мог бы и отдельно устроиться. Наконец Надежда Михайловна не вытерпела: жаль стало сестру. Поехала объясняться... Ах, как это невыносимо!.. Мамаша так оскорбила Надежду Михайловну, что я вчера пошел объясняться... Может быть, Наде показалось... И — о боже!.. — что вышло... (слезы захлестнули его — он не мог говорить).

— Ну, что же, ведь ваша же мамаша: что-нибудь сгоряча.

— Да ведь она меня прокл... — Гаршин плакал, я его поддерживал.

— И, знаете ли, это я еще перенесу, я даже не сержусь... но она оскорбила Надежду Михайловну таким словом, которого я не перенесу...

Дня через два произошла известная катастрофа.

Я никак не мог себе представить такою злою мать Гаршина. Небольшого роста, полная, добрая старушка-малороссиянка...

Что и почему так вышло? (Репин И. Далекое близкое. М., Искусство», 1964, с. 443—444).

[9] Неточная строка из последнего четверостишия стихотворения Минского «Над могилой Гаршина» (1888):

Чья совесть глубже всех за нашу ложь болела,
Те дольше, не могли меж нами жизнь влачить.
А мы живем во тьме, и тьма нас одолела.
Без вас нам тяжело, без вас нам стыдно жить.

(*Минский Н. М.* Полн. собр. стихотворений. Изд-е 4. Т. I. СПб., 1907).

В КРУГУ ЛИТЕРАТОРОВ

Н. Н. Златовратский

ТУРГЕНЕВ, САЛТЫКОВ И ГАРШИН

<из «Литературных воспоминаний»>

Печатается по тексту издания: Златовратский Н. Н. Воспоминания. Вступит. статья, подготовка текста и примечания С. А. Розановой. М., 1956, с. 311—314. Впервые — в «Русских ведомостях», 1897, № 152, 4 июня.

[1] Речь идет о журнале «Русское богатство», созданном по инициативе С. Н. Кривенко в 1879 г. и возглавленном Н. Н. Златовратским.

[2] «Русское богатство», 1880, № 1.

[3] Сказка не была принята Салтыковым из-за пессимистического финала. В «Attalea princeps» усмотрена аналогия, и поэтому она не пойдет», — сообщал Гаршин в письме от 29 августа 1879 года (*Гаршин В. М.* Письма, с. 190). По воспоминанию Н. С. Русанова, «Гаршин был очень огорчен тем, что грациозная сказочка «Атталея принцепс» <...> была отвергнута Щедриным за ее недоуменный конец: «Читатель не поймет и плюнет на все!» (*Русанов Н. С.* На родине. 1859—1882. Воспоминания. М., 1931, с. 231). Произведение это отразило не столько настроения самого писателя этих лет, сколько начавшийся кризис революционного народничества, постепенно терявшего инициативу и энергию в борьбе. Между тем демократический журнал «Дело» обвинил Гаршина в «скептицизме», в искажении принципов и идеалов «людей, подобных <...> пальме» («Дело», 1882, кн. VIII, отд. 2, с. 45—46 — цит. по кн.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 473).

И. Л. Толстой

ГАРШИН

<из «Моих воспоминаний»>

Печатается по изданию: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. I, М., 1955, с. 192—193.

[1] В письме к матери от 15 марта 1880 года Гаршин сообщал: «Я в Туле с разными целями, между прочим, познакомиться с Л. Н. Толстым. Отправлюсь к нему завтра» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 212).

[2] Рассказ «Четыре дня» был напечатан в журнале «Отечественные записки» (1877, № 10). К моменту встречи с Толстым Гаршиным были опубликованы: «Происшествие» («Отечественные записки», 1878, № 3), «Трус» (там же, 1879, № 3), «Встреча» (там же, № 4), «Художники» (там же, № 9). В 1880 году Толстой познакомился с рассказом Гаршина «Денщик и офицер» (в журнальной публикации — «Люди и война), который позволил Толстому, вслед за Тургеневым, выдвинуть его в число первых среди начинающих писателей.

[3] В книге «Илья Толстой. Мои воспоминания» (М., 1914) дальше читаем: «Того человека, который удивил нас в передней, теперь уже не было, перед нами сидел умный и милый собеседник, ярко и правдиво рисовавший нам картины пережитых ужасов войны, и рассказы его были так увлекательны, что мы весь вечер просидели с ним. <...> С ярко горящими, широко открытыми глазами он набрасывал нам одну картину за другой, и чем больше он говорил, тем образнее и выразительнее становилась его речь. Когда он временами замолкал, выражение его лица изменялось, и на нас опять смотрел милый и кроткий ребенок» (с. 154).

[4] О поездке Гаршина в Ясную Поляну известно лишь в передаче третьих лиц. Об этом эпизоде см. также изложение рассказа Гаршина В. И. Бибиковым (с. 151 наст. изд.). А. И. Эртель сообщал в своей статье о писателе, как Гаршин «с чувством живейшего умиления вспоминал о том, как с дороги из Тулы пошел он пешком в Ясную Поляну к незнакомому ему в то время графу Л. Н. Толстому, о разговоре с ним, длившемся всю ночь, и о том, что считает эту ночь «лучшей и счастливейшей в своей жизни» (Красный цветок. СПб., 1889, с. 49).

Н. А. Демчинский

Печатаются (с некоторыми сокращениями) по тексту их первых публикаций: «В. М. Гаршин перед картиной И. Е. Репина» — «Солнце России», 1913, № 13, 23 марта, с. 9; «Сладкие грезы. Воспоминания о В. М. Гаршине» — «Журнал Театра Литературно-художественного общества», 1910, № 1, с. 16—19.

В. М. ГАРШИН ПЕРЕД КАРТИНОЙ И. Е. РЕПИНА

[1] Речь идет о передвижной выставке 1885 года Петербург —Москва. Эта выставка была тринадцатой для И. Е. Репина. Полное название впервые демонстрировавшейся здесь картины художника — «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.».

[2] Свои впечатления от картины И. Е. Репина «Иван Грозный» Гаршин изложил в письме В. М. Латкину от 20 февраля 1885 года: «<...> такой картины у нас еще не было, ни у Репина, ни у кого другого <...>. Представь себе Грозного, с которого соскочил царь, соскочил Грозный, тиран, владыка,— ничего этого нет; перед тобой только выбитый из седла зверь, который под влиянием страшного удара на минуту стал человеком. Я рад, что живу, когда живет Илья Ефимович Репин. У меня нет похвалы для этой картины, которая была бы ее достойна (*Гаршин В. М.* Письма. с. 353).

[8] «Для молодого царевича позировал Гаршин»,— рассказывала В. И. Репина («Нива», 1914, № 29, с. 573). Сам художник, по утверждению С. Н. Дурылина, вспоминал: «В лице Гаршина меня поразила обреченность: у него было лицо обреченного погибнуть. Это было то, что мне было нужно для моего царевича» (*Дурылин С. Н.* Репин и Гаршин. М., 1926, с. 56).

СЛАДКИЕ ГРЕЗЫ

Воспоминания о В. М. Гаршине

[1] Далее следует текст письма Гаршина к Демчинскому (ноябрь 1884 год), в котором он в шутливой стихотворной форме сообщает о ходе работы над коллективным произведением. Приводим его в сокращении:

Ныне четвертодействие, друг мой, тебе посылаю;
Завтра же, кончив второе, начну переписывать тотчас <...>.
Ты ж, Боборыкина ужас, Шпажинского гибель, скорее
Первый и третий пиши, и в Петрополь далекий немедля
Оные мне посылай <...>.

Прости, что запоздал послать IV акт <...>.
P. S. Сцену между подлюкой и бароном (из 1 д.) написал, но, кажется, переделаю совсем. Не нравится» (Полностью это письмо см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 350—351).

[2] Пьеса «Деньги», действительно, не была завершена. «Драму я, конечно, бросил, — писал Гаршин В. М. Латкину 20 февраля 1885 года.—Я думаю, что если бы я работал один, то из нее вышло бы что-нибудь путное, но с Д. <емчинским>, который все это затеял, вдвоем, конечно, работать нельзя... Кажется, что я сдам все Д. <емчинскому> и откажусь от всяких прав на сие двухгениальное творение» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 352—353). В одном из писем этой поры Гаршин высказал интересную мысль: «<...> писать вместе могут только близкие друзья <...> или братья. Нужно, чтобы в душе другого не было неизвестного уголка, тогда писать можно <...>. Образ, ясно представляющийся одному, другому покажется диким или невероятным и постоянные столкновения не позволят вместе работать» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 359).

Ф. Ф. Фидлер

ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ ГАРШИН

<из «Литературных силуэтов»>

Печатается (с небольшими сокращениями) по тексту первой публикации в журнале «Новое слово» (1914, кн. 1, с. 68—75).

[1] В письме В. А. Фаусеку от 9 июля 1883 года В. М. Гаршин сообщает, что начал работать над тремя рассказами, один из которых «относится к времени» его пребывания на Сабуровой даче. «Выходит нечто фантастическое, хотя на самом-то деле строго реальное»,— замечает автор по поводу

«Красного цветка» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 297). Рассказ впервые опубликован в «Отечественных записках» (1883, кн. X, с. 297—310).

[2] Имеется в виду книга: *Гаршин Всеволод.* Рассказы. СПб., 1882.

[3] Речь идет о драме в стихах Ф. Фидлера «Neron» (1883). В русском переводе: «Нерон». М., 1884.

[4] Письма Гаршина к матери из Болгарии с предисловием Е. С. Гаршиной см.: «Русское богатство», 1895, № 2, Перепечатаны: *Гаршин В. М.* Письма, с. 126—132.

[5] Раиса Всеволодовна А.— Р. В. Александрова, невеста Гаршина.

[6] Под «политически неблагонадежными» петербургскими друзьями Гаршина Фидлер разумел, видимо, С. Н. Кривенко, А. И. Эртеля, Н. С. Русанова и др. С. Н. Кривенко был арестован 3 января 1884 года как сотрудник нелегального «Листка Народной воли» и участник организации подпольного «Красного креста», А. И. Эртель арестован 3 апреля 1884 года в связи с раскрытием организации «Народная воля» и «привлечен к дознанию по обвинению в государственном преступлении» («Былое», 1917, кн. IV, с. 105).

[7]. В автобиографии В. Гаршин сообщает: «Род Гаршиных — старый дворянский род. По семейному преданию, наш родоначальник мурза Горша или Гарша вышел из Золотой орды при Иване III и крестился; ему или его потомкам были даны земли в нынешней Воронежской губернии, где Гаршины благополучно дожили до нынешних времен и даже остались помещиками в лице моих двоюродных братьев» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 11).

[8] Это письмо опубликовано в изд.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 315.

[9] Гаршин, действительно, не соглашался с истолкованием сказки «Attalea princeps» как аллегории. В письме к Е. С. Гаршиной от 29 августа 1979 г. он писал: «В «Attalea princeps» **усмотрена**<подчеркнуто нами.— *Г. С.* > аналогия, и поэтому она не пойдет» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 190). Конечно, здесь нет прямолинейной аллегории и изложения политического мировоззрения писателя, но деятели революционного народничества воспринимали это произведение как художественное выражение реакции Гаршина на их борьбу и идеалы. Именно в связи с настроением сказки анонимный критик журнала «Дело» упрекал писателя в «странном скептицизме», в «недоверии к жизни и неверии в людей» («Дело», 1882, кн. VIII, отд. 2, с. 46).

[10] Стихотворение Я. П. Полонского «То в темную бездну то в светлую бездну...» впервые опубликовано в журнале «Исторический вестник» (1898, № 11).

[11] Визит Гаршина и Фидлера к Полонскому состоялся не 10-го, а 11 февраля. О предполагаемом посещении поэта Гаршин сообщал в письме к матери от 11 февраля 1884 года: «<...> сегодня я думаю отправиться к Полонским вместе с Фидлером, который перевел стихотворение Я. П. <...> хочется свести туда сего милого немца» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 311).

[12] В автобиографии В. М. Гаршина содержится подтверждение этому факту: «В это <...> время <30 декабря 1873 г.— Г. С.> застрелился мой второй брат ... <Виктор Михайлович.— Г. С.> (*Гаршин В. М.* Письма, с. 14). Через несколько лет после гибели Всеволода Гаршина покончил самоубийством и старший брат писателя — Георгий Михайлович.

[13] Стихотворение Я. П. Полонского «Памяти С. Я. Надсона» начиналось: «Он вышел рано, а прощальный// Луч солнца в тучах догорал...» (*Полонский Я. П.* Стихотворения. Изд. 3. Л., Советский писатель, 1957, с. 298 («Библиотека поэта», малая серия).

[14] По поводу юбилея Я. Полонского в письмах В. М. Гаршина находим сообщение лишь о намерении «праздновать 50-летие поэтической деятельности Якова Петровича» и о препятствии, которое возникает, по-видимому, в передовых общественно-литературных кругах в связи с его цензорской

деятельностью («Цензорство проклятое всех распугивает»). «Все-таки устроим что-нибудь»,— заключает Гаршин свое письмо С. Я. Надсону (*Гаршин В. М.* Письма, с. 375). Юбилей Я. П. Полонского состоялся 10 апреля 1887 года и имел официозный характер.

[15] «Познакомился с Надсоном; — сообщал, например, Гаршин матери 15 июня 1883 года, — необыкновенно симпатичный юноша. <...> Хочется сойтись с ним поближе: очень привлекательный человек». Почти в тех же словах он характеризует Надсона в письме В. М. Латкину, добавляя: «И какую он мне прочел новую вещь: просто не верится, что ему только 20 лет» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 295. 296).

[16] До 1885 года Гаршин с Н. Минским (Н. М. Виленкиным) был в приятельских отношениях. Его письма к нему носили характер откровенных бесед по различным вопросам литературы, политики, социологии(см., например письмо Гаршина Н. М. Минскому от 10 декабря 1881 года.— *Гаршин В. М.* Письма, с. 231). Развернутых отзывов Гаршина о художественном даровании Минского не сохранилось. Но есть упоминание в письмах, что он с нетерпением ждет его новых стихов (*Гаршин В. М.* Письма, с. 243), что ему «очень понравилась», «за весьма малым исключением», новая трагедия поэта (вероятно, «Осада Хотина») (*Гаршин В. М.* Письма, с. 304) и что он «твердо» верит «в его будущность» (там же, с. 226).

[17] В письме В. М. Латкину от 22 июня 1883 года Гаршин сообщал о намерении «достать «La tentation de S. Antoine». По тем отрывкам, которые знаю,— замечал он,— это нечто колоссальное» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 295). О восторженном отношении Гаршина к Флоберу см. также воспоминания В. Бибикова и др. (с. 159—160 наст. изд.).

[18] Н. К. Михайловский недооценивал Чехова, а порой и искаженно истолковывал его художественную манеру и общественные позиции, обвиняя его в беспринципности и равнодушии. В рассказе Чехова «Степь» он видел случайное сцепление совершенно не связанных друг с другом впечатлений (*Михайловский Н. К.* Сочинения. Т. VI. СПб., 1897, с. 776, 777, 784).

[19] Об увлечении Гаршиным чеховской «Степью» см. также воспоминания В. Бибикова и Н. Минского (с. 159 и 183 нас. изд.). А. Н. Плещеев сообщал А. П. Чехову: «Сколько я похвал слышу Вашей «Степи»! Гаршин от нее без ума. Два раза подряд прочел. В одном доме заставил меня вслух прочесть эпизод, где рассказывает историю своей женитьбы мужик, влюбленный в жену» («Слово». Сб. 2. М., 1914, с. 241).

[20] «Вперед без страха и сомненья» — стихотворение А. Н. Плещеева.

[21] См. воспоминания Н. А. Демчинского (с. 133—136 наст. изд. и примечания к ним).

В. И. Бибиков

ВСЕВОЛОД ГАРШИН

Печатается (с сокращениями) по тексту издания: Бибиков В. Рассказы. СПб., 1888, с. 347—381. Первоначально — во «Всемирной иллюстрации», 1888, №№ 15 и 17, 9 и 23 апреля, с. 280—290 и 331—334.

[1]. Об этом же эпизоде см. воспоминания И. Ясинского «Роман моей жизни» (М.—Л., Госиздат, 1926, с. 215).

[2]. В письме к матери от 20 сентября 1884 года Гаршин сообщал: «Ездили мы на лодке в Выдубецкий монастырь, были в Лавре, в Софийском соборе, в Михайловском монастыре» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 345).

[3] Упоминание о «киевских пещерах», действительно, содержится в повести «Надежда Николаевна» (гл. XVI).

[4] Гаршин В. М. Вторая книжка рассказов. СПб., 1885.

[5] Спутниками Гаршина, кроме Бибикова, были А. Н. Плещеев и Ф. Фидлер с женой (см. с. 142 наст. изд.).

[6] Иное освещение этого эпизода находим у Ф. Фидлера (с. 142 наст. изд.). В. Бибиков приписывает себе явно преувеличенное влияние на Гаршина. Речь здесь идет о стихотворении Я. П. Полонского «Памяти С. Я. Надсона (19 января 1887 г.)».

[7] «Лягушка-путешественница» была напечатана в журнале «Родник» (1887, № 7, с. 575—581) с рисунками художника М. Е. Малышева.

[8]. См. примечание 15 к воспоминаниям Ф. Фидлера.

[9]. Имеется в виду шуточное стихотворение С. Я. Надсона «Пр'чтя только что твое п'сланье...» (1883). Последнее четверостишие: Рвясь вечно к вам в глухой тревоге, ||Как рвется узник из оков,|| В твоем блистающем чертоге ||Я буду в среду, в шесть часов (Надсон С. Я. Полн. собр. стихотворений. М. — Л., 1962, с. 318) («Библиотека поэта», большая серия).

[10]. Сан-Стефанский договор 1878 года, подписанный в Сан-Стефано, близ Константинополя, завершил русско-турецкую войну 1877—1878 гг., в которой участвовал и В. Гаршин.

[11] См. примечание 14 к воспоминаниям В. А. Фаусека.

[12]. См. примечание 29 к воспоминаниям В. А. Фаусека.

[13] Реакционная критика обвиняла Толстого в клевете на русский народ, в том, что он показал лишь «кромешную тьму разврата и самых отвратительных преступлений» («Московские церковные ведомости», 1887, № 10, с. 160 — цит. по кн.: *Толстой Л. Н.* Собр. соч. в 20-ти т. Т. 11:М:, Гослитиздат, 1963, с. 565). Победоносцев увидел во «Власти тьмы» «отрицание идеала», «унижение нравственного чувства», «оскорбление вкуса». (Письма Победоносцева к Александру III. Т. 2. М., 1926, с. 130, 132, 134). Передовые деятели литературы и искусства выступили в защиту драмы Толстого. По мнению Репина, пьеса «оставляет глубоко нравственное, трагическое настроение» (И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. Т. I. М.—Л., 1949, с. 13). «Нельзя забыть, какое ошеломляющее впечатление произвела на нас <...> «Власть тьмы»,— вспоминал Немирович-Данченко.— Без преувеличения можно сказать, что я дрожал от художественного восторга, от изумительной обрисовки образов и богатейшего языка» (*Немирович-Данченко В. И.* Из прошлого. М., 1938, с. 275).

[14]. Об отношении Гаршина к драме Толстого «Власть тьмы» см. также воспоминания В. А. Фаусека (с. 69—70 наст. изд.) и примечания к ним.

[15] См. также воспоминания В. А. Фаусека и В. П. Соколова (с. 79, 110 наст. изд.) и примечания к ним.

[16] Цитата из письма Пушкина Жуковскому (1825 г.): «Цель поэзии — поэзия <...>. Думы Рылеева и целят, а все невпопад» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 13. Изд-во АН СССР, 1937, с. 167). Мнение Бибикова о Пушкине как о поэте «чистого искусства» опиралось на широко бытовавшее в дореволюционном литературоведении (от П. В. Анненкова до М. О. Гершензона) представление о Пушкине, связывавшее его взгляды с эстетикой субъективного идеализма.

[17]. Провозглашая идею «чистого искусства», «абсолютно совершенной формы», призывая писателей взобраться на «башню из слоновой кости», Флобер в своей художественной практике не следовал этим декларациям. В них — выражение его неприятия буржуазного общества и буржуазного искусства.

[18]. Строка из стихотворения Пушкина «Послание цензору» (1822). См.:

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. Т. II. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 121).

[19] Считая И. Ясинского человеком «не без таланта» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 231), Гаршин часто иронизировал над его вычурной манерой письма (там же). Рассказ «Тайна Оленьки» он встретил неодобрительно («он мне не понравился» — там же, с. 239). В письме к С. Я. Надсону от 20 декабря 1886 года Гаршин весьма резко характеризовал этого беллетриста (там же, с. 374). Что касается Альбова, то в одном из писем к матери он советовал прочесть его повесть «День итога», поразившую его «ясностью» и «точностью» «анализа» (там же, с. 177).

[20] В письме Ф. Фидлеру Гаршин признавался, что понимает по-немецки из пятого в десятое» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 315).

[21] Воспроизведение этюда Репина «В. М. Гаршин» см. в кн.: *Гаршин В. М.* Письма, фронтиспис.

[22]. Статья Гаршина «Заметки о художественных выставках» («Северный вестник», 1887, № 3, с. 160—170), в которой он отстаивал основные принципы искусства передвижников. См.: *Гаршин В. М.* Сочинения. М., Гослитиздат. 1955, с. 351—364.

[23]. Впечатления Гаршина о крымской природе изложены в его письмах к жене от 29 и 30 марта, 3 апреля 1887 года (*Гаршин В. М.* Письма, с. 385—386, 388).

[24]. См. примечание 19 к воспоминаниям Ф. Фидлера.

[25]. Речь идет о статье И. Сикорского, напечатанной в «Вестнике клинической и судебной психиатрии и невропатологии» (Вып. 1. СПб., 1884, с. 208—214).

[26]. См. примечание 17 к воспоминаниям Фидлера. Гаршин не осуществил перевод драматической поэмы Флобера.

[27]. Вольное цитирование письма Тургенева от 14 июня 1880 года (см. примечание 1 к воспоминаниям Е. М. Гаршина «Литературные беседы»).

В. Г. Чертков

ВОСПОМИНАНИЕ О ГАРШИНЕ

Печатается по тексту сборника «Звенья», т. V. (М.— Л., «Academia», 1935, с. 677—679).

[1]. В. Г. Чертков писал Л. Н. Толстому 3 января 1885 года: «На днях я познакомился с Гаршиным <...>.» («Звенья». Сборник материалов и документов. Т. V. М.—Л., «Academia», 1935, с. 635).

[2] Некоторые рассказы Гаршина, предназначенные для «Посредника», встречали цензурное противодействие. Так, «Сказание о гордом Аггее» было запрещено цензурой для серии народных рассказов. По свидетельству Черткова, рассказ «Медведи» долго не получал цензурного разрешения: «Медведи», — писал он Гаршину,— все не возвращает цензор, и ничего не мог до сих пор узнать в комитете о их судьбе. Нас стали еще больше прижимать. Мне надо с вами поговорить об этом» (цит. по кн.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 521).

[3]. Об этом же Чертков сообщал и в 1909 году: «Гаршин собирался писать для «образованных» людей повесть из эпохи Петра 1 и говорил мне, что считает вполне возможным и намерен изложить ее тою же простою народною речью, которою писал для «Посредника» (цит. по кн.: Письма А. И. Эртеля. М., 1909, с. 276).

Ф. Д. Батюшков

ПАМЯТИ ГАРШИНА

Печатается (с сокращениями) по тексту первой публикации в журнале «Современный мир» (1908, кн. 4, с. 99—102).

[1]. В это время (февраль—март 1886 года) Гаршин работал над легендой «Сказание о гордом Аггее».

[2]. В записке Ф. Д. Батюшкову от 30 марта 1886 года Гаршин благодарит его за «уведомление» о заседании Неофилологического общества, которое должно было состояться в «четверг», т. е. 3 апреля (*Гаршин В. М.* Письма, с. 369).

[3] «Сказание о гордом Аггее» Гаршина — переработка библейского сюжета («Книга пророка Аггея») и народной легенды-сказки «О царе, наказанном за его гордость», существующей в двух вариантах. Гаршин, по-видимому, воспользовался вариантом («Повесть душеполезна о царе Аггее, како пострада гордости ради»), опубликованным А. Н. Афанасьевым в сб. «Народные русские легенды» (М., 1860). По предположению Г. А. Бялого, Гаршин мог пользоваться и изданием этой повести в «Разысканиях в области русского духовного стиха» А. Н. Веселовского (Записки Импер. Акад. Наук. Т. 40, прил. № 4. СПб., 1881).— См.: *Бялый Г. А.* В. М. Гаршин и литературная борьба 80-х годов. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1937, с. 203.

[4] Рябинин — герой рассказа Гаршина «Художники».

И. А. Шляпкин

ПАМЯТИ В. М. ГАРШИНА

Печатается (с незначительными сокращениями) по тексту первой публикации в журнале «Русский библиофил» (1913, № 4, с. 83—86).

[1] См. об этом примечания 2 и 3 к воспоминаниям Ф. Д. Батюшкова.

[2]. Далее в тексте воспроизводится письмо-записка Гаршина к В. Е. Родионовой, перепечатанное в кн.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 395.

[3] В. М. Гаршин не был лично знаком с И. С. Тургеневым, хотя отношения их были действительно дружескими. Об этом свидетельствуют отзывы Гаршина о Тургеневе в письмах к различным адресатам (Е. С. Гаршиной от 10 <?> 1880 г., 27 февраля 1882 г. и др.— *Гаршин В. М.* Письма, с. 204, 250; письма Тургенева к Гаршину и о нем (от 14 июня 1880 г., 24 февраля, 8 июня, 17 августа, 15 сентября, 27 октября. 21 декабря 1882 г. и др.— *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-и т. Письма. Т. XII, кн. 2. Л., 1967, с. 273, 274. Т. XIII, кн. 2. Л., 1968, с. 25, 27, 83, 125 и др.); факт пребывания молодого писателя в имении Тургенева Спасское-Лутовиново, когда последний был за границей, и пр. См. также примечание 1 к воспоминаниям Н. С. Русанова.

[4]. В письме к Гаршину от 14 июня 1880 года Тургенев признавался: «Каждый стареющий писатель, искренне любящий свое дело, радуется, когда он открывает себе наследников: Вы из их числа» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. XII, кн. 2, с. 273—274).

[5]. Н. М. Золотилова.

[6]. Об обстоятельствах семейной жизни Гаршина в конце 80-х годов см. также воспоминания В. П. Соколова и И. Е. Репина, с. 116 и 124 наст. изд.

А. И. Леман

СТАТЬЯ О ГАРШИНЕ

<из сб. «Рассказы»>

Печатается (со значительными сокращениями) по тексту издания: *Леман А.* Рассказы. СПб., 1888, с. 23—133.

[1] Суждения Гаршина о М. Г. Сухоровском (1840—1908) неизвестны. Речь здесь идет либо о картине «Мария Магдалина», либо о картине «Сон наяву». Сухоровский «сделался известен <...> своими изображениями нагих красавиц и показыванием их в России и чужих краях на отдельных выставках при эффектном <...> освещении с прибавкой реальных аксессуаров, подходящих к сюжету» (Императорская Санктпетербургская Академия Художеств. 1764—1914. Список русских художников <...>. Составил С. Н. Кондаков). По замечанию Ф. И. Булгакова, фигуры его героинь «оставляют желать многого», зато «аксессуары к ним <...> отличаются виртуозным письмом» (*Булгаков Ф. И.* Наши художники. СПб., 1890, с. 196).

[2] Неточное воспроизведение строки из стихотворения Н. Минского «Над могилой Гаршина».

[3] См. примечание 7 к воспоминанию Ф. Фидлера.

[4] С чтением «Красного цветка» Гаршин, действительно, выступил 16 марта 1886 года на организованном им и Е. И. Утиным вечере в пользу Литературного фонда в зале Кононова (см.: «Новое время», 1886, 17 марта). Об успехе этого выступления см. воспоминания В. И. Бибикова, с. 191 наст. изд.).

[5] Об отношении Гаршина к драме Л. Толстого «Власть тьмы» см. воспоминания В. А. Фаусека и В. Бибикова (с. 69—70, 152 наст. изд.) и примечания к ним. Отражением разноречивых оценок драмы Толстого В. Гаршиным и Е. Гаршиным является письмо писателя брату от 4 июня 1887 года (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 391).

[6] Леман явно преувеличивает влияние Толстого на Гаршина. Подробнее см. об этом в воспоминаниях В. А. Фаусека (с. 69—70) и примечаниях 28, 30, 33 к ним.

[7] По-видимому, это 4-е издание «Сочинений Л. Н. Толстого» (ч. 1—12, М., 1880—1886). В последнем томе помещена была повесть «Смерть Ивана Ильича». Текст драмы «Власть тьмы» был припечатан, без обозначения на обложке, к изданию: «Сочинения гр. Л. Н. Толстого. Декабристы. Холстомер. Смерть Ивана Ильича» (изд-е 6. М., 1886, с. 207—392). В 1887 году «Власть тьмы» появилась в издании «Посредника».

[8] Об этом же сообщал В. П. Соколов (с. 116 наст. изд.). В письме к С. Я. Надсону от 20 декабря 1886 года Гаршин признавался: «<...> в январь «С. <еверного> в. <естника>» дал маленький рассказик, скверненький только» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 374).

[9] См воспоминания В. А. Фаусека, В. П. Соколова и В. Бибикова (с. 79, 110, 152 наст. изд.) и примечания к ним.

[10] О чтении рассказа Лескова «Грабеж» на квартире И. Ясинского вспоминает В. Бибиков (с. 158 наст. изд.).

[11] Речь идет о книге В. Л. Кигна «Приключения и впечатления в Италии и Египте. Заметки о Турции» (1888).

[12] В «Северном вестнике» были напечатаны рассказ Гаршина «Сигнал» (1887, № 1) и «Заметки о художественных выставках» (1887, № 3).

[13] Воспроизведение карандашной зарисовки И. Е. Репина «В. М. Гаршин в гробу» см. в кн.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 528).

Н. Минский

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГАРШИНЕ ПО ПОВОДУ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЕГО СМЕРТИ

Печатается (с сокращениями) по тексту первой публикации в газете «Новости» (1898, № 96, 9 апреля).

[1] В 1823 году Байрон принял участие в освободительной борьбе греческих патриотов против турецкого ига. Он умер от лихорадки, отказавшись покинуть военный лагерь, где командовал одним из отрядов.

[2] Цитируется письмо Н. С. Дрентельну от июля 1876 года (См.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 86). Эдуард Гартман — немецкий философ-идеалист, автор книги «Сущность мирового процесса или философия бессознательности» (перевод А. Козлова. М., 1873), объединивший в ней переосмысленное с реакционных позиций учение Гегеля с иррационалистической и пессимистической системой Шопенгауэра.

[3] В письме к матери от 25 января 1878 года Гаршин сообщал: «Принялся за Канта «Критику чистого разума» и нахожу, что вовсе не так трудно, а главное вовсе не так смешно, как обыкновенно болтают невежественные субъекты. Книга, дающая уму гимнастику и наводящая на очень большие раздумья» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 151—152).

[4] Из письма Гаршина Н. С. Дрентельну от 7 августа 1878 года (*Гаршин В. М.* Письма, с. 162). Писарев полагал, что развитие естественнонаучных знаний обеспечит прогресс общества.

[5] Здесь имеется в виду неудовлетворенность Гаршина своей творческой манерой («старая манера» «изображать» «свое я» «навязла в перо») и намерение выйти в «большой мир» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 356). Зачисление себя в «романтики» было связано с сильно выраженным личным началом в творчестве, со страстной субъективностью писателя. (Подробнее см.: *Бялый Г. А.* Русский реализм конца XIX века. Изд-во ЛГУ, 1973. с. 3—30).

ВСТРЕЧИ С ДЕЯТЕЛЯМИ РЕВОЛЮЦИОННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

И. Я. Павловский

ДЕБЮТЫ В. М. ГАРШИНА

Печатается (с сокращениями) по тексту издания: «Красный цветок». Литературный сборник в память В. М. Гаршина. СПб., 1889, с. 17—24.

[1] Кв.— Семен Кузьмич Квитка — приятель Гаршина по Горному институту, история болезни которого использована в рассказе «Трус».

[2] В письме к матери от 2 апреля 1876 года Гаршин сообщал: «<...> несколько месяцев тому назад Квитка послал к М. <енделееву> маленький трактат о спиритизме, с объяснением спиритических явлений с помощью высшего анализа. Мен.<делеев> пишет теперь, что он нашел в Квиткином труде здравые мысли, просит позволения напечатать в своем сборнике и выражает желание, чтобы Семен пришел к нему познакомиться» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 78).

[3] В. Г. Короленко в статье «Всеволод Михайлович Гаршин» (1910) заметил по поводу содержания этой сцены: «Очевидно, этот спор задевал трагедию целого поколения, быть может еще не законченную и в наши дни. Дело шло, конечно, не о «сидении сложа руки», а о том, нравственно ли примирение с внутренним порабощением, хотя бы временное, хотя бы во имя внешнего освободительного лозунга» (*Короленко В. Г.* Собр. соч. Т. 8. М., 1955, с. 220).

[4] Гаршин был дружен с художниками-передвижниками М. Е. Малышевым (см. его воспоминание и предисловие к нему), И. Е. Крачковским, Н. А. Ярошенко, И. Е. Репиным (см. воспоминания Репина о писателе) и др. Гаршиным написано семь статей о живописи. По замечанию С. Дурылина, к этому «принуждали его сами художники: в их глазах он был таким идеальным зрителем, что они настоятельно желали, чтоб он стал их идеальным критиком» (*Дурылин С.* Репин и Гаршин. М., 1926, с. 26).

[5] Речь идет либо о К. С. Баранцевиче с его повестью «Порванные струны» (1878), либо о П. Д. Боборыкине с его романами «Солидные добродетели» (1870) или «Дельцы» (1873).

[6] В письме к И. Н. Крамскому от 14 февраля 1878 года Гаршин писал: «<...> мне хотелось бы получить разъяснение от Вас самих, чтобы вывести других из заблуждения. Дело идет о моменте, изображаемом Вашею картиною «Христос в пустыне». Утро ли это 41-го дня, когда Христос уже вполне решился и готов идти на страдание и смерть, или та минута,

когда «приде к нему бес», как выражаются мои оппоненты. Я вполне уверен в правоте первого толкования.<...> Те черты, которые Вы придали своему созданию, по-моему, вовсе не служат к возбуждению жалости к «страдальцу» <...>. Нет, меня они сразу поразили как выражение громадной нравственной силы, ненависти ко злу, совершенной решимости бороться с ним. <...> А страдание теперь до него не касается: оно так мало, так ничтожно в сравнении с тем, что у него теперь в груди, что и мысль о нем не приходит Иисусу в голову. <...> Некий субъект прямо бухнул, что Ваш Христос — Г а м л е т !! Уж если приравнивать его к литературным типам, так он скорее Дон-Кихот, конечно, отвлеченный от смешных его сторон и взятый только со стороны его благородной, самоотверженной и решительной натуры. Впрочем, и это сравнение плохо, потому что Ваш Христос — Христос» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 153—154). В письме Крамского не содержалось прямого ответа. Он подчеркнул, что ему важно было показать состояние нравственного перелома и даже шире — «время исторических кризисов». «Это не Христос,— писал он.— То есть я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей. Какой момент? Переходный. Что за этим следует? Продолжение в следующей книге» (Цит. по кн.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 467—468). Ответ Крамского Гаршин назвал «целою статьею, очень искреннею и задушевною», «историческим памятником» (там же, с. 157).

[7] «Натан Мудрый» (1779) — драматическая поэма немецкого просветителя Лессинга, в которой он выступил против церковной реакции в защиту гуманности и равенства народов.

[8] В письме Гаршину от 15(3) сентября 1882 года Тургенев признавался: «У вас есть все признаки настоящего, крупного таланта: художнический темперамент, тонкое и верное понимание х а р а к т е р н ы х черт жизни — человеческой и общей, чувство правды и меры, простота и красивость формы и — как результат всего — оригинальность» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Письма. Т. 13, кн. 2, с. 27.

Н. С. Русанов

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

<фрагменты>

Печатается (с сокращениями) по тексту журнала «Былое», 1906, кн. XII, с. 40—42, 46, 49—53. Впервые — в издании: «С родины на родину». Женева, 1894, № 4.

[1] Утверждение Русанова о «встречах» Гаршина с Тургеневым на квартире Гл. Успенского и у «мецената из купеческого сословия» не соответствует истине. В письме В. М. Гаршину от 14 июня 1880 года Тургенев писал: «Милостливый государь В.<севолод> М.<ихайлович>!

Я пишу к Вам, хотя и не имею удовольствия знать Вас лично. <...> Я надеялся познакомиться с Вами в Петербурге через посредство Успенского; но Вы тогда уже уехали оттуда» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-ми тт. Письма, т. XII, кн. 2, с. 273—274). 8 июня 1882 года Тургенев предупреждал Гаршина, что его «нынешним летом» в России «не будет» и что, «стало быть», он не будет «иметь удовольствия» «познакомиться» с ним (там же, т. XIII, кн. 1, с. 268).

[2] Имеются в виду рассказы Гаршина «Четыре дня» и, по-видимому, «Происшествие».

[3] За время своих «странствий» Гаршин побывал в Москве, Рыбинске, Туле, Ясной Поляне, где состоялось его знакомство с Л. Толстым, в Харькове. «В это время,— рассказывает Я. В. Абрамов,— он совершил целый ряд странствий <...>, что-то проповедывал крестьянам, жил некоторое время у матери известного критика Писарева, попал в Ясную Поляну, имение гр. Льва Толстого, ставил последнему какие-то мучившие его вопросы <...>.» (Памяти В. М. Гаршина. СПб., 1889, с. 36).

[4] Русанов имеет в виду поэта-народовольца П. Ф. Якубовича-Мельшина, осужденного в 1887 году к восемнадцати годам каторги. Особой популярностью среди молодежи пользовались его стихотворения «Битва жизни», «На утесе поэта», «Вперед, друзья мои!» и многие другие, проникнутые пафосом борьбы за народное счастье, мыслью о преемственности революционных традиций.

Е. Г. Шольп

ОБРЫВКИ ВОСПОМИНАНИЙ О В. М. ГАРШИНЕ

Печатается по тексту первой публикации в газете «Киевская мысль» (1913, № 83, 24 марта).

[1] Зимой 1882—1883 года усилились гонения на революционную молодежь, в частности, был арестован Исполнительный комитет партии «Народная воля».

[2] В письмах Гаршина 1883 года, действительно, не нашли отражения аресты народовольцев. Но он никогда не был бесстрастен к совершавшимся в стране политическим событиям. В 1880 году он обратился к М. Т. Лорис-Меликову с просьбой о помиловании близкого к революционным кругам И. Млодецкого (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 207). Письма Гаршина 1884 года пестрят сочувственными откликами на многочисленные аресты литераторов: «Бедного Серг. Ник. <Кривенко> высылают <...>» (*Гаршин В. М.* Письма, с. 307); «Сообщу <...> еще одну прискорбную новость: недавно взяли А. Ив. Эртеля» (там же, с. 317); «тут все берут и берут; <...> говорят, Станюковича тоже взяли» (там же, с. 318); «Бедного старика Шелгунова взяли и посадили. В Москве взяли Гольцева (бывшего профессора). Когда все это кончится?» (там же, с. 330). Все эти друзья или знакомые Гаршина были арестованы либо по обвинению в связях с деятелями революционного подполья и эмиграции, либо за сотрудничество в нелегальном «Листке Народной воли».

[3] О значении Репина в истории русской живописи Гаршин намеревался написать специальную статью. Семирадскому посвящена рецензия «Новая картина Семирадского «Светочи христианства» («Новости», 1877, № 72). О дружеских и творческих связях Гаршина с художниками-передвижниками см. воспоминания М. Малышева и И. Репина.

[4] Речь идет об образе рабочего-«глухаря», созданного героем рассказа Гаршина «Художники» Рябининым. Глядя на написанную им картину, Рябинин говорит: «Я вызвал тебя <...> из душного, темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. <...> Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое...» (*Гаршин В. М.* Сочинения. М., Гослитиздат, 1955, с. 83).

[5] С. Н. Кривенко был сотрудником нелегального «Листка Народной воли» и участником подпольной организации «Красный крест».

[6] О сочувственном отношении Гаршина к Кривенко см. его отзывы о последнем в письмах от 21 и 28 января, 4 и 26 февраля, 15 марта, 8—9 и 20 августа 1884 года и др. (см.: *Гаршин В. М.* Письма, с. 307, 308, 310, 313, 315, 336, 337).

[7] Имеются в виду «Исторические письма» П. Л. Лаврова, печатавшиеся в газете «Неделя» (1868—1869 гг.) под псевдонимом Н. Миртов и развивавшие идею решающей роли интеллигенции («критически мыслящей личности») в историческом прогрессе.

[8] См. примечание 16 к воспоминанию В. П. Соколова.

Л. Ф. Пантелеев

ПАМЯТИ В. М. ГАРШИНА

Печатается по тексту издания: *Пантелеев Л. Ф.* Воспоминания. Вступит. статья, подготовка текста и примечания С. А. Рейсера. М.—Л., Гослитиздат, 1958, с. 645—649, 650—651.

[1] Статьи В. М. Гаршина о живописи печатались в газетах «Новости» (1877, №№ 68, 72, 91 и 332), «Русские ведомости» (1880, №№ 23 и 49) и в журнале «Северный вестник» (1887, № 3).

[2] «Среды» — еженедельные литературные вечера у Л. Ф. Пантелеева.

[3] Алексей Константинович Толстой (1817—1875) — писатель, поэт и драматург.

[4] Пантелеев имеет в виду статью К. И. Чуковского «О Всеволоде Гаршине. Введение в характеристику» («Русская мысль», 1909, № 12), в которой он пишет, что Гаршин «пунктуален и методичен, как бухгалтер» (с. 119).

[5] Константин Михайлович Фофанов (1862—1911) — поэт неодинаковых в разные периоды жизни идейно-эстетических устремлений; к концу 80-х годов — автор двух сборников «Стихотворений», с первым из которых (1887), очевидно, и был знаком Гаршин. С Фофановым Гаршин мог встречаться на «пятницах» Полонского, с семьей которого был дружески связан.

[6] Пантелеев издал перевод «Персидских писем» Монтескье в 1892 году без обозначения имени переводчика. Перевод выполнен Е. А. Красновой (см.: *Безгин И. Т.* Издания Л. Ф. Пантелеева 1877—1895 гг. СПб., 1895, с. 32).

[7] Воспоминания Пантелеева, касающиеся переводческой деятельности Гаршина, привлекли в 1920 году внимание М. Королицкого, тщательно прочитавшего гаршинский перевод 11 писем Монтескье и попытавшегося выяснить, что импонировало Гаршину в этих письмах раннего французского просветителя (см.: *Королицкий А.* Последняя литературная работа В. М. Гаршина (из архива Л. Ф. Пантелеева).— «Вестник литературы», 1920, № 12).

[8] Перевод Гаршина новеллы П. Мериме «Коломба» был напечатан в журнале «Изящная литература» (1883, № 10). О работе над переводом см.: *Гаршин В. М.* Письма, №№ 217, 220, 223, 225, 227, 234, 236 и 241.

[9] Перевод Гаршина неизвестен. «Идеал в деревне» Андре Лео издавался на русском языке в 1869 и 1873 годах.

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ «НОВОЕ О ГАРШИНЕ»

(Письмо в редакцию)

[1] «Новое о Гаршине» — статья Н. Л. Бродского, опубликованная в журнале «Голос минувшего» (1913, № 5).

[2] Заметка С. Н. Дурылина, с которой не согласен Пантелеев, была напечатана в газете «Русские ведомости» (1913, № 70).

[3] В письме Гаршина к В. А. Фаусеку от 15 июня 1887 года рассказан сюжет почти законченного рассказа, в котором «фигурирует фантастический элемент и <...> наука». «Не знаю, порвать его или отложить», — писал он здесь (*Гаршин В. М.* Письма, с. 392). В. А. Фаусек свидетельствует в своих воспоминаниях, что Гаршин «сжег рукопись» этого рассказа и потом «глубоко сожалел об этом» (с. 81—82 наст. изд.).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

* Указатель составил Федоров А. Ю.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТРЕЧИ С ДЕЯТЕЛЯМИ РЕВОЛЮЦИОННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

СОВРЕМЕННИКИ О В. М. ГАРШИНЕ

Воспоминания

Редактор М. П. Ларина
Художник В. К. Иванов
Технический редактор Л. В. Агальцова
Корректор Р. Д. Калягина

НГ71645. Сдано в набор 17.XII.1976 г. Подписано к печати 26.V.1977 г. Формат 60×84[1]/16. Бумага тип. № 1. Усл.-печ. л. 14,88(16). Уч.-изд. л. 15. Тираж 40 000 экз. Заказ 3103. Цена 1 р. 80 к.

Издательство Саратовского университета, Университетская, 42.
Производственное объединение «Полиграфист», г. Саратов, пр. Кирова, 27.

1 р. 80 к.

Издательство
Саратовского университета
1977